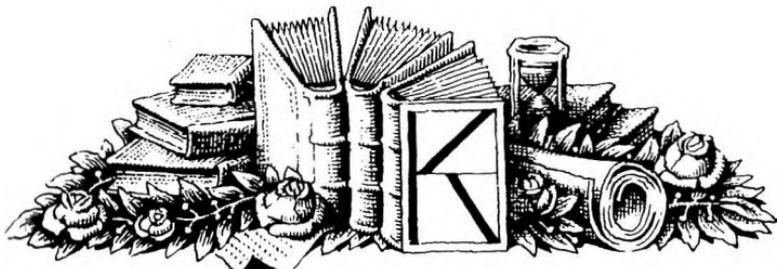


Ю. МАНН В ПОИСКАХ ЖИВОЙ ДУШИ

Ю. МАНН  
В ПОИСКАХ  
ЖИВОЙ  
ДУШИ





---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»**

---

**Москва 1987**

... Я сойду со сцены  
с твердой верой в наступление дня,  
когда «Мертвые души»  
можно будет найти,  
рядом с «Дон Кихотом»,  
в библиотеке каждого просвещенного человека.

Эжен Мелькнор Вогюз

*Ю.МАНН*  
**В ПОИСКАХ  
ЖИВОЙ ДУШИ**

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

**ПИСАТЕЛЬ — КРИТИКА — ЧИТАТЕЛЬ**

---

издание 2-е, исправленное и дополненное

Москва «Книга» 1987

84.3P7  
M23

Рецензент —  
доктор филологических наук  
*Б. Ф. Егоров*

4702010200—097  
М—————КБ-13-40-87  
002(01)—87

© Издательство «Книга», 1987

...«Мертвые души» Гоголя—  
удивительная книга,  
горький упрек современной Руси,  
но не безнадежный

А. И. Герцен

---

## ВВЕДЕНИЕ

---

Творческая история «Мертвых душ» еще не раскрыта, несмотря на полезный и ценный труд нескольких поколений ученых (Н. С. Тихонравова, В. В. Гиппиуса, В. А. Жданова, Э. Е. Зайденшур, В. Л. Комаровича, А. Л. Слонимского и др.). Предлагаемая книга, как это отчетливо сознает автор, также не решает всей проблемы: исчерпывающее исследование всех рукописей произведения, позволяющих представить себе в наиболее полном виде становление его текста,— дело будущего. Направление же настоящего труда— вполне определенное, и оно предугазано уже подзаголовком. В самом деле: мне хотелось раскрыть творческую судьбу произведения, как она складывалась на пересечении трех важнейших сил: художественной деятельности автора, интерпретации критики и, наконец, восприятия читательской аудитории. По крайней мере два важных вывода следуют из такой постановки вопроса.

Известно, что все эти силы— и автор, и критика, и читатель— выступают в нашем представлении чаще всего сами по себе, изолированно; между тем они активно и сложно взаимодействуют. Взаимодействуют прежде всего в самом творческом акте, так что художественное произведение предстает как результат их столкновения и взаимовлияния. «Готовое» произведение никогда не изобличит нам этой динамики, представленной в его тексте лишь в виде остаточных, подчас скупых следов. Но творческая судьба вещи, ее постепенное становление, созревание раскрывает эту динамику как волнующий, исполненный драматизма процесс.

В последнее время научное внимание к жизни и функционированию литературы заметно обострилось<sup>1</sup>. И тут следует второй вывод, который относится уже собственно к Гоголю.

«Мертвые души» — величайшее произведение Гоголя. Он приступил к его написанию молодым человеком, почти юношей; вошел с ним в пору зрелости: приблизился к последней черте. «Мертвым душам» Гоголь отдал все — и свой художнический гений, и иступленность мысли, и страстность надежды. «Мертвые души» — это жизнь Гоголя, его бессмертие и его смерть. «Если эта поэма по справедливости может назваться памятником его как писателя, то с наименьшей основательностью позволено сказать, что с ней готовил он себе и гробницу как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее» (10, с. 84), — сказал П. В. Анненков. И одна уже попытка хотя бы в далеком, первом приближении увидеть тот путь, которым шел Гоголь, на котором он мыслил, творил, «бился и страдал», приближает нас к волнующей тайне этого уникальнейшего произведения и его судьбы... Но начнем все по порядку.

---

Произведения и письма Гоголя (кроме специально оговоренных случаев) цитируются по изданию: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. (без м. изд.), 1940—1952, т. I—XIV. В тексте в скобках указывается том (римской цифрой) и страница. При цитировании VI тома (где помещен I том «Мертвых душ») указывается только страница. Арабской цифрой в скобках в тексте обозначены ссылки на всю остальную цитируемую литературу (порядковый номер по списку в конце книги).

## ГЛАВА I

ПУШКИНСКАЯ  
ПОДСКАЗКА

Документированная история поэмы начинается 7 октября 1835 года—дата, которой помечено письмо Гоголя к Пушкину. Здесь, в этом письме, находятся знаменитые строки: «Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь» (X, 375).

«Мертвые души» фигурируют в письме наряду с другими, *среди* других гоголевских начинаний. С одной стороны, Гоголь просит Пушкина вернуть рукопись «Женитьбы», необходимую ему для доработки и продвижения пьесы на сцену, с другой—выспрашивает сюжет для новой комедии (будущего «Ревизора»). Замысел «Мертвых душ» вторгся в гоголевские литературные планы; однако на первых порах он их не оттеснил, не свел на нет. Гоголь работает над новым произведением не спеша, исподволь, с «остановками», предчувствуя, что это дело долгое.

О чем еще говорят приведенные строки гоголевского письма?

Гоголь упоминает «Мертвые души» как нечто хорошо известное Пушкину. Он продолжает уже затронутую, так сказать, обговоренную тему. И одновременно дает Пушкину отчет—о начале работы, о тех ее сторонах, которые уже достаточно отчетливо выявились и представляют интерес для адресата.

Гоголь прежде всего связывает новую работу с предыдущими—на это нацелена оговорка—«показать хотя с *одного бо- ку...*». Это оговорка ограничительная—в содержательном и жанровом смысле. «С *одного боку...*»—значит со стороны забавного, негативного, сатирического, комического. Словом,

так, как и в прежних произведениях Гоголя, которые воспринимались преимущественно под знаком веселости и комизма. Писатель помнил напутствие, высказанное по поводу первого его сборника повестей не кем другим, как Пушкиным: «Поздравляю публику с *истинно веселою* книгою а автору сердечно желаю дальнейших успехов» (77, т. VII, с. 261; курсив мой.— Ю. М.).

Надо сказать, что проблема «веселости» еще более обострилась в сознании Гоголя-драматурга, ибо все его усилия, от «Владимира 3-й степени» до «Ревизора», были направлены на то, чтобы создать именно комедию, пьесу, свободную от доктринерства, морализации, дидактики, верную лишь принципам нескованного комизма. Отсюда переключки между начатыми «Мертвыми душами» и еще не начатым «Ревизором»: и роман, «кажется, будет сильно смешон» и пьеса, «клянусь, будет смешнее чорта».

Однако сообщение Гоголя оттеняет и новые стороны его труда. Хотя и «с одного боку», но это — «вся Русь». До сих пор гоголевское изображение по материалу, по теме ограничивалось; целое складывалось из частей, из «арабесков» (название одного из его сборников, во многом программное). Да и «целое» — как бы велико оно ни было — все же имело свои пределы: образ Миргорода, Петербурга. Теперь Гоголь решил развернуть перед читателем образ России во всем его пространстве и объеме. Решил представить этот образ не символически, не иносказательно, но вполне конкретно и материально. Замысел для Гоголя небывалый, единственный, не имевший себе никакого соответствия — даже в том же «Ревизоре». Ведь в «Ревизоре» на первом плане был всего лишь уездный городишко, от которого, по известным словам Городничего, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Широта смысла в комедии достигалась не буквальной широтой образа, а его особым строением и вытекавшей отсюда многозначностью. Это был «образ города», подобный иным, более крупным человеческим объединениям, в том числе государству в целом; функционировавший так, как социальная модель любой сложности и объема. В «Мертвых душах» избран принципиально другой подход — со стороны целого, всего государства, «всей Руси»<sup>2</sup>.

С этим связано и жанровое обозначение будущего произведения — «роман», да еще «предлинный». Определение для Гоголя новое. До сих пор он называл свои прозаические произведения *повестями*: «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это «повести, изданные пасичником Рудым Паньком»; «Миргород» — это «повести, служащие продолжением Вечеров...» и т. д.

Наконец, гоголевское письмо к Пушкину позволяет установить и то, насколько продвинулась новая работа. Уже набросаны



---

Н. В. Гоголь.  
Художник А. Иванов. 1841 г.

---

или написаны вчерне две главы. Заминка возникла на третьей главе; видимо, именно для нее нужен «хороший ябедник».

В окончательном тексте третья глава посвящена визиту Чичикова к Коробочке; никакого ябедника здесь нет. Классический тип гоголевского «ябедника», человека, строящего всяческие козни, заводящего тяжбы, это Собачкин из «Отрывка», пьесы, созданной около 1840 года. «Отрывок», как и некоторые другие маленькие пьесы, восходит к «Владимиру 3-й степени», комедии, которую Гоголь писал в начале 30-х годов, еще до работы над «Мертвыми душами». Был здесь, очевидно, и прообраз Собачкина (по имени Закатищев), прохвост и ябедник.

Гоголь решил ввести сходный персонаж и в свой роман, столкнув его по всей вероятности с главным героем, скупщиком мертвых душ. Такая встреча чревата была осложнением интриги, влекла за собою препятствия, помехи, которые вставали на пути героя и «двигали» сюжет. Так в известном смысле происходит и в окончательном тексте, где осложнение действия проистекает из поступков Коробочки и Ноздрева, появившихся в городе с компрометирующими Чичикова сведениями. Однако «ябедниками» Коробочку или Ноздрева не назовешь. Поступки одной вытекали из ее «дубинноголового» упрямства и подозрительности, внушившей ей мысль узнать, «почем ходят мертвые души»; действия другого — из неодолимой потребности выкинуть какую-либо историю, «нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины». «Ябедника», в прямом значении этого слова, нет, повторяю, ни во второй главе, ни в поэме в целом (если не считать совершенно эпизодических персонажей вроде таможенного чиновника в XI главе, донесшего на Чичикова). Из этого видно, насколько еще далек был первоначальный план «Мертвых душ» от окончательного текста.

Итак, истоком замысла, толчком для работы послужила беседа Гоголя с Пушкиным. Когда же она произошла? И каково было ее содержание?

Познакомились оба писателя 20 мая 1831 года в доме у Плетнева — и с тех пор встречались довольно часто; однако из гоголевского письма видно, что упомянутая встреча произошла совсем недавно и была еще неостывшей, животрепещущей новостью.

Гоголь возвратился в Петербург из поездки на родину, в Васильевку, к 1 сентября и застал в столице Пушкина. А через несколько дней, 7 сентября, Пушкин оставил Петербург — до конца октября. Следовательно, знаменательная встреча скорее всего (как это указал еще В. В. Гиппиус) имела место в первую сентябрьскую неделю 1835 года (32, с. 99). Впрочем, нельзя исключать и того, что разговор состоялся и раньше, скажем, в первые четыре месяца 1835 года, когда оба писателя жили в Петербурге. Но если это так, то в первую сентябрьскую неделю разговор должен был возобновиться — Пушкин вернулся к однажды затронутой теме, чтобы побудить своего собеседника поскорее начать работу.

О содержании разговора Гоголь рассказал позднее в «Авторской исповеди» (написана в 1847 г.; опубликована посмертно в 1855 г.).

«Он [Пушкин] уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел



---

А. С. Пушкин.  
Рисунок Н. В. Гоголя. 1833 г.

---

одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам

его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ... Пушкин находил, что сюжет М[ертвых] д[уш] хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров» (VIII, 439—440).

Свидетельство Гоголя добавило принципиально важный штрих для истории зарождения его поэмы. Разговор Пушкина с Гоголем, оказывается, не ограничился каким-либо советом, пожеланием, рекомендацией, но вылился в конкретный факт *передачи творческого приема, «сюжета»*. Тем самым замысел будущего произведения получил решающий стимул, движущую идею.

Этот вывод может показаться преувеличенным, если вспомнить, что аферы с ревизскими душами могли быть известны Гоголю и помимо Пушкина. Один из таких случаев, по воспоминаниям дальней родственницы Гоголя М. Анисимо-Яновской, произошел в Миргородчине, в годы юности писателя (31, с. 85—86). Со временем становятся известны все новые и новые материалы, свидетельствующие о том, что мошеннические проделки с мертвыми душами имели место в действительности или же могли показаться современникам вполне вероятными (не исключено ведь, что некоторые из этих историй сконструированы уже задним числом, с оглядкой на гоголевскую поэму). Однако все это свидетельствует только о том, что у автора «Мертвых душ», как и у всякого художника, был некий реальный материал. О направлении его обработки и интерпретации такие примеры еще не говорят ничего. И тут во всем объеме встает значение пушкинской подсказки.

Оно заключается не в том, что анекдот с мертвыми душами может быть художественно реализован вообще, а в том, что на его основе можно создать большое произведение, точнее даже роман или, если быть еще более точным,— плутовской роман. Именно так представлялся Гоголю жанр его произведения первоначально (о «романе» — но еще не о «поэме» — говорится в письме к Пушкину от 7 октября 1835 года, что имело принципиальный историко-литературный смысл).

Дело в том, что фигура плута, пройдохи, прошлеца, авантюриста оказалась чрезвычайно удобной для организации романного действия, для спайки и объединения разнообразных эпизодов и лиц. Поэтому в западноевропейской литературе плутовской роман, пикареска (от испанского слова «пикаро», обозначающего босяка и бродягу) образывал одну из самых сильных ветвей романической литературы, начиная с анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса» через «Историю жизни пройдохи по имени Дон

Паблос» Кеведо вплоть до лесажевской «Истории Жиль Блаза из Сантьяны» и многих других последующих произведений. И в русской литературе освоение жанра романа шло в значительной мере с помощью пикарески: достаточно назвать такие яркие образцы доголевой прозы, как «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» М. Д. Чулкова и «Русский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Т. Нарезного.

Уже благодаря своей природе, моральным качествам, жизненным целям, плут открывал перед писателем широчайшие романские перспективы. С одной стороны, жажда успеха, выигрыша, удачи заставляла этого героя (обычно выходца из низших слоев) беспрестанно менять положения, искать все новых знакомств и связей, скитаться из края в край,— словом, раздвигала рамки повествования, приближая его и к роману путешествия и к роману нравов (и то и другое прозвучало в пушкинской рекомендации, как ее запомнил Гоголь: «...изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров», что вполне совпадает и с собственно гоголевским первым свидетельством о будущем романе, в котором отразится «вся Русь»). С другой стороны, плут—опять-таки благодаря своей психологии и жизненной позиции—не остается на поверхности явлений, но заходит к ним из глубины, с тыла; видит их изнанку; разоблачает интимные, часто предосудительные и стыдные секреты и тайны. Он—всемогущий посредник в сдергивании покровов с действительности, в раскрытии непубличной, приватной жизни, без чего немислим был новый роман (16, с. 274)<sup>3</sup>.

Но мало того. Значение пушкинской идеи состояло не только в ее романном характере, но и в том, что это была насквозь современная идея.

До Гоголя русские авторы пользовались традиционными романскими приемами, такими, как тайна происхождения главного персонажа, преследование его людьми злонамеренными и алчными, а с другой стороны—поддержка и покровительство людей добродетельных, выступавших обычно навязчивыми резонерами, проводниками авторских взглядов. К тому же чрезвычайно искусственной и непрочной была сюжетная нить: персонаж без достаточно убедительных мотивов менял положения, свободно передвигался из одного географического пункта к другому. «В Испании эта произвольность имела вид естественности,—отмечал в 1832 году Н. И. Надеждин,—ибо там существует действительно, как национальный идиотизм, класс бродяг и прошлецов, подобных Лазарилу Тормескому и Жилблазу де Сантилана. Но когда, по примеру Лесажа, в других европейских

нациях, где гражданская жизнь более устроена и теснее сжата в рамках общественного порядка, явились новые Жилблазы, их неестественность и лживость должна была раньше или позже изобличиться» (65, с. 372). Надеждия метил прежде всего в появившемся в 1829 году — то есть за шесть лет до начала работы над «Мертвыми душами» — произведение Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин. Нравственно-сатирический роман». Это произведение, нещадно эксплуатировавшее все упомянутые выше ходовые приемы, навсегда, казалось, скомпрометировало идею русского оригинального романа, построенного на пикарескной основе. Но Пушкин сумел посмотреть на проблему иначе.

Жизненность подсказанной им фабулы состояла в том, что поступки героя обуславливались насквозь современной идеей (продажа и покупка ревизских душ), вытекавшей из всей совокупности общественных связей и отношений русской жизни. К тому же, с помощью той же фабулы, фиксировался извращенный, прихотливый, призрачный характер этих связей, нашедший зеркальное отражение в прихотливости странного «предприятия» Чичикова (ведь покупались и продавались не просто души, а мертвые!). Наконец, на реальную основу накладывались слои других значений — философских, символических — и с ходом работы над произведением многоярусность его смысла должна была выступить все отчетливее. Однако укоренялась вся эта сложная постройка в достаточно реальной и, надо добавить, единой, цельной фабуле (по терминологии Гоголя — «плане»). Ибо эта фабула сообщала цель и смысл всем поступкам Чичикова, придавала более или менее выдержанную мотивировку всем его усилиям (что, однако, не говорит о последовательности и успешности их реализации) и к тому же позволяла легко отказать от надуманных ходов, поддерживающих обычно романский интерес. Такие ходы, как тайна происхождения героя, преследование его некими злонамеренными людьми, борьба за наследство и т. д., начисто отсутствуют в «Мертвых душах» — разве что в пародийном, травестированном выражении.

Но если Пушкин подсказал Гоголю «свой собственный сюжет», то возникает вопрос, какое именно произведение или, по крайней мере, замысел оказались предметом передачи. На этот вопрос наиболее определенно ответил в своей недавней работе Ю. М. Лотман.

По его мнению, таким произведением является «Русский Пелам» (название условное, так как сохранившиеся наброски произведения самим Пушкиным не озаглавлены). «Осень 1835 г. — это время, когда остановилась работа Пушкина над «Русским Пеламом». Можно предположить, что это и есть тот

сюжет «вроде поэмы», который Пушкин отдал Гоголю...» (60, с. 38). При этом «наиболее тесное соприкосновение пушкинского замысла и гоголевского воплощения» исследователь видит в двух персонажах: с одной стороны—Ф. Орлов, с другой—капитан Копейкин; ведь граф Федор Орлов—реальное лицо, личный знакомый Пушкина—тоже участник Отечественной войны 1812 года, потерявший в бою ногу и, согласно записи Пушкина, подавший в разбойники (60, с. 34, 38).

Вначале о том, что рассказ Пушкина о Федоре Орлове как герое его незавершенного произведения будто бы внушил Гоголю мысль о капитане Копейкине. Гипотеза остроумная, но маловероятная. Ведь она предполагает такую продуманность замысла «Мертвых душ», такую детализированность и основательность обработки, когда уяснена не только основная сюжетная канва, но и эпизоды, связанные с ней более глубоко, ассоциативной связью (так именно связана с сюжетом «Повесть о капитане Копейкине», о чем правильно сказано в той же работе Ю. Лотмана). Между тем, как мы видели, план «Мертвых душ» еще не выработался, был очень далек от окончательного; определилась лишь фабульная нить—афера с мертвыми душами. Это подтверждает и ретроспективное признание Гоголя в «Авторской исповеди»: «Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана... Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры...» (VIII, 440). Трудно поверить, чтобы на стадии разговора Пушкина с Гоголем, а также первых месяцев работы уже возникла идея «Повести о капитане Копейкине». Тогда же, когда это произошло (по-видимому, уже после 1837 года, за границей, при перестройке плана поэмы), Гоголь мог вспомнить о Федоре Орлове (если он действительно знал этот факт), хотя вероятность такого напоминания весьма сомнительна. Для того чтобы создать фигуру Копейкина, инвалида войны, ставшего разбойником, не обязательно было держать в уме именно этот прототип; к тому же отнюдь не все детали совпадают (Копейкин—вовсе не граф, не светский человек; его уродство еще более заострено и подчеркнуто: у него нет «ни руки, ни ноги» и т. д.).

Что же касается сближения «Мертвых душ» с «Русским Пелагом» в целом, то оно просто исключается известными фактами. Ибо в «Русском Пелаге» нет как раз того, что составляет *суть пушкинской подсказки* и соответственно собственного пушкинского «сюжета»—нет аферы с мертвыми душами, нет вообще анекдотической фабулы, которая давала бы повод для комического развертывания действия. Роман Пушкина

строился как история жизни молодого человека, Пельмова, проходящего сложный путь душевного развития, сталкивающегося, с одной стороны, с золотой молодежью, бессмысленно прожигающей жизнь, а с другой — с «философскими и политическими исканиями» внутренне значительных людей, будущих декабристов и их сторонников (100, с. 107). Соответственно и тональность пушкинского романа была бы иной, чем «Мертвых душ».

Пушкин передал Гоголю сюжет *другого*, неизвестного нам произведения. Среди набросков его незаконченных работ нет такого, который бы подходил под искомое произведение (как, скажем, «подходят» под сюжет «Ревизора», тоже подсказанного Гоголю Пушкиным, наброски: «Криспин приезжает в губернию...» и «В начале 1812 года...»). Но это ни о чем не говорит: не все наброски и заметки сохранились. Наконец, Пушкин мог еще только обдумывать будущую вещь, не поверяя свои мысли бумаге.

Пушкин, говорит Ю. Лотман, «делился... как правило, замыслами, которые решительно оставил или «отдал». Следовательно, интерес для нас представляют те сюжеты, над которыми Пушкин думал, но которые к моменту передачи Гоголю замысла «Мертвых душ» уже были оставлены» (60, с. 29). К таким оставленным вещам и принадлежал «Русский Пелам». Однако гоголевское сообщение говорит как раз о противоположном: Пушкин *не собирался* оставлять замысел, он хотел непременно приняться за обработку сюжета, «которого, по его словам, он бы не отдал никому». Видимо, этим и объясняется известное нежелание, внутреннее сопротивление, с которым он передал Гоголю свой «сюжет», о чем мы скажем ниже.

Пушкин, по словам Гоголя, хотел написать «что-то в роде поэмы». Подразумевается, конечно, поэма шутливая, комическая, типа «Домика в Коломне» или «Графа Нулина». В период опубликования этих произведений, на рубеже 1820—1830-х годов они чаще всего назывались «повестями»; однако у самого Пушкина появляется уже определение «поэма» — «шуточная поэма» («Сии октавы служили вступлением к шуточной поэме...» (11, с. 294), — написал он над первоначальными строфами «Домика в Коломне»). Наименование «поэма» стало распространенным, так как оно оттеняло комическую фактуру обоих произведений. «Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что их больше других любят в наше время... В поэмах этого рода даже важное и патетическое само по себе выказывается с оттенком иронии, юмористически, и иногда тем сильнее действует на читателя, чем небрежнее говорит поэт» (17, VII, с. 536), — писал

Белинский в 1846 году в одиннадцатой статье пушкинского цикла. Гоголь, определявший пушкинский замысел с жанровой стороны («что-то в роде поэмы») примерно в то же время («Авторская исповедь» писалась в 1847 году), конечно, учитывал принятое словоупотребление.

Тем не менее пушкинский замысел далеко не во всем совпал бы с «Домиком в Коломне» и «Графом Нулиным». В центре обеих поэм находился некий анекдотический случай; в произведении о скупке мертвых душ — уже по логике самой фабулы — несколько случаев, *цепь* происшествий. По-видимому, Пушкин обдумывал произведение, перераставшее рамки поэмы, приближавшееся к комическому роману (в стихах или в прозе) — жанру, дотоле им еще не испробованному. Упоминания о романе, кстати, сохранились в свидетельствах мемуаристов. Так, П. И. Бартенев в примечании к воспоминаниям В. А. Соллогуба писал: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. «Из этого можно было бы сделать роман», — сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года» (82, 1865, с. 745).

Но мы упомянули о некоторых обстоятельствах, осложнявших передачу сюжета будущей поэмы. Сведения эти восходят к П. В. Анненкову, писавшему в своих воспоминаниях: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя!“» (10, с. 71).

Вторично о тех же фактах сообщил племянник Пушкина Л. Н. Павлицев. Пушкин, рассказав Гоголю о некоем господине, скупавшем в Псковской губернии мертвые души, прибавил, что он намерен заняться этим сюжетом, ибо «к стихам я ныне охладел и, как вам известно, занимаюсь прозой». Гоголь, якобы выслушав этот рассказ, не обнаружил никакой заинтересованности. «Между тем впоследствии Александр Сергеевич показывал своей сестре (матери мемуариста. — Ю. М.) самую программу повести или романа на сюжет похождения скупщика «мертвых душ». Но Гоголь предупредил его, и когда труд его настолько продвинулся, что он сообщил о нем Жуковскому и Плетневу, А. С. был этим крайне недоволен». Впрочем, Пушкин прибавил: «Я не написал бы лучше. У Гоголя бездна юмора и наблюдательности, которых во мне нет». Чтение же «самим Гоголем первых

глав его «Мертвых душ» Пушкину не только примирило великого поэта с похитителем его идеи, но заставило еще более прежнего поощрять Николая Васильевича к его литературным трудам» (81, 1880, № 5, с. 79—80).

Подробности и общая интерпретация факта у Л. Н. Павлищева существенно отличаются от рассказа Анненкова. У последнего Пушкин сам, хотя и с неохотой, передает Гоголю свою идею, у первого Гоголь ее похищает довольно коварным образом...

Критическое рассмотрение обеих версий предпринял В. В. Гишпиус, указавший прежде всего на ненадежность сообщения Л. Н. Павлищева. Ведь его слова были записаны Ефремовым 19 января 1872 года, то есть спустя почти полвека после событий. К тому же имела место тройная передача информации, с чем обычно связано искажение ее смысла: сестра Пушкина рассказала своему сыну, тот — Ефремову, и лишь последний — читателям «Русской старины».

Самый же главный аргумент против Павлищева — гоголевское письмо к Пушкину от 7 октября 1835 года. Получается странная картина: «Пушкин рассказал Гоголю о замысле собственного романа, а через месяц Гоголь не только с самым невинным видом сообщает, что «начал писать» этот роман он сам, но тут же имеет смелость просить еще о новом сюжете — для комедии» (32, 99). Апокрифичность версии Павлищева несомненна, причем следует иметь в виду еще и то, что мемуарист учитывал и по-своему «перерабатывал» уже появившиеся к тому времени источники — и сообщение Бартенева, что Пушкин намеревался писать «роман», и, конечно, высказывание Анненкова о том, как Пушкин уступил Гоголю свое «достояние».

Свидетельство Анненкова, как отметил тот же Гишпиус, более надежно: за это ручаются и личность мемуариста, и сравнительно небольшая хронологическая отдаленность описываемых событий (Воспоминания «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года», содержащие это свидетельство, впервые опубликованы в 1857 году), и, наконец, то, что мемуарист основывался на рассказе Натальи Николаевны, жены Пушкина, которая, видимо, сама слышала эту реплику («в кругу своих домашних Пушкин говорил...»). Однако при этом Гишпиус относит все сказанное Анненковым к «Ревизору» и полностью исключает «Мертвые души». Исключает на основании того же гоголевского письма, ибо, по его мнению, нельзя примирить его содержание с тем, что Пушкин «неохотно» отдал собственный «сюжет», да еще посоветовал на свою неосторожность. Думаю, однако, что исключать «Мертвые души» нет никаких оснований. Вопрос принципиальный, и на нем нужно остановиться подробнее.

Прежде всего: понятия литературной собственности не являются постоянными, меняясь от одной эпохи к другой. Было время, когда подражательность и заимствование считались достоинствами. К началу XIX века взгляды изменились, однако они вовсе не таковы современными представлениями о литературной собственности. Говоря конкретно, акцент ставился не на самой фабуле или сюжете, а на их обработке, художественной интерпретации. Сегодня странно прозвучала бы сама просьба, с которой обратился Гоголь к Пушкину, — передать ему «сюжет»; между тем в интересующее нас время она вытекала из самого мироощущения творческой личности. Перед глазами был пример великого Шекспира, весьма охотно и широко пользовавшегося различными источниками. Не случайно и то, что широкое хождение получила фраза, приписываемая Мольеру: «Я беру свое добро, где нахожу его». Вспоминая литературные тяжбы первой трети XIX века, мы замечаем, что типичный случай — обвинение не в плагиате, а в том, что какая-либо вещь напечатана без ведома автора или ему приписано не принадлежащее ему произведение. Известный памфлет Гончарова против Тургенева — это факт иного, изменившегося литературного сознания.

Все это надо учитывать, чтобы понять контекст сообщения Анненкова. А контекст этот к тому же еще полемический, направленный против вышедшей незадолго перед тем книги Кулиша «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя...» (Спб., т. I—II, 1856). Остановливаясь на разного рода «пятнышках» в характере и поступках писателя, Кулиш считал необходимым объяснять их и оправдывать. Анненков же полагает, что это не нужно, что Гоголь в оправдании не нуждается, что «для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь уверенность к его благодатной природе». Далее идет фраза: «Пример правильной оценки Гоголя дал Пушкин» — и рассказывается эпизод с передачей сюжета. Иначе говоря, этот эпизод фигурирует как пример глубокого понимания Пушкиным Гоголя, если хотите, принятия его «недостатков», ибо эти недостатки были проявлением силы мощного характера, ищущего путей для самоутверждения, для развертывания своих способностей. Именно поэтому он благороден и нравственен во всех своих поступках.

В сегодняшнем свете пушкинские слова и соответственно интерпретация Анненкова воспринимаются как осуждение (хотя и мягкое) гоголевского «похищения». Но это глубокое заблуждение. Во фразе Пушкина «...обирает меня так, что и кричать нельзя» — акцент стоит на последних словах. Притом «кричать

нельзя» не потому, что Гоголь действует слишком решительно или ловко, а потому, что у него есть свои основания. Это подтверждается комментарием самого Анненкова: «Глубокое слово! Пушкин понимал неписанные права общественного деятеля». Речь идет не о правах Пушкина, то есть, как это принято считать сегодня, не о правах на литературную собственность, якобы нарушенных Гоголем, а наоборот—о правах Гоголя творчески использовать предоставляющиеся ему возможности. В этом окончательно убеждает фраза, завершающая весь упомянутый пассаж: «Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему» (10, с. 71) <sup>4</sup>.

И с психологической точки зрения все это достаточно обосновано и не противоречит гоголевскому письму от 7 октября 1835 года. Вполне логично допустить, что Пушкин вначале отдал Гоголю свой «сюжет», отдал, преодолевая внутреннее сопротивление (ведь он был нужен ему самому), подчиняясь гоголевскому обаянию, охваченный искренним желанием ему помочь, а затем не без легкого налета ревности заметил в домашнем кругу, что тот его «обирает». Сказано это было шутивно («говорил, смеясь»), беззлобно, с пониманием правоты и мотивированности гоголевского поступка.

Так началась беспримечная, почти семнадцатилетняя творческая история «Мертвых душ», радостная и мучительная, знавшая и подъемы и спады...

Но прежде чем перейти к следующим вехам этой истории, остановимся еще на одной детали, все значение которой открылось впоследствии. Пушкин, как вспоминал Гоголь, подкрепил свою мысль ссылкой на Сервантеса. Сервантес фигурировал как создатель большой эпической формы, романа, а также как писатель, упрочивший благодаря «главному произведению» свою славу. Но был еще один аспект, пока еще находившийся в тени, возможно, и для самих собеседников.

В «Дон-Кихоте» поражала множественность и глубина значений, как будто бы исключаемая его первоначальной ограниченной задачей—высмеиванием модного пристрастия к рыцарским романам. Возникал вопрос: как соотносилось одно с другим; сознавал ли творец, с первых своих шагов, весь объем замысла?

Противоречие глубоко объяснил впоследствии Томас Манн, подчеркнувший постепенное обогащение смысла романа: нередко «великие произведения вырастали из скромных замыслов», так как «честолюбию не место в начале работы, оно должно расти вместе с самим творением...» (61, с. 404).

Аналогия применима до некоторой степени к «Мертвым душам». Хотя нельзя сказать, что поэма выросла «из скромных замыслов», но им суждено было обогащаться, развиваться, углубляться постепенно, вместе с продвижением всего труда.

Да и само русское общество, так сказать, постоянно вживалось и углублялось в гоголевский замысел, и с каждым этапом писательского труда, с каждым шагом вперед (становившимся известным более или менее широкому кругу слушателей и читателей) открывались все более далекие и значительные горизонты.

Больше того — оба явления оказались взаимосвязанными. Чем шире раздвигался горизонт поэмы в сознании читающего мира, чем больше людей втягивал в себя этот процесс, тем интенсивнее становились те импульсы, которые получал Гоголь для продолжения своего труда.

## ГЛАВА II

---

# ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

---

Обычно произведение становится фактом литературной жизни после завершения и опубликования. С «Мертвыми душами» это произошло значительно раньше.

Первое известное нам (и, вероятно, вообще первое) чтение «Мертвых душ» — это чтение Пушкину, в Петербурге, вскоре после написания начальных глав (точное время события определить пока не удается).

Рассказал об этом впоследствии сам Гоголь в третьем из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» (датировано письмо 1843 годом, опубликовано в 1847 году — в «Выбранных местах из переписки с друзьями»). «...Когда я начал читать Пушкину первые главы из М[ертвых] д[уш], в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“» (VIII, 294).

Это единственное свидетельство состоявшегося чтения. Впрочем, есть еще одно — косвенное и менее определенное и надежное.

Вскоре после смерти Гоголя, в 1852 году, Г. П. Данилевский, в ту пору начинающий писатель, стал выспрашивать у его слуги Якима Нимченко различные подробности о жизни умершего,

особенно интересуясь «временем знакомства Гоголя с Пушкиным». «Накануне отъезда Гоголя в 1836 году за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей» (63, 1852, № 124).

В этом воспоминании — ряд очевидных хронологических смещений: Гоголь жил в доме Иохима по Большой Мещанской (ныне улица Плеханова, д. 39) значительно раньше, с апреля по июль 1829 года, когда он еще не был знаком с Пушкиным; накануне же отъезда за границу, в июне 1836 года, с Пушкиным он не виделся («...с Пушкиным я не успел и не мог проститься...» — писал Гоголь впоследствии — XI, 50). Но если Яким действительно запомнилась последняя (одна из последних?) встреча обоих писателей, прошедшая в чтении новых гоголевских сочинений, то таким сочинением могли быть прежде всего «Мертвые души».

Поскольку сведения об этой встрече оказались столь скудны, сам факт упомянутого чтения был поставлен под сомнение. Сделал это П. В. Нащокин, друг Пушкина, впоследствии — знакомый Гоголя. Биограф Пушкина П. И. Бартевев записал 4 ноября 1851 года: «Нащокин никак не может согласиться, чтобы Гоголь читал Пушкину свои Мертвые души (см. Переписку, с. 145)<sup>5</sup>. Он говорит, что Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведении. О Мертвых же душах не говорил. Хвалил он ему Ревизора, особенно Тараса Бульбу...» (78, с. 44—45).

Свидетельство Нащокина, записанное Бартевевым, оспорил, в свою очередь, редактор книги, известный советский пушкинист М. А. Цявловский: «...нельзя согласиться с Нащокиным, утверждавшим, что Гоголь не читал «Мертвых душ» Пушкину, основываясь лишь на том, что последний ничего ему не говорил об этом. Утверждение Нащокина говорит лишь о том, что чтение это не оставило у Пушкина сильного впечатления» (78, с. 116). Тем самым, однако, часть утверждения Гоголя все же ставилась под сомнение — о том, что «Мертвые души» поразили Пушкина.

Между тем, я думаю, существует более убедительная и к тому же простая причина молчания Пушкина — того, что он ничего не сообщил Нащокину о «Мертвых душах».

Гоголь был всегда достаточно скрытен в своих творческих намерениях и планах. А тут речь шла не просто об очередной вещи, а о главном труде жизни, произведении, которое должно упрочить место Гоголя в истории литературы, завоевать ему посмертную славу. В таком духе, согласно версии Гоголя,

протекал его разговор с Пушкиным, закончившийся передачей сюжета «Мертвых душ». Смысл труда, по мере его продвижения, виделся Гоголю по-разному, открывая различные свои грани; но ощущение его значительности и исключительности возникло буквально с первых дней. Соответственно возрастала и степень секретности, тайны, которою окружал Гоголь свою работу.

Из петербургских друзей Гоголя о предпринятом труде знали на первых порах только трое — Пушкин, Жуковский и Плетнев, то есть люди одного, «пушкинского» круга. Гоголь не хотел, чтобы сведения просочились за пределы этого круга, налагая на друзей обет молчания и сохранения тайны, как это видно даже из более позднего обращения к Жуковскому («Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев должны знать настоящее дело» — XI, 75—76). Нет сомнения, что с подобной просьбой обращался Гоголь и к Пушкину, человеку, более всех посвященному в его замысел.

С Павлом Нащокиным приходилось быть особенно осторожным, так как он жил в Москве, через него шли нити к московским друзьям Гоголя: М. Щепкину, семейству Аксаковых, Погодину и другим. А от них-то Гоголь на первых порах скрывал свою тайну. По письму Гоголя к Погодину, написанному уже по отъезде за границу 28 ноября 1836 года, видно, что в этом письме *впервые* сообщаются ему сведения о новой работе, причем в нарочито ограниченном объеме («... вот все, что ты должен покамест узнать об ней» — XI, 77).

Интересный факт: в мае 1836 года, еще до отъезда Гоголя за границу, в Москву наведался Пушкин. Он жил у Нащокина, встречался с Щепкиным, вел с ним переговоры о московской премьере «Ревизора». Но никто из москвичей о новом труде Гоголя не узнал. Это могло быть результатом нарочитого и, видимо, заранее условленного с Гоголем умолчания. Так что дело не в том, будто бы чтение «Мертвых душ» не оставило в сознании Пушкина заметного следа.

Нам неизвестна та редакция «Мертвых душ», которую слышал Пушкин. Наиболее близкой к ней считают отрывок из восьмой главы из собрания А. А. Иванова<sup>6</sup>. Однако из текста отрывка видно, что он написан уже после отъезда за границу («А теперь, как унесло меня море из нашей просторной империи...» — говорится, между прочим, в этом отрывке); да едва ли работа над поэмой в петербургский период продвинулась так далеко — до восьмой главы. По-видимому, Гоголь читал ту редакцию, о которой шла речь в его письме от 7 октября 1835 года. Этот текст создавался еще до определения общего

плана, до перестройки (отсюда оговорка Гоголя: «...в том виде, как они были прежде...»), и от него, повторяем, ничего не сохранилось.

Первое чтение рукописи предвосхищает многочисленные последующие уже тем, что в произведенном на слушателя сильным впечатлении автор искал и находил стимул для дальнейшей работы и переработки. На некоторых направлениях этой переработки, определяемых, разумеется, гипотетически, мы остановимся позднее.

### ГЛАВА III

---

## «ВСЕ НАЧАТОЕ ПЕРЕДЕЛАЛ ВНОВЬ»

---

6 июня 1836 года после бурных переживаний, вызванных премьерой «Ревизора», Гоголь едет за границу. Едет с намерением «глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения»; с убеждением, что его разлука с родиной продлится долго.

Грусть расставания, негодование на бранчливых критиков «Ревизора» сменяется ощущением свободы и творческого подъема. Достигнув в конце июня Гамбурга (Гоголь едет вначале пароходом из Петербурга—именно так, как он и описал в наброске VIII главы поэмы,—а затем по суше дилижансом), он спешит поделиться с Жуковским притоком новых ощущений: «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст» (XI, 48).

Гоголь еще не говорит, над какими «творениями» он собирается работать. Но очень скоро выясняется, что это—«Мертвые души». Вообще едва ли можно сомневаться в том, что он отправился за границу с твердым намерением посвятить себя новому труду. В мае 1836 года, еще из Петербурга, Гоголь сообщает Щепкину в Москву, что «дорогою» будет «сильно обдумывать одну замышляемую» им «пьесу» (какую «пьесу», он не говорит; свой замысел «Мертвых душ» он еще скрывает от москвичей). «Зимой в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать» (XI, 44). Значит, на первых порах Гоголь рассчитывает закончить свой труд через год—к весне 1837 года.

В августе, проделав большой путь, побывав и в Бремене, и в Дюссельдорфе, и в Ахене, и в Кёльне, и во Франкфурте-на-Майне, и в Баден-Бадене, Гоголь достигает границ Швейцарии. Несколько недель пробыл он в швейцарском городке Веве, вновь, хотя и ненадолго, ощутив вкус оседлой жизни. В Веве, собравшись с мыслями и впечатлениями, для которых так благотворна была дорога, Гоголь возобновляет работу над «Мертвыми душами».

В более позднем письме к Жуковскому (от 12 ноября нового стиля) он сообщал: «Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за Мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нуж[но] его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день» (XI, 73—74).

В начале ноября Гоголь переехал в Париж (откуда он и отправил упомянутое письмо к Жуковскому), продолжая работу над произведением. «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве,—говорится в том же письме,—и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь... Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. *Терпенье!* Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом».

В заключение Гоголь просит снабдить его конкретным материалом, реальными фактами, лежащими в русле задуманного сюжета. «Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но несмотря [на это], вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум» (XI, 74—75).

Письмо к Жуковскому знаменует наступление новой фазы в работе над «Мертвыми душами».

Прежде всего — обдуман «план» произведения, переделано все написанное в Петербурге. Возникло ощущение перспективно, дальний замах, позволявшие Гоголю вести дело «спокойно». По-видимому, в это время действие вошло в то русло, которое затем уже не менялось. Но конкретные эпизоды, все типы помещиков, все обстоятельства торга вокруг мертвых душ, не говоря уже о конкретных диалогах и деталях, не были еще определены, выдвинулись в тумане. Для их материализации Гоголю нужны реальные «казусы» и подробности, с просьбой о которых он и обращается к друзьям.

«Мертвые души» мыслятся под знаком «веселости», комизма — собственно так, как они и задуманы и описаны в письме к Пушкину от 7 октября 1835 года. Но теперь, после появления «Ревизора», острее ощущается сатирическое жало этой насмешливости. Гоголь подсознательно соотносил новое творение с «Ревизором», когда говорил, что против автора «восстанут новые сословия»: конечно же это помещики, которые в своем социальном статусе, в качестве владельцев душ еще не попадали в орбиту его художественного внимания. Гоголь не скупились на резкие комические краски; для продолжения труда ему нужен изрядный запас веселости, нужно ровное расположение духа; нужны спокойствие и уверенность в себе.

В то же время уже определилась иная, некомическая стихия произведения — в виде лирических отступлений серьезного и патетического характера. А может быть уже стал намечаться — в виде очень дальней перспективы — и выход к иным, не комическим, более значительным характерам. Во всяком случае, впервые произнесено обещание «Вся Русь явится в нем!», что является отменной прежнего тезиса — об изображении Руси «с одного боку».

Соответственно меняется и понимание жанра. По мере отхода произведения от существовавших романских традиций (прежде всего плутовского романа, но также и связанных с ними традиций романа путешествий и нравоописательного романа) переставало удовлетворять само определение «роман» (ср. в письме к М. П. Погодину, написанном двумя неделями позже: «Вещь, над которой сию и тружусь... не похожа ни на повесть, ни на роман...» — XI, 77). Впервые появляется слово «поэма» («...в мою поэму») — жанровое определение, которое удержалось на всех стадиях работы, вплоть до издания книги. Усиливается ощущение объемности произведения; последнее уже не просто «длинное» («предлинный роман»), но огромное и великое («огром-

но велико мое творение»). Впервые — в упомянутом письме к Погодину — появляется и указание на то, что это будет много-томный труд («в несколько томов»), в чем, кстати, можно видеть косвенное подтверждение того факта, что Гоголь уже подумывал о расширении художественного диапазона поэмы, выхода за пределы «низменных рядов ее».

Продлевается и предполагаемое время окончания «Мертвых душ». Мелькнувший было срок — весна следующего, 1837 года — отменяется. Гоголь не называет уже даты завершения труда; ему ясно лишь одно: «Не скоро конец его».

Новая стадия работы обусловила и гоголевскую тактику секретности, изменения в этой тактике.

К осени 1836 года в его новый замысел остаются посвящены по-прежнему только Пушкин, Жуковский и Плетнев. Еще одно исключение Гоголь сделал для А. С. Данилевского, земляка и близкого друга, однокашника по нежинской Гимназии. Данилевскому Гоголь доверял, так как тот умел хранить тайны; кроме того, нужно учесть, что Данилевский был его попутчиком при отъезде из Петербурга и в первые два месяца путешествия по Германии; когда друзья на некоторое время расстались, Данилевский уже знал о том, что больше всего занимало Гоголя. Это видно из письма Гоголя к Данилевскому, отправленного из Швейцарии (Лозанны) 23 октября 1836 года: «...я начал здесь писать и продолжал моих «Мертвых душ», которых было оставил. Но... остальное расскажу увидевшись» (XI, 72).

Но любопытный штрих: утаивая ото всех, кроме трех-четырех лиц, содержание и смысл своего нового труда, Гоголь как бы высвобождал из-под секретности некоторую часть информации и даже предназначил ее для широкого распространения. Сообщив подробно Жуковскому о ходе дел, Гоголь прибавлял: «Никому не скажите, в чем состоит сюжет «Мертвых душ». Название можете объяснить всем» (XI, 75—76). Собственно так и поступал Гоголь по отношению к москвичам. Описав М. П. Погодину некоторые внешние признаки задуманной вещи (название, жанр, объем и т. д.), он несколько жестко добавил: «Вот все, что ты должен покамест узнать об ней» (XI, 77). Это похоже на рекламу, на (говоря современным языком) анонсирование; однако вытекали подобные шаги из глубокого и в большой мере нового авторского мироощущения.

«Мертвые души» с самого начала, еще в Петербурге, ощущались Гоголем как труд необычный, единственный — главный труд его жизни. Теперь это ощущение не только возросло, но в нем появилось нечто новое — идея избранности, высшей предопределенности. «И ныне я чувствую, что не земная воля

направляет путь мой» (XI, 46). А predeterminedность связана, в свою очередь, с мыслью о некоем существенном, великом значении предпринятого дела для соотечественников, для России. Впервые возникает ощущение подвига, совершаемого с помощью художественного слова, на писательском поприще.

(Кстати, ретроспективно в «Авторской исповеди» Гоголь улавливает и фиксирует различие стадий. При начале работы экстраординарность «Мертвых душ» ощущалась лишь в литературной плоскости: это должна быть главная книга Гоголя, способная увековечить его имя, поставить в ряд с классиками и т. д. Впоследствии же перед автором встал вопрос об общественной значительности, «цели» труда, причем в широком, общенациональном смысле: «Я увидел ясно... что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость...» (VIII, 441). Фразеология здесь новая— в 1836 году Гоголь еще не сказал бы о «цели», о «полезности» художественного произведения— но она передает эволюцию замысла, вступившего в новую фазу.)

В сознании Гоголя складывается автопортрет того, кто совершает в тиши художественный подвиг. Это человек, отвернувшийся от «подлой современности», от «мирского рынка». «Как молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая непорочная душа умеет только беседовать с богом» (XI, 78). Ради своего дела он «готов осудить себя на все, на нищенскую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерываемое уединение...» (XI, 78). Он— «бездомный», которого «бьют и качают волны» и поддерживает лишь «якорь гордости» (XI, 92).

Нищий, скиталец, изгнанник из отечества, не признанный современниками... Гоголевский автопортрет определенным образом стилизуется; за ним угадывается евангельское: «Нет пророка в своем отечестве»; угадывается облик пророка, которого современники преследуют бранью и камнями, но ценят потомки. В это время глубокий отклик в душе Гоголя нашел пушкинский «Полководец» (XI, 85)— нетрудно догадаться почему. В стихотворении вставала фигура «несчастливого» героя, полководца Барклая де Толли, которому за верность и добро заплатили хулой и оскорблениями (как заплатили, считает Гоголь, ему за «Ревизора»).

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
Поэта приведет в восторг и в умиление!

Сравним с этим гоголевские слова из того же письма к Жуковскому, где говорилось о «Мертвых душах»: «Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез, произнесут примирение моей тени» (XI, 75).

Тональность этих размышлений, их детали, краски уже намечают выход к тем лирическим отступлениям поэмы, которые рисуют драматическую судьбу комического писателя (в частности, в начале VII главы).

Что касается таинственности, степени секретности, то все это прямо связано с авторским мироощущением Гоголя. Пусть «настоящее дело» знают избранные; но зато многие («все» — даже говорит Гоголь) должны чувствовать, что в тиши совершается нечто важное, имеющее отношение к жизни каждого. Они должны быть настроены на ожидание этого важного, на встречу с ним, его узнавание. В то время как художническое дело спонтанно и независимо, Гоголь, подобно опытному режиссеру, готов предугадать и направить внимание аудитории. Этой, кажется, впервые проявившейся устремленности Гоголя предстало затем играть все большую и большую роль в судьбе «Мертвых душ»...

Тем временем гоголевское сознание, вырабатывающее автобиографический образ поэта, творца «Мертвых душ», получает новый импульс: Гоголь узнает (в феврале 1837 г.) о смерти Пушкина. Свое скорбное, гнетущее чувство он изливает в письмах, отправленных из Рима в марте того же года — к Плетневу, Погодину, Н. Я. Прокоповичу. Горькую судьбу Пушкина, его гибель Гоголь осмысливает в духе непримиримого романтического конфликта поэта и действительности, гения и толпы, что, конечно, не лишает его переживания глубины и искренности. «Великого не стало» (XI, 93) — это напоминает знаменитые строки из «Торжества победителей» Шиллера — Жуковского: «Нет великого Патрокла; жив презрительный Терсит». А замечание о том, что Пушкин подтвердил «вечную участь поэтов на родине» (XI, 91), предвосхищает и текстуально и по смыслу стихотворение Кюхельбекера «Участь русских поэтов» («Горька судьба поэтов всех племен; Тяжеле всех судьба казнит Россию»).

Гоголевские признания, сделанные в связи со смертью Пушкина, ставились под сомнение; указывалось, что они послужили источником легенды о дружбе и идейной близости двух поэтов, которой на самом деле не было<sup>7</sup>. Однако здесь неуместна никакая крайность: Гоголь преувеличивал, но в основании его слов лежали действительные факты. «Ничего не предприни-

мал я без его [Пушкина] совета» — это скорее всего преувеличение. Но следующие затем слова не могут противоречить реальному настроению Гоголя в годы его общения с Пушкиным: «Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою» (XI, 88). Видеть перед собою взыскательный взор мастера — это не значит во всем с ним соглашаться. Это значит ждать его одобрения, его высокого суда даже и в том случае, если идешь своей собственной дорогой.

Все это получало теперь смысл применительно к «Мертвым душам». «Нынешний труд мой, внушенный им, его создание...» (XI, 89). «И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал...» (XI, 91). Едва ли можно установить, что и в какой мере Гоголь преувеличивал (например: была ли «клятва»), но несомненно то, что эти слова восходят к реальному факту передачи ему Пушкиным «сюжета» «Мертвых душ».

Гоголевское преувеличение есть род поэтического преобразования, протекавшего в русле той рефлексии, которая сопровождала работу над поэмой. И то, что говорится об ушедшем великом, как бы отвлечено от создаваемого им, Гоголем, автобиографического образа поэта: и Пушкин был наделян высшей поэтической силой, и он был одинок, и его преследовала «чернь». «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди даже холодные были тронуты этою потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину?» (XI, 91). В инвективы Гоголя прорывается личная нота; несомненно в них звучит память «горьких минут», которые пришлось и ему «чувствовать», скажем, как автору «Ревизора».

Гоголь объединяет себя и Пушкина общей «участью русских поэтов», когда уход одного заставляет оставшегося острее ощущать и свое одиночество, и свою избранность.

Поэтические изображения порою требуют двойной мотивировки, высшей и земной, реальной. Замысел «Мертвых душ», направляемый «неземной волей», отныне воспринимается и как завещание Пушкина — «священное завещание» (XI, 97).

«И СМЕШНО И БОЛЬНО!»

В Париже, где Гоголь жил с ноября 1836 по февраль 1837 года и где он узнал о гибели Пушкина, в Риме, куда он переехал в начале марта, успешно продолжалась работа над «Мертвыми душами». К лету труд настолько продвинулся вперед, что писатель начинает подумывать о напечатании книги. 21(9) июля 1837 года Гоголь сообщает своему другу Н. Я. Прокоповичу, что посылает «в начале следующего года печатать... крупную вещь, которая, думаю, вознаградит мои труды и заботы о ней» (XI, 107).

Итак, назначается срок: начало 1838 года... Это противоречит предшествовавшим сообщениям о том, что «не скоро конец» труду, что его предстоит «долго еще... обдумывать»; однако в последнем случае речь идет обо всем замысле, всем произведении, в первом же — об его части, начальном томе. Строки из письма к Прокоповичу — первое свидетельство о том, что Гоголь решает издавать «Мертвые души» по томам.

Чтобы апробировать написанное, Гоголь предпринимает ряд чтений.

Первое известное нам заграничное чтение и, вероятно, вообще первое чтение новой редакции состоялось в августе 1837 года в Баден-Бадене. Гоголь приехал в Баден-Баден в начале июля из Рима, через Турин.

Здесь он застал Александру Осиповну Смирнову, урожденную Россет, фрейлину императорского двора, вышедшую в 1832 году замуж за чиновника министерства иностранных дел Н. М. Смирнова.

Гоголь познакомился с ней еще в Петербурге, через Жуковского и Пушкина, в самом начале своего литературного пути. Уже в сентябре 1831 года он посылает Жуковскому «для Розетти» экземпляр только что вышедшего первого тома «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Смирнова была близким другом Жуковского и Пушкина, ценивших ее живой и острый ум. Вероятно, все это определило решение Гоголя начать свои чтения именно с нее.

Впоследствии Смирнова рассказывала: «В июле месяце<sup>8</sup> он [Гоголь] неожиданно предложил собраться вечерком и объявил, что пишет роман под названием «Мертвые души». Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, Валериан Платонов собрались на нашу дачу. День простоял знойный, мы уселись, и Гоголь вынул

из кармана тетрадку в четверку и начал первую главу своей бессмертной поэмы. Между тем гром гремел, разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню... Мы были в восторге. Однако Гоголь не кончил второй главы и просил Карамзина довести его до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились» (86, с. 273)<sup>9</sup>.

Сохранилось письмо другого участника этого чтения, А. Н. Карамзина, написанное по свежим следам события и свидетельствующее о том, что Смирнова довольно верно запомнила все происходившее. 18(6) августа, в пятницу, Карамзин писал из Баден-Бадена своей матери Екатерине Андреевне: «В понедельник обедал я у Смирновых с Гоголем, который принес читать нам новое еще неоконченное сочинение: это длинный юмористический роман о России. Это лучше всего до сих пор написанного им, но ничего другого не смею сказать, потому что он читал нам *sous le sceau du secret* (под покровом тайны.— *фр.*). И кстати запаслись мы этим чтением, которое задержало нас до позднего вечера...» (89, с. 164).

Значит, чтение состоялось 14 августа (по новому стилю). Прочитано было неполных две главы. Слушатели поняли, что это самое значительное гоголевское сочинение, отозвались на его комический пафос. Для обстановки секретности, в которой происходило чтение, существенна и та деталь, что Гоголь, по обыкновению, разрешил слушателям упоминать лишь о самом факте готовящегося нового сочинения, ничего не сообщая и не раскрывая по существу. Этим и предопределялся характер информации, переданной на родину А. Н. Карамзиным.

Кстати, А. Н. Карамзина до известной степени можно считать принадлежащим к пушкинскому кругу, чем и вызвана доверенность к нему Гоголя. Сын знаменитого писателя и историка Карамзина, племянник поэта П. А. Вяземского, Андрей Николаевич не раз встречался с Гоголем в Париже, а затем в Риме. Он был свидетелем того отчаяния, которое вызвало в Гоголе сообщение о гибели Пушкина. «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил всё, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него» (90, с. 298—299). Андрей Карамзин, узнавший о гибели поэта из письма матери (от 30 января), был, видимо, тем, кто первым (или одним из первых) передал трагическую весть Гоголю. Как и Гоголь, Андрей Карамзин негодовал на светскую чернь, в которой видел главного виновника трагедии. С Гоголем он делил и горечь потери и ненависть к «нашим просвещенным невеждам».

Что касается Льва Соллогуба (брата писателя В. А. Соллогуба) и Валериана Платонова, то если память Смирнову не подвела и они действительно присутствовали при чтении (А. Н. Карамзин их не упоминает), то лишь на правах друзей Смирновой. В биографии Гоголя это лица эпизодические, случайные; скольконбудь глубоких связей с ними у писателя не было.

Из Бадена Гоголь—с кратковременными остановками во Франкфурте и Женеве—едет в Италию. Во второй половине октября он уже в Риме. Вторичная встреча с вечным городом открыла Гоголя, наполнила его свежими силами, зарядила энергией. «Я родился здесь,—пишет он Жуковскому 30 октября.—Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр—все это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» (XI, 111).

Гоголь поселяется близ Монте Пинчио на Страда Феличе (теперь Виа Систина) на третьем этаже трехэтажного дома. Дом этот в переделанном виде, с надстроенным пятым этажом, сохранился по сей день. И как в гоголевские времена, он носит номер 126.

В начале нашего столетия стараниями почитателей таланта Гоголя—прежде всего его бывшей ученицы Марии Петровны Балабиной (в замужестве Вагнер) и известного в свое время писателя П. Д. Боборыкина—на доме была установлена мемориальная доска (9, с. 2). Надпись гласит: «Здесь жил в 1838—1842 годы Николай Васильевич Гоголь. Здесь писал „Мертвые души“». Действительно, в квартире на Страда Феличе выполнена большая часть труда над произведением; здесь оно шлифовалось, переписывалось набело.

Но осенью 1837 года до заключительного акта работы было далеко. Гоголь еще в середине пути. Увлеченный трудом, он думает лишь о том, чтобы не упустить счастливых часов спокойствия и вдохновения. «Я весел; душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой» (В. А. Жуковскому, 30 октября н. ст.—XI, 112). Писателя одолевают тревожные думы—выдержит ли его организм, несильный от природы, подверженный всевозможным болезням. «Что если я не окончу труда моего?.. О, прочь эта ужасная мысль! Она вмещает в себе целый ад мук, которых не доведи бог вкушать смертному» (П. А. Вяземскому, 25 июня н. ст. 1838 г.—XI, 157).

В июле 1838 года, после восьмимесячного, почти безвыездного пребывания в Риме, наполненного напряженным трудом, Гоголь едет в Неаполь. Настроение его заметно падает, дает себя знать усталость. Около 14 августа по новому стилю он сообщает Погодину из Неаполя: «Сижу над трудом, о котором

ты уже знаешь, я писал тебе о нем, но работа моя вяла, нет той живости» (XI, 165). Чтобы рассеяться, Гоголь посещает небольшой курортный город Каstellамаре, в двух часах от Неаполя, проводя время в обществе Репниных, с которыми—прежде всего с княжной Варварой Николаевной Репниной—он сдружился еще двумя годами раньше, в Баден-Бадене. Варваре Николаевне Репниной Гоголь рассказывал о «Мертвых душах», возможно он что-то и прочитал из них, хотя с определенностью утверждать это нельзя<sup>10</sup>.

А во второй половине августа, откликаясь на приглашение Данилевского, Гоголь едет в Париж. И здесь происходит новое чтение «Мертвых душ»—второе из заграничных чтений, о которых сохранились достоверные сведения.

Гоголь читал в октябре Александру Ивановичу Тургеневу, известному литератору, брату декабриста Николая Тургенева. И снова случилось так, что тень Пушкина незримо связывала творца «Мертвых душ» с его слушателем.

Гоголь познакомился с Александром Тургеневым еще в Петербурге, не позднее декабря 1834 года (29, с. 138). В 1836 году Тургенев, как и Гоголь, стал одним из активных сотрудников пушкинского «Современника»; встречи обоих литераторов на этой почве весьма и весьма вероятны. Что же касается близости Пушкина к Тургеневу, то о ней дает представление письмо последнего от 30 января 1837 года: «Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России» (104, с. 272).

Но не только привязанность к Пушкину—боль о его гибели, чувство общей скорби связывали Гоголя и Тургенева. Тургенев провел много времени в квартире умирающего Пушкина, а потом ему выпала грустная миссия сопровождать гроб с телом поэта к месту его погребения в Святогорском монастыре.

Отправившись в июне 1837 года в очередной вояж за границу, Тургенев встретился во Франкфурте с Гоголем. Как видно из тургеневского дневника, 1 сентября он дважды беседовал с Гоголем о Пушкине. Красноречива сама последовательность фраз в тургеневской записи: «О Пушкине, о сочинении его „Мертвые души“» (29, с. 138). «Мертвые души» фигурировали как произведение, подсказанное и завещанное Гоголю Пушкиным. Об этом свидетельствует и более позднее (17 октября 1842 г.) письмо А. И. Тургенева, где о «Мертвых душах» сообщалось: «Мысль принадлежит Пушкину: он завещал ее Гоголю» (29, с. 141).

Но, конечно, во время франкфуртской встречи обсуждались и обстоятельства смерти Пушкина. «...От Тургенева Гоголь

узнал многие неизвестные ему подробности гибели Пушкина» (30, с. 490). Спустя год, в октябре, во время встречи в Париже, разговор снова заходил о Пушкине<sup>11</sup>.

Здесь, в Париже, 24 октября и состоялось упомянутое чтение поэмы, под влиянием которого Тургенев сделал следующую запись: «Верная, живая картина России, нашего чиновного, дворянского быта, нашей государственной и частной, помещичьей нравственности. Покупает мертвых для обмана ими правительства, для залога несуществующих крестьян в ломбард, и потом земли, правитель[ство]м для населения продаваемые,— характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут; и смешно и больно!» (29, с. 138).

Из следующих затем строк видно, что произведение Гоголя уже возбудило толки в русских кругах в Париже, хотя достоверных сведений о чтении кому-либо другому, помимо Тургенева, у нас нет.

Поскольку Гоголь имел обыкновение читать новое, незнакомое слушателям произведение только с начала, можно сделать вывод, что он прочел Тургеневу первую главу. Но не только первую: Тургеневу в общих чертах уже ясен характер аферы с мертвыми душами, раскрывающийся постепенно, со II главы. Ясен ему и широкий диапазон изображения, охватывающего не только чиновничью, государственную сферу (как в первой главе), но и помещичью, частную (как в главах последующих). Гоголь прочел Тургеневу минимум столько же глав, сколько годом раньше Смирновой— две; но может быть и больше.

Бросается в глаза и резко критическая, даже обличительная интерпретация Тургеневым содержания поэмы, что соответствует и его умонаправлению и тому углу зрения, под которым он вообще воспринимал творчество Гоголя. Еще 21 июля 1836 года, посетив в Москве «Ревизора», Тургенев записал: «...прекрасно, если красота в истине, в точности изображения нравов или безнравственности, разврата русского народа. Всякий из нас, служивших и имевших власть, встречал в жизни служебной их оригиналов; даже едва ли не каждый из нас бывал plus ou moins [более или менее] в положении ревизора, хотя и не каждый брал взятки» (93, с. 486). В «Мертвых душах» Тургенев увидел новое свидетельство беспощадной правдивости Гоголя и в то же время новое достижение его художественного таланта, ибо «красота в истине».

Но все это отвечало и настроениям Гоголя той поры. Ему, как автору «Мертвых душ», требуется заряд «гневного расположения», ненависти, ибо «без гнева... немного можно сказать: только рассердившись, говорится правда» (М. П. Балабиной, 7

ноября н. ст. 1838 года—XI, 182). В свете этих признаний становится ясным, что не случайно слушателем поэмы был выбран Тургенев и что его реакция должна была прийти автору по сердцу. После встречи во Франкфурте, проходившей, как мы видели, в разговоре о Пушкине, Гоголь записал сказанную мимоходом Тургеневым «важную истину... что, живя за границую, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уже тошнит от России» (XI, 108).

Во второй половине октября Гоголь вернулся в Рим. И тут его ждала еще одна радостная встреча с человеком, близким по духу.

С 4(16) декабря 1838 года по 1(13) февраля 1839 года в Риме находился Жуковский, сопровождавший наследника в путешествии по Европе. Свидание двух писателей было трогательным. И вновь первое же имя, возникшее в их разговоре,— Пушкин. «Он весь полон Пушкиным»,— писал Гоголь о Жуковском (XI, 192).

Гоголь показывал Жуковскому достопримечательности Рима. Вместе они рисуют, обсуждают памятники искусств и архитектуры.

Жуковский уловил беспокойно-тревожное настроение друга. Невольно сравнивая его с Шевыревым, в ту пору также находившимся в Риме, Жуковский отмечал: «Шевырев вечно на кафедре и все готовые, округленные, школьные мысли; Гоголь весь минута. Он живет Италиєю и в то же время, кажется, видит, что ему недолго жить...» (38, с. 447). Тревога Гоголя проистекала из опасений, что ему не удастся закончить «Мертвые души». От Жуковского эти опасения он не скрывал. Свое письмо к нему, написанное годом раньше, Гоголь заканчивал восклицанием, почти мольбой: «Жизни, жизни! еще бы жизни!» И дальше прибавлял, что мечтает прочесть Жуковскому свою новую работу.

И вот такая возможность представилась. Посреди прогулок по Риму, живописных занятий, бесед об искусстве Гоголь выбирает часы для чтения поэмы.

Вот скупые записи в дневнике Жуковского об этом событии.

«17 (29) декабря, суббота... Вечер у великого князя; неудачное чтение Гоголя».

«30 декабря (11 января), пятница... Вечер дома; чтение Гоголево».

«6 (18) января, пятница... Вечеру Гоголь читал главу из «Мертвых душ». Забавно и больно».

«17 (29) января, вторник... Чтение Гоголево „Коробочка“» (38, с. 454, 458, 459, 463).



---

Гоголь в Риме.  
Рисунок В. А. Жуковского из его альбома.

---

Впервые появляется упоминание одного из персонажей поэмы — Коробочки. Глава о Коробочке в окончательном тексте — третья, что, видимо, соответствовало и расположению глав в черновой редакции (об этом — в следующем разделе). Следовательно, Жуковскому Гоголь прочитал три главы — в основном по главе в день. Первое чтение, проходившее в присутствии наследника, не удалось; и Гоголь или не дочитал главу, продолжив ее в следующий раз, или же вообще прочитал ее затем заново.

Примечательна и фраза Жуковского: «Забавно и больно». Она передает сложное, двойственное впечатление, выраженное еще Пушкиным, затем — Александром Тургеневым («смешно и больно»), когда одно чувство сменялось другим, противоположным.

Через месяц после отъезда Жуковского, 8 марта (н. ст.) в Рим приехал Погодин. Поселился он в том же доме, что и Гоголь, на Страда Феличе, в соседней комнате. Вместе завтракали, осматривали Рим; вместе побывали в мастерской Иванова, прихватив с собой находившегося еще в Риме Шевырева. Не раз, наверное, возникал разговор о «Мертвых душах»: Погодин был предупрежден о них еще гоголевскими письмами. Но никаких сведений о чтении Погодину нового произведения у нас нет; по крайней мере, Погодин, фиксировавший в своем путевом отчете «Год в чужих краях» (1839) каждый совместный шаг с Гоголем, каждую встречу, ничего об этом не говорит.

Лишь однажды чтение чуть было не состоялось. 24 марта Погодин записал: «Вечер у кн. В[олконской], куда обещал прийти Г[оголь] и прочесть что-нибудь из новых своих сочинений. Мы прождали его понапрасну» (76, с. 83).

Ничего не известно и о чтении «Мертвых душ» Шевыреву.

Похоже, что Гоголь, не скрывая от москвичей самого факта работы над новым произведением, еще не решался познакомить их с ним воочию.

В конце 1838 года Гоголь позволил себе отвлечься от своего главного труда: он начал переделывать некоторые сцены «Ревизора», готовя его ко второму изданию. А в следующем году, летом и осенью, поселившись в Вене, он уже интенсивно работает над новым произведением — драмой из истории Запорожья. Это значит, что поэма на время «отпустила» автора, что им было вчерне уже всё или почти всё написано. Гоголь обычно придерживался именно такой системы: «сначала нужно набросать все как придется», чтобы на время отойти от работы: «Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хотя *пишите другое*. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь» (из «Воспоминаний о Н. В. Гоголе» Н. В. Берга — 4, с. 506, курсив мой. — Ю. М.).

Между тем молва о новом труде Гоголя, как того и желал сам автор, распространялась все шире и шире. Поздней весной и осенью 1839 года издатели предпринимают уже шаги, чтобы заполучить для печати хотя бы отрывки из «Мертвых душ». 17 августа И. Е. Великопольский, поэт и драматург, поручает живущему за границей Погодину «достать» у Гоголя «отрывки из его «Мертвых душ» для задуманных им альманахов «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (ЛН, т. 58, с. 561). 25 сентября (7 октября) с подобной же просьбой обращается к Н. М. Языкову Н. А. Мельгунов: «Если увидите Гоголя, скажите ему, что Одоевский и Краевский просят его также прислать статейку для журнала. Что бы, говорят они, прислать ему «Невесту»<sup>12</sup> или

отрывок из «Мертвых душ». Журнал надо бы поддержать...» (ЛН, т. 58, с. 562). Речь идет о новоорганизованных «Отечественных записках».

Когда писалось это письмо, Гоголь подъезжал к Москве. Закончился первый трехлетний период заграничной жизни писателя, а вместе с тем наступала новая фаза творческой истории «Мертвых душ» — время регулярных петербургских и московских чтений. Но прежде чем остановиться на этом периоде, обратимся к сохранившимся черновым текстам поэмы, чтобы определить некоторые направления проделанной Гоголем работы, ее характер и мотивы.

## ГЛАВА V

# В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОГОЛЯ

Гоголь писал в «Четырех письмах...», что первая редакция, читанная им Пушкину, включала в себя резкие отрицательные изображения персонажей — «чудовища» — и что именно это произвело угнетающее впечатление на слушателя. «С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести Мертвые души. Я увидел, что многие из гадостей не стоят злости; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом» (VIII, 294).

Итак, основное направление работы над текстом — «смягчение», «внесение света», смена калибра: вместо чудовищного — мелкое, ничтожное, пошлое, притом в подчеркнутом национально-характерном обличье («...мне хотелось попробовать, что скажет вообще русской человек, если его попотчевашь его же собственной пошлостью»). Так видится Гоголю творческий процесс спустя несколько лет после издания первого тома и в начале работы над вторым. Так, вслед за Гоголем, считают и литературоведы: «...на первых же порах создания поэма Гоголя подверглась переработке в сторону смягчения удручающего впечатления» (62, с. 147).

Прежде чем ответить на вопрос, насколько соответствуют эти представления известным нам данным творческой эволюции поэмы, обратим внимание на следующую параллель.

Есть произведение, в котором отмеченный Гоголем процесс получил наглядное выражение: это — «Портрет», первая и вторая

редакция. Если не весь процесс, то хотя бы его существенное направление, связанное с характером трактовки негативных и порочных явлений.

В «Портрете» эти явления воплощает страшный ростовщик, средоточие всего злого и враждебного человеку. К Петромихали (так именуется персонаж в первой редакции — из «Арабесок») применимо гоголевское определение «чудовище». Переработка же повести от первой редакции ко второй (опубликованной в 1842 г.) определена творческим кредо безымянного художника, появившимся именно во второй редакции: «Видно было, как всё, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной песнью» (III, 112). В другом месте: «В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего...» (III, 135). Это буквально внесение света в изображение — качество, противоположное тому, которое якобы отличало начальные главы «Мертвых душ» («тьма и пугающее отсутствие света»). При переработке «Портрета» не менялся калибр явлений — с чудовищного на пошлое, ничтожное: ростовщик был и остался страшным «чудовищем» (хотя демонизм его несколько смягчен). С этой стороны творческая история повести не может служить аналогом к приведенным словам из «Четырех писем...»; другое дело — изменение субъективного отношения к негативному материалу: здесь аналогия несомненна.

Есть еще одна параллель к пассажиру из «Четырех писем...» — строки из письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 28 декабря (н. ст.) 1840 года. «Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу» (XI, 323). Это даже и текстуально близко к тому, как описывается эволюция авторской точки зрения, авторской манеры в «Мертвых душах»: «Я увидел, что многие из гадостей не стоят злости; лучше показать всю ничтожность их...» и т. д. Перемена субъективной окраски сопровождается здесь переменной масштаба: неприятное и невыносимое передвигается в разряд незначительного и ничтожного (о ростовщике из второй редакции этого ведь не скажешь).

Письмо к С. Т. Аксакову характеризует то душевное состояние, в котором находился Гоголь во второй половине 1840 года, после пережитого в Вене тяжелого приступа болезни. К этому важному рубежу в развитии писателя, отразившемуся и на

судьбе «Мертвых душ», мы подойдем впоследствии; пока лишь отметим, что и вторая редакция «Портрета» и «Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» создавались в свете нового гоголевского устроения, несли на себе его отблеск. Отсюда — переключки и параллели.

Значит ли это, что гоголевская автохарактеристика работы над «Мертвыми душами» неосновательна? Мы уже видели на примере оценки экстраординарности замысла «Мертвых душ» (см. гл. II), что Гоголь в ретроспективных суждениях обычно модернизировал свое развитие, однако при этом верно улавливал само наличие стадий и их последовательность. Именно так обстоит дело и в данном случае.

Хотя мы не располагаем никаким материалом, демонстрирующим начальную точку движения (ничего от той редакции, которая читалась Пушкину, до нас не дошло), но по сохранившимся фрагментам первой, заграничной редакции можно судить о сравнительно ранней стадии работы. О том, что эти фрагменты (главы — в неполном виде — от II до VI; и отдельно, тоже в неполном виде, VIII глава) относятся к заграничной редакции<sup>13</sup>, свидетельствуют уже установившийся сюжет («план») поэмы, соответствующий сюжету в окончательном тексте, а также ряд намеков, указывающих на «заграничную» точку зрения повествователя. Таких намеков по крайней мере два: один, уже обративший на себя внимание литературоведов<sup>14</sup>, — в VIII главе: «А теперь, как унесло меня море из нашей просторной империи...» (330). Другой, кажется, незамеченный намек находится в VI главе: описывая француженку, жившую в доме Плюшкина, которая «была совершенно ровная с низу до верху, без всякой талии», повествователь добавляет: «Таких француженок нет во Франции; по крайней мере мне не случалось видывать» (310). Эти строки, которые могли, очевидно, появиться не ранее конца 1836 — начала 1837 года (время первого посещения Гоголем Франции), служат еще одним аргументом в пользу приурочивания рукописи к заграничному периоду.

Однако посмотрим на упомянутую редакцию в свете той характеристики, которую давал Гоголь начальным главам «Мертвых душ». В определенной мере она отвечает этой характеристике, но только в определенной мере.

Прежде всего бросается в глаза несколько своеобразный, по сравнению с позднейшими редакциями, тон, сопровождающий образ автора во фрагменте VIII главы.

Описывая те изменения, которые произошли в нем с отъездом за границу, автор говорит: «...все благоговение, которое питалось в душе к разным правителям канцелярий и многим

другим достойным людям (вариант: «правителям канцелярий и министрам») <sup>15</sup>, испарилось совершенно. Теперь и кланяться не умею... [Я состарелся]. Нет той гибкости в костях, которую сохраняют в своем хребте до глубокой старости многие дельные и деловые люди. Я упрям, не хочу видеть тех физиогномий, которые мне не нравятся... (варианты: «физиогномий, на которые нужно плевать, несмотря на все их декорации, как бы они ловко ни шаркали ногою»; «физиогномий, при которых приходит мысль о плевательнице»). Кому не говорю дружеского *ты*, тот не подходи ко мне! По этому самому читающий меня не должен обижаться, если я с ним запросто и скажу ему *ты*. Первый приятель автора есть его читатель. Словом *вы* называют всех [подлецов], отправляют ли они должность низких доносчиков, или уже выбрались в люди и начинают даже производить [подлый] род свой от древних фамилий,— их всех называют *вы*. Но если рассмотреть это *вы* в микроскоп, то можно видеть, что это *вы* есть не что другое, как чистая оплеуха. Итак, будь лучше *ты*, нежели *вы*, веселый и прямодушный читатель мой. Я с тобою совершенно без чинов...» (330—331).

В. В. Гиппиус называл тон этого отрывка «более личным» (по сравнению с позднейшими редакциями) (33, с. 141)—определение в общем верное, но требующее уточнений. Ведь достаточно привести на память некоторые лирические места окончательного текста, чтобы убедиться, насколько силен в нем личный тон; в некотором смысле он даже возрастает, становится громче. Изменения происходят по другим, более тонким линиям.

Прежде всего приглушается или, точнее, трансформируется автобиографизм. В приведенном отрывке из VIII главы, в зафиксированной здесь позиции автора, есть что-то от негодования вчерашнего мелкого чиновника (каким действительно одно время был Гоголь), сполна хлебнувшего горечь унижения перед обладателями высоких чинов и должностей—от правителей канцелярий до министра—и вот теперь, на свободе, только-только встряхнувшегося, получившего возможность более не кланяться и не унижаться. Сюда примешивалось и чувство уязвленного самолюбия творца «Ревизора»; ведь и в этом случае, как «сочинитель», Гоголь ощущал себя на положении иерархически более слабого, столкнувшегося со всей массой государственной машины («все против меня» — XI, 38).

Вполне вероятно, что ретроспективно Гоголю представлялась такая позиция слишком резкой, и он считал, что резкость постепенно им смягчалась и высветлялась. Однако как же реально происходило изменение позиции? Путем некоторого округления, скрадывания биографических черт: автор—в окон-

чательном тексте — человек, набравшийся сурового жизненного опыта, решивший говорить соотечественникам всю правду и сознательно идущий ради этого на моральные и психологические конфликты. Конкретные упоминания — мест, должностей («правители канцелярий», «министры») снимаются. Личный тон не приглушается, но как бы преобразуется, становится более проникновенным, музыкальным; образ автора, освобождаясь от некоторых слишком автобиографично звучащих деталей, обволакивается дымкой более значимого и поэтического мифа.

Похожие изменения происходят и по другим линиям. Например, в приведенном отрывке из VIII главы видную роль играют бранчливые, резкие определения, а также экспрессивные жесты, открыто выражающие негодование и презрение — вроде плевания в лицо. Это буквальное повторение некоторых фраз, зазвучавших в письмах Гоголя сразу же после отъезда из России летом 1836 года: «...на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню» (М. П. Погодину, 10(22) сентября 1836 г. — XI, 60); «...хранит вас бог от ...встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать...» (В. А. Жуковскому, 12 ноября н. ст. 1836 г. — XI, 76). Гоголь в первоначальной редакции поэмы открыл доступ той лирической стихии негодования, которая выражалась им и откровенно, от своего имени. В окончательном же тексте эта стихия словно прошла через поэтический фильтр, высказалась не прямо, более иронично.

Есть в приведенном отрывке из VIII главы такие детали, такие опорные слова, которые помогают еще более наглядно увидеть, как происходило изменение. Мы помним, что автор объявлял свое желание называть читателя на «ты», говорил, что обращение на «вы» равносильно «оплеухе» и адресуется лишь «подлецам» и т. д. С этим местом переключаются известные строки из биографии Чичикова в окончательной редакции: «Кто же он? стало быть, *подлец*? Почему ж подлец, зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную *оплеуху*, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели» (241; курсив мой. — Ю. М.).

Итак, оба опорных словечка — и «подлец» и «оплеуха» — отводятся как непригодные, отводятся словно под давлением самого персонажа (а также окружающих его лиц). Персонаж не считает себя подлецом, не собирается ставить себя под удар и т. д. В обществе принят иной, более благообразный стиль поведения, с одной стороны, маскирующий порок, а с другой —

делающий его проявление более общим, повсеместным, отнюдь не исключительным.

Соответственно меняется и способ названия вещей: то, что прежде фигурировало в авторской повествовательной манере открыто, прямо соотносясь с явлениями, теперь проходит через сложную призму иронического преломления.

Отменяется далее и обращение к читателю на «ты». Принятое в окончательной редакции поэмы обращение к читателю или выдержано в нейтральной, безличной форме («...читатель скоро узнает...», «автор советится занимать так долго читателей...» и т. д.), или придерживается формы «вы» («Вы боитесь глубоко-устраемленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор...» и т. д.), что, кстати, контрастирует с единственным обращением на «ты» к Руси (см. 52, с. 100). В Руси автор видит некий обобщенный, отчасти идеальный образ; в читателях — конкретных, реальных лиц; поэтому он уже не хочет резко делить их на врагов и друзей (соответственно на «вы» и «ты»), избегает доверительно-интимной интонации (ср. в первоначальной редакции VIII главы: «веселый и прямодушный читатель мой»); автор как бы полагает единство персонажей со средой читателей, общность их судеб — и тем самым общность ответственности («...зачем же быть так строгу к другим?»). Уже отсюда можно заключить, что видевшееся Гоголю в начале 40-х годов смягчение его поэмы на самом деле не было однозначным процессом. Нейтрализуя открытый способ обрисовки и названия явлений, переводя повествование в более сложный, иронический план, Гоголь тем самым достигал большей выразительности образа, повышения степени его обобщенности.

Наконец, разберем еще одно место из ранней редакции VIII главы. В цитированном письме к Погодину экспрессивный жест (плевание) откровенно связывался с наличием «на Руси... гадких рож». То же самое — в тексте главы: «Что ни рожа, то уж, верно, на другую не похожа. У кого исправляет должность командира нос, у другого губы, у третьего щеки, распространившие свои владения даже насчет глаз, ушей и самого даже носа, который через то кажется не больше жилетной пуговицы; у этого подбородок такой длинный, что он ежеминутно должен закрывать его платком, чтобы не оплевать. А сколько есть таких, которые похожи совсем не на людей. Этот — совершенная собака во фраке, так что дивишься, зачем он носит в руке палку; кажется, что первый встречный выхва[тит]» (332).

В. В. Гиппиус пишет: «Рисунок Гоголя достигает в этом отрывке карикатурности, у него еще небывалой; он откровенно рисует не лица, а рожи, причем рожи человеческие переходят в

звериные...» (33, с. 141). Замечание верное, но опять-таки нуждающееся в уточнении.

В «Мертвых душах» «зоологические сравнения» — не редкость, причем значительная их часть переходит в окончательную редакцию. Но характерен способ подачи этих сравнений в окончательном тексте.

В Собакевиче сильно проступает медвежья порода, но сходство подчеркнуто восприятием другого персонажа («Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя» — 94) и подбором соответствующих деталей. В Манилове есть что-то от кота, что также подчеркнуто сравнением («...зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем» — 28). В Ноздреvidе видим родство с собакой, что опять-таки передано иносказательно («Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства» — 73). Во всех случаях это не отождествление с животным, не прямое название зоологического признака, а косвенное — с помощью сравнения, описания психологической реакции другого персонажа или же потока деталей и ассоциаций.

Что же касается начала отрывка — описания различных деформаций в человеческом лице, — то все это также остается в окончательном тексте, но, так сказать, рассредоточивается. В одном месте (в VII гл.) мелькает лицо, где должность командира исполняет нос — это чиновник Иван Антонович: «Вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом» (143). В другом месте (в описании Плюшкина, в VI главе) буквально воспроизведена деталь с подбородком («...подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякой раз закрывать его платком, чтобы не заплевать...» — 116) и т. д. Возможно, упомянутые детали портрета Ивана Антоновича находились уже в указанной ранней редакции (соответствующие страницы ее не сохранились), в первоначальном же портрете Плюшкина описания подбородка не было; оно появилось позже.

Так или иначе, но эта гротескная окраска (ибо деформация человеческого лица — давняя и характерная черта гротеска) словно становится мягче, вкрадчивее, но тем самым непреложнее и в этом смысле сильнее. Тут, наряду с рассредоточением деталей, свою роль играло и перенесение их из сферы прямой речи повествователя в сферу наблюдений, выводов или высказываний персонажей. Дескать, это не автор бранит Ивана Антоновича «кувшинным рылом» — так принято называть подобные лица «в общежитии...». В свои права вступает общественное мнение, сама жизнь.



---

Манилов с женой.  
Художник А. Агин.

---



---

Чичиков у Коробочки.  
Художник А. Агин.

---



---

Ноздрев.  
Художник А. Агнин.

---



---

Собакевич.  
Художник А. Агин.

---



---

Плюшкин.  
Художник А. Агин.

---



---

Дама просто приятная и дама,  
приятная во всех отношениях.  
Художник А. Агин.

---



---

Губернские чиновники.  
Художник А. Агин.

---



---

По дороге к Плюшкину.  
Художник А. Агин.

---

\* \* \*

Как подметил еще В. И. Шенрок, «в первоначальных редакциях «Мертвых душ» гораздо больше места отведено диалогической форме изложения». И следовательно, одно из направлений работы над текстом состояло в переводе диалогической формы в личную, от лица повествователя. Вполне возможно, что ретрос-

пективно и этот процесс виделся Гоголю как некое смягчение изображения, внесение в него «света», но на деле все это имело многозначный смысл.

Остановимся на одном эпизоде в V главе — Чичиков делает предложение Собакевичу относительно продажи мертвых душ. Вот как выглядит это место в ранней редакции.

«Нельзя сказать... — таким образом начал Чичиков, — чтобы то, о котором... (чтобы та вещь, о которой)<sup>16</sup> я вам сейчас хочу предложить, было большой важности... Признаюсь, я даже опасаясь, чтобы вы как-нибудь моей просьбы не почли даже безрассудной, потому что, точно, с некоторой стороны, она может показаться (отчасти) несколько странною... Дело вот в чем: в ревижских сказках, как вам не безызвестно, числятся совершенно все души, составляющие недвижимость владения, несмотря на то, что между ними есть такие, которые уже давно не существуют, но по существующим положениям нашего государства, равного которому в силе и славе, можно сказать, нет другого во всем мире, и иностранцы очень справедливо удивляются... так по таковым положениям, до подачи новой ревижской сказки, подати за них вносятся как за существующих [...] Чтобы доставить [можно сказать] за одним разом и вам пользу, потому что я к достойным людям всегда чувствовал истинное уважение... я прошу вас уступить этих несуществующих мне» (290—291).

А вот какой вид приобрело это место в окончательной редакции (в промежуточной, так называемой второй черновой редакции соответствующие страницы отсутствуют, и проследить постепенное развитие текста невозможно).

«Чичиков начал как-то отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равных, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми [...] Собакевич всё слушал, наклонивши голову, — и что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев [...] и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал душ умершими, а только несуществующими» (100—101).

То обстоятельство, что нить рассказа берет в свои руки

повествователь, излагая от *своего имени* просьбу Чичикова, сразу же меняет звучание всего отрывка. Прежде всего создается возможность взгляда со стороны: диалог преобразуется в маленькую сценку, в которой фиксируется реакция другого лица, Собакевича, молчаливая и загадочная, предвещающая эффект его последующей, решительной фразы: «Вам нужно мертвых душ?» — Собакевич ухватил суть заботы Чичикова, оставив в стороне все его витиеватые построения.

Усиливается, далее, ироническое освещение всего происходящего; пропуская просьбу Чичикова через свое сознание, повествователь выявляет ее комическую природу; выявление происходит не только посредством еле заметных лексических добавлений и сдвигов, но и простой переадресовкой речи, вводом повествователя в качестве посредника. Одна и та же фраза (например, о положении «нашего государства», которому «иностранцы справедливо удивляются») звучит по-разному в устах Чичикова и в устах повествователя, передающего речь Чичикова. В первом случае это только род хитрости, пример плетения словес; во втором это еще и ирония по адресу хитрости, тотчас подключающая еще другие обертоны, другие значения. Например, Чичиков вдруг предстает патриотом в тот момент, когда он готов совершить нечистую сделку за счет, как говорил Гоголь в тех же «Мертвых душах», «нежно-любимого... отечества...». Даже одно слово подчас получает, благодаря посредничеству повествователя, больший вес. В речи Чичикова эпитет «несуществующий» («прошу вас уступить этих несуществующих мне») пропадает; в речи повествователя он вдруг засверкал блеском всей своей тонкой иронии («...Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал душ умершими, а только несуществующими»).

Наконец, важно и то, что благодаря переадресовке речи создается более ровная и плавная интонация повествования — авторская интонация, — как бы обнимающая своим потоком многообразные детали и подробности, создающая неуклонное, с глубоким подтекстом, эпическое движение. Повествование устойчиво и спокойно при всей своей динамичности.

Разобранный случай весьма типичный. Гоголь переключает из прямой речи в косвенную реплику Чичикова Манилову относительно «странных вещей», встречаемых «в натуре»; его пояснение тому же Манилову, что предприятие с мертвыми душами не является незаконным; просьбу Чичикова к Коробочке относительно перевода мертвых душ «только на бумаге»; вопрос Чичикова к той же Коробочке, «далеко ли живет помещик Собакевич» и т. д.

Даже обращение Селифана к лошадям подвергается той же операции, при этом конкретные детали как бы генерализируются, возводятся в более высокую, лирическую степень. В начальной редакции следовала серия обращений: «Эй, вы сердечные! мои любимые [...] Забубенные вы! Пора, пора! хватъ, хватъ! Московские обыватели, толоконные приятели» и т. д. (268). В окончательной редакции речь (или точнее «песнь») Селифана передает от своего лица автор: «Туда всё вошло: все ободрительные и понудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов и качеств без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями» (42).

Так в поле зрения повествователя оказывается способ обращения с лошадьми по всей России, то есть некий общий национальный обычай.

Эффект подобного преобразования текста (которое в некоторых случаях мы могли бы проследить подробнее, так как его промежуточная стадия отразилась и во второй черновой редакции) один и тот же: превращение монологического и диалогического пассажа в маленькую сценку, подчас даже с генерализацией ее смысла (как в сцене с Селифаном), далее внесение (или усиление) иронических моментов и, наконец, создание единой, с глубоким подтекстом, повествовательной интонации. Но все это уже выходит за пределы той тенденции, которую Гоголь ретроспективно называл «смягчением» «тягостного впечатления». В определенном смысле это было даже усиление, развитие такого впечатления, хотя надо помнить, что ни в какую однозначную формулу эффект, производимый гоголевским текстом, не умещается, рождая глубокое и подвижное, бесконечно переливающееся чувство.

\* \* \*

В ранней редакции VIII главы есть фраза, объединяющая сразу несколько литературных имен: «В старину Гомер, позже Сервантес, Вальтер Скотт и Пушкин любили живописать туалеты» (330). Эти имена были весьма значимы для Гоголя в пору работы над «Мертвыми душами». Вдохновляющий пример Сервантеса запечатлелся в его сознании еще со времен беседы с Пушкиным, указавшим на создателя «Дон-Кихота» в некотором смысле как на образец. По мере прояснения эпического и поэзного характера «Мертвых душ» мысль Гоголя все более и более влеклась и к творцу эпопеи Гомеру. Пример Пушкина интересен был Гоголю аналогичным, хотя и противоположно

направленным изменением жанра, резко нарушающим «горизонт ожидания»: вместо ожидаемой стихотворной поэмы «Евгений Онегин» являл собою роман в стихах, так же как вместо ожидаемого прозаического романа «Мертвые души» должны были явить поэму в прозе.

Наконец, во всем объеме вырисовывалось перед Гоголем и значение романного творчества Вальтера Скотта, причем происходило это как раз с началом новой (заграничной) фазы работы над «Мертвыми душами». «Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта, а там, может быть, за перо» (XJ, 60),— писал Гоголь М. П. Погодину 22(10) сентября 1836 года<sup>17</sup>.

Но вот что интересно: в начальной редакции VIII главы, откуда я привел цитату, Гоголь называет эти имена не для выражения солидарности, не для подкрепления своих собственных творческих усилий, а для полемики. Он собирается поступать *не так*, как признанные мастера в прошлом и настоящем. Те охотно «занимались описанием убранства и костюмов своих героев», не жалели красок и не избегали подробностей. Гоголь же намерен отказаться от аналогичных описаний, с тем чтобы прямо приступить к событиям... А ведь редакция эта создавалась *после* приведенных высказываний о Вальтере Скотте, в свете этих высказываний и с точки зрения логики должна была подтвердить делом новые эстетические устремления автора.

Одно из имен в перечне VIII главы—имя Пушкина—позволит нагляднее увидеть характер гоголевского отталкивания. Гоголь явно имеет в виду конкретное место в произведении поэта (что еще не замечено исследователями), а именно сцену одевания Онегина в I главе, предшествующую его отправлению на бал.

Он три часа по крайней мере  
Пред зеркалами проводил,  
И из уборной выходил  
Подобный ветреной Венере.  
Когда, надев мужской наряд,  
Богиня едет в маскарад

и т. д.

Пушкин перечисляет детали туалета Онегина, обсуждает проблему их называния на русском языке, высказывает соображения по поводу всевластия моды («обычай деспот меж людей») и только потом объявляет желание поспешить «на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал». Гоголь же, минуя подробности одевания Чичикова («просто не хочу говорить об этом»), решительно берет читателя «за руку» и ведет «на бал».

Таково известное, самое раннее состояние этой сцены. Далее начинается ее обработка, приводящая через стилистически еще не отшлифованное описание во второй черновой редакции (см. 467) к соответствующему месту в окончательном тексте. Здесь автор, со своим обещанием не вдаваться в подробности туалета, поскорее поспешить на бал и т. д., уходит со сцены; на передний план выступает сам персонаж, причем именно в положении человека, все желание которого «было устремлено на приготовление к балу». Следуют мелкие детали этой процедуры, намеренно фиксируется ее протяженность: целый час был посвящен «только на одно рассматривание лица в зеркале» (ср. у Пушкина: «Он три часа по крайней мере Пред зеркалами проводил»); в динамический портрет Чичикова влетают детали туалета: «Надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью» (161), подобно тому, как у Пушкина сходные детали вовлекались в динамику авторской речи («...описывать мое же дело: но *панталоны, фрак, жилет*, всех этих слов на русском нет...»). В целом вся сцена дает некий комический, травестированный аналог к соответствующим строфам «Евгения Онегина».

Но тем самым Гоголь совершает движение, противоположное тому, которое он объявлял в ранней редакции главы. Соответственно снимается и весь перечень имен — ведь он приводился с полемической целью, и таким образом умолчание об авторитетах стало красноречивым знаком их признания. Реальное признание наступало постепенно, превращаясь в длительный процесс, отставая от признания декларативного, выраженного в письмах, ибо творческие импульсы должны были пройти, преломиться через стиль Гоголя.

При этом названные самим Гоголем имена, исходившие от них импульсы объединялись в более или менее общую тенденцию. Когда писатель говорил, характеризуя начавшуюся с отъездом за границу новую стадию работы, что он «обдумал более весь план» и теперь ведет «его спокойно, как летопись», то тем самым обозначал эту тенденцию — к эпизации, к широкому и объективному ведению действия. Отсюда сильное тяготение Гоголя к Вальтеру Скотту.

«Гоголь любил Вальтера Скотта... за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложные события ко всем его результатам» (10, с. 75), — писал П. В. Анненков. Другой современник Гоголя, И. С. Аксаков, оставил еще более выразительный отзыв, показывающий, что в Вальтере Скотте оказывало наибольшее воздействие на художественный вкус

эпохи: «Что это за удивительный человек! По прочтении каждого романа кажется, что Вальтер Скотт только рассказывает вам истинное событие и сам не волен переменить в нем ничего, а передает, как есть, хоть рад был бы сам, чтоб это было иначе. Даже при этих ненужных сведениях, как будто бы ослабляющих впечатление... видно, что он поневоле будто бы исполняет долг добросовестного рассказчика. Личного его достоинства вы не видите почти, а между тем полная картина жизни развертывается перед Вами. Можно созерцать жизнь в Вальтер-Скоттовых романах» (47, с. 258).

Такое впечатление проистекало из особой повествовательной позиции, особой подачи образа автора в романах Вальтера Скотта. Ее главнейшие признаки — подчеркнутое, даже форсированное беспристрастие, приоритет реального события, которому автор властен лишь следовать и поэтому во избежание неточности обязан педантически фиксировать некоторые невольные нарушения временной перспективы (ср. в «Квентине Дорварде»: «Эта сцена, на описание которой нам понадобилось известное время, произошла с быстротой молнии»). Далее этой позиции свойственно то, что автор ощущает себя историком, распуывающим событийную нить, с опорой на различные источники, письменные и устные. Наконец, авторскую позицию отличает известная доля юмора, проистекающая из той же автономии предлежащих событий, — ведь писатель смотрит на них со стороны, с другой временной и социальной точки и поневоле фиксирует детали, звучащие анахронически (например, в том же «Квентине Дорварде» в связи с поединком главного героя не без лукавства отмечается: «В наше время молодые люди редко — вернее, никогда — не получают ран за красавиц, да и красавицам также нет никакого дела до наших ран»).

Все эти признаки по-своему преломились в повествовательной манере «Мертвых душ». Автор, например, всячески подчеркивает суверенность описываемых событий («...на беду, всё именно произошло так, как рассказывается...» — 206). Он якобы не в силах изменить в них никакой подробности, никакого слова («Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело слово, подмеченное на улице. Что ж делать?...» — 164). Он обязан (как это делал Вальтер Скотт) оговорить совпадение или несовпадение времени рассказа и времени действия, чтобы у читателя не создавалась на этот счет искаженная перспектива: обязан в своих отступлениях от сюжетной канвы укладываться в предоставившееся ему время («Хотя время, в продолжение которого они (Чичиков и Манилов) будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли

как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома» — 23). Повествователь даже называет себя историком — «историком предлагаемых событий». И уж, конечно, не автор своего героя, а герой автора ведет от одного события к другому, формируя направление сюжета: «Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться» (241), — лукаво, но не без серьезного подтекста заверяет повествователь.

Поэтому-то, кстати, в сцене бала в VIII главе оказалась неуместной фраза о том, что автор, минуя неинтересные ему подробности, берет читателя за руку и ведет на бал («Таковы преимущества автора»). Теперь автор должен покорно следовать за Чичиковым, ведя за собой и читателя, как некогда творец «Евгения Онегина» следовал за своим героем.

А. А. Елистратова подметила, что Гоголь «не считает нужным особо останавливаться на жанровых особенностях романа Скотта, как романа исторического, или, грубо говоря, *романа о прошлом*» (43, с. 50). Гоголь намеренно сгладил временную грань: поэтику исторического деписания он обратил к «русской современности», к ее низшим рядам, к ее «прозаическому существованию дрязгу». И благодаря этому во много раз усилился и усложнился комический эффект.

Юмористическая окраска возникает у Гоголя не только от несовпадения временной и социальной позиций автора и персонажа (такое несовпадение порою даже сглаживается; внешне автор иногда почти «равен» своим героям, всею душою входя в их заботы и переживания), но и от особого, мелочного характера самих забот и поступков, к которым приложен исторический масштаб. В самом деле, велико ли значение того факта, сколько времени простоят перед дверьми Чичиков с Маниловым? И так ли уж важно уложиться повествователю именно в это время? Однако все значение подобных мелочей в их обилии, в наполненности жизни этими мелочами, наполненности до краев, создающей подобие ее субстанционального смысла («... всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь»). А также еще в том, что этот смысл не обнаружился, не раскрылся — ни для автора, ни тем более для читателя, — настраивая на тревожные и многообещающие ожидания. Весь повествовательный стиль «Мертвых душ» поэтому постоянно колеблется между семантическими плоскостями серьезного и комического. Там, где он предельно серьезен, мы вправе заподозрить усмешку, там где подчеркнуто комичен — чувствуем глубокую серьезность.

В черновиках «Мертвых душ» встречается еще одна фраза, объединяющая ряд литературных имен, весьма значимых для Гоголя. Автор, говорится здесь, еще ничего не производил «по внушению дамскому», даже чувствует «маленькую неловкость», «если дама облокожится на письменное бюро» его, и вообще не склонен смотреть по сторонам. «Если и подымет глаза, то разве только на висящие перед ним на стене портреты Шекспира, Ариосто, Филдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу таковою, как она была, а не каковою угодно некоторым, чтобы была» (644).

Фраза эта встречается во второй черновой редакции и сохранилась вплоть до римской редакции конца 1840—начала 1841 года, в которой она была заменена другим текстом (об этом — ниже). Но, вероятнее всего, эта фраза находилась уже в первой заграничной редакции (соответствующая глава не сохранилась). Как и разобранный выше пассаж в наброске VIII главы этой ранней редакции, настоящая фраза служит мотивировкой определенного художнического решения; там — отказа от традиционного описания нарядов; здесь — выбора в качестве главного персонажа такого человека, как Чичиков, то есть не героя добродетели, а антигероя. Но подобно первому перечню имен настоящая фраза тоже не попала в окончательный текст.

Надо думать, не попала не потому, что потеряла актуальность, что автор изменил принятое было вначале направление. Ведь независимость от спекулятивных требований толпы, от прихоти литературной моды, верность правде — все это оставалось для автора «Мертвых душ» высшим критерием. И каждое из упомянутых в черновом тексте имен конкретизировало его и уточняло.

Объясняя приведенную фразу, В. В. Гиппиус писал, что, например, Шекспир был для русского автора образцом «искусства развивать крупные черты характеров в тесных границах» (фраза из гоголевской статьи «Шлецер, Миллер и Гердер»); в Ариосто он ценит «искусство подлинно эпического замедленного повествования» (33, с. 140). Филдинг — можно добавить — интересен был творцу «Мертвых душ» как создатель большого эпического полотна, вбирающего в себя мотивы плутовского романа и романа путешествий, очень широкого по охвату материала, с подчеркнутой установкой на повседневнось, на низменность мелочей и комизм характеров (43, с. 41—43). О вдохновляющем примере Сервантеса и Пушкина выше уже говорилось; что касается Пушкина, то его широта и объективность, его «протеизм» со временем все более и более ощущались

многими современниками—Гоголем в первую очередь—как образцовые и недостижимые. «...Все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем»,— скажет позднее Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...».

Все эти импульсы складывались в одну равнодействующую, стремящуюся к объективности, широте, непредвзятости. Устанавливался некий культ рыцарского служения истине, вопреки любому давлению читателей и господствующему вкусу. Нужно, однако, помнить о непростом характере этой тенденции, имеющей не только свой тон, но и сопутствующие обертона.

Говоря, например, о «полном эпическом объеме» произведения Сервантеса и Ариосто («Дон-Кихота» и «Неистового Роланда»), Гоголь отмечал еще их «шутливый тон» и «легкость»<sup>18</sup>. Применительно к Ариосто это означает, что помимо искусства «подлинно эпического замедленного повествования» (В. Гиппиус) для Гоголя была важна и его поэтика контрастов, лирической оркестровки эпической тенденции. «Ариосто,—говорил Батюшков, один из самых глубоких в то время и авторитетных в России ценителей итальянского поэта,—умеет соединить эпический тон с шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомысленным... умеет вас растрогать даже до слез, сам с вами плачет и сетует и в одну минуту и над вами, и над собою смеется» (15, с. 169—172; см. также 34, с. 236—272). Это уже близко той характеристике (и автохарактеристике) стиля Гоголя, которая стала впоследствии общепризнанной—«смех сквозь слезы».

И другое имя—Филдинга—соотносилось с манерой «Мертвых душ» столь же сложно, двупланово. С одной стороны, Филдинг был основатель в европейской литературе так называемого аукториального романа, то есть романа с личным рассказчиком, не воплощенным в определенный персонаж и не имеющим с персонажами произведения прямых контактов,—не «знакомый» с ними, нигде с ними не пересекающийся. Изображенный мир выступал независимо от поведения и жизненной судьбы повествователя; был, как говорят, дистанцирован от него. Все это, укрепляя эпическую тенденцию, представляло живой интерес для Гоголя. Ведь именно в «Мертвых душах» русская литература впервые получила пример большого эпического произведения, в котором изображенные события сюжетно никак не соприкасались с авторской судьбой. Вспомним, что в «Евгении Онегине» (как затем и в «Герое нашего времени») автор вступает в разнообразные отношения с персонажами, он с ними «встречался», «знаком» с ними и т. д.

Но с другой стороны, Филдинг, исходя из своей позиции независимого и всезнающего рассказчика, всемерно усиливает роль авторских размышлений, рефлексии. И эта рефлексия направляется художником не только на описываемые события, не только на персонажей, но и на собственный акт творчества, на свое произведение. Произведение одновременно выступает и как готовое и как становящееся, создаваемое автором на наших глазах. Возникает некое художническое состояние, размывающее суверенность и замкнутость наличного материала. Художник зависим от него, послушен ему; однако же в некоторые моменты он может поступать так, как диктует ему его собственное понимание того же материала, глубокое проникновение в его пласты. Гоголь подхватывает эту тенденцию филдинговского эпоса с той только разницей, что, приобретая более тонкое ироническое звучание, подчас она буквально вибрирует на наших глазах.

Одна маленькая иллюстрация к сказанному. В начале IX главы автор задается вопросом, «как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь». Взвешиваются и отвергаются различные варианты: нельзя персонажей называть «выдуманной фамилией», нельзя «по чинам», нельзя сказать просто «глупый», ибо всякое прозвище или имя может быть принято читателем на свой счет — «таково уж видно расположение в воздухе». И автор приходит к решению, «для избежания всего этого», «называть даму... так, как она называлась почти единогласно в городе N, именно дамою приятною во всех отношениях» (179).

Обдумывая различные возможности названия персонажа, автор демонстрирует художническую, условную их природу, их вымышленность (аналогичный ход у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Я думал уж о форме плана. И как героя назову...». Или в «Медном всаднике»: «Пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем...»). Но повествователь в «Мертвых душах» выбирает более сложный ход: объявив о своем праве, он тут же незаметно от него отступает. Точнее автор использует намеченную было возможность произвольного наименования персонажа для того, чтобы назвать его именем, которым он и без того наделен в действительности. И при этом он, повествователь, незаметно перечеркивает те мотивы, ради которых начиналась вся процедура. Разве коэффициент узнаваемости «дамы приятной во всех отношениях» ниже, чем, скажем, персонажа, аттестованного как «глупый»? А ведь нам еще сообщают, что такая дама действительно проживает в городе N. ...Прием названия все время колеблется между полюсами

«сочиненного» и «подлинного», строго мотивированного и игрового, причем в этот процесс втягивается не только сам прием, но и его мотивировка.

Почему же Гоголь снял в окончательном тексте фразу с упоминанием Филдингa, Ариосто и других писателей? Повидимому, прежде всего не устраивал характер ввода этого пассажа, некоторая надуманность всей сценки: «дама» облокачивается «на письменное бюро» автора, но тот, чувствуя от этого «маленькую неловкость», подымает глаза лишь на висящие перед ним портреты (следует перечень имен). В соответствующем месте окончательной редакции об авторе говорится лишь следующее: «Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше» (223). Перед нами иной образ — мужественный, стоический, и этот образ вытеснил несколько жеманно выглядевшие краски ранней редакции.

Существенно было и то, что на последней стадии работы появились иные ноты — обещание коснуться «доселе небранных струн», представить «несметное богатство русского духа» и т. д., о чем мы еще будем говорить. С приведенной выше сценкой все это гармонировало плохо. Римская редакция дает наглядное представление, как устранялось противоречие: весь текст, с дамой, облокотившейся на бюро, с перечнем портретов, был вычеркнут, и вписаны строки окончательной редакции («...может быть в сей же самой повести...» и т. д.)<sup>19</sup>.

Но суть не только в этом. Не в духе поэмы — название литературных имен, выполняющих роль эстетических ориентиров (другое дело — имена, несущие функцию стиливого, часто иронического контрастирования: «Вергилий прислужался Данту» — в VII главе, «к Шиллеру заехал в гости» — в VI главе). Такие ориентиры, способствуя творческому самоопределению автора, возникали на ранней стадии работы, но затем Гоголь убирал их, как снимают леса с готовой постройки.

Что же касается основного направления работы над «Мертвыми душами», то теперь видно, насколько оно было целенаправленным и в то же время неоднозначным. Говорят, автор — не судья своему произведению. Эта тривиальная истина применима даже к писателям такого масштаба, как Гоголь. То, что Гоголю впоследствии (под влиянием кризиса 1840 г.) виделось как смягчение и, так сказать, высветление «тягостного впечатления», на самом деле являлось его сгущением и интенсификацией. Гоголь, конечно, не придумывал — он опирался на действительную тенденцию своих творческих усилий, но сложность в том,

что такая тенденция никогда не выступает в чистом виде и сопровождается иными тенденциями, а иногда их и непосредственно (хотя и произвольно для автора) стимулирует. Так гоголевская уравновешенность и сглаживание биографических реалий приводили к еще большей обобщенности и значимости авторской позиции, эпическая широта и спокойствие — к возрастанию иронии, нейтрализация личного тона — к еще более вдохновенной и глубоко художественной рефлексии.

## ГЛАВА VI

### «ЭТО ПРОСТО — ЧУДО...»

Осенью 1839 года Гоголь решил ехать в Россию: его сестры, Лиза и Анна, заканчивали Патриотический институт в Петербурге, и нужно было помочь в устройстве их судьбы. Такова была главная, объявленная цель поездки; но существовали, вероятно, и другие, подспудные мотивы: запастись новыми впечатлениями, встретиться с друзьями, продолжить чтения поэмы.

В сентябре Гоголь встретился с М. П. Погодиным в Вене с тем, чтобы вместе ехать в Россию.

Перед этим июль — август они прожили «в одной комнате» в Мариенбаде. «Месяц спокойствия и праздности был для меня каким-то волшебным временем» (76а, с. 84), — писал М. П. Погодин. Может быть, в это счастливое для него время Гоголь прочел ему что-нибудь из «Мертвых душ»?

Выехали из Вены в двух экипажах: в одном — Гоголь с Погодиным, в другом — жена Погодина и жена Шевырева. Путь был долгий — через Брно, Варшаву, Вильно, Смоленск...

«26 поутру остановились мы на Поклонной горе, увидели Ивана Великого, златоглавые церкви и сердце отдохнуло. Вот направо от леса показался Девичий монастырь, вот и Дорогомиловская застава... приехали...»

Здравствуй наша матушка Москва!» (76а, с. 228).

В Москве приезд Гоголя вызвал радостный переполох. М. С. Щепкин краткой запиской известил об этом событии Аксаковых. «Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал...» (4, с. 98), — писал Сергей Тимофеевич. Аксаковы жили в то время в Аксиньине, на даче, но, получив известие от Щепкина, перебрались 1 октября в город. Константин же не смог дожидаться переезда и отправился в Москву двумя днями раньше. Таково было нетерпение!

К этому времени, как свидетельствовал С. Т. Аксаков, «слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство» (4, с. 100). Но настоящее дело знали немногие; большинство вынуждено было довольствоваться информацией из вторых и третьих рук и слухами. Из москвичей больше всех были осведомлены Погодин и Шевырев и чуть ли не меньше всех — Аксаковы, хотя Гоголь был знаком с ними еще с начала 30-х годов.

Встретив Гоголя в доме Погодина на Девичьем поле (где остановился писатель), Константин неосторожно спросил: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего» (4, с. 99). Константин еще не знал, что Гоголь терпеть не мог подобных вопросов.

Под влиянием этой встречи Константин сообщал около 30 сентября братьям Григорию и Ивану: «Гоголь написал много, но это секрет: он не любит, чтоб ему говорили об его сочинениях. Мы все осторожны на этот счет. Он и теперь собирается писать что-то». «Насчет сочинений своих он очень скрытен и, верно, написал более, нежели нам открылся, и то одному Михаилу Петровичу» (ЛН, т. 58, с. 564).

Но постепенно Гоголь все больше и больше сближался с Аксаковыми, видя в них «истинных друзей и почитателей своего таланта». 2 октября Гоголь обедал в доме Аксаковых, вместе с Щепкиным (4, с. 99)<sup>20</sup>. С этого времени Гоголь стал бывать у Аксаковых «почти каждый день» (4, с. 100).

И вот, наконец, состоялось долгожданное чтение. Ряд документов позволил нам восстановить это событие.

Прежде всего — письмо, помеченное 17 октября, вторником: «В прошедшую субботу Гоголь читал у нас начало комедии «Тяжба» и большую главу из романа (вероятно «Мертвые души»). И то и другое чудные создания! Особенно глава из романа! И к этому надо прибавить, что он так читает или, лучше, играет, как никто! Лучшие актеры, мне известные, перед ним ученики в театральном искусстве» (ЛН, т. 58, 566). К этому же событию восходит и недатированное письмо В. С. Аксаковой к братьям. Сообщая, что письма их пришли «в субботу вечером», она пишет: «В этот вечер Гоголь читал нам отрывок из своей комедии и еще другой из какой-то повести, кажется «Мертвых душ»; жаль, что вас не было; все, что он читал, превосходно, чудно; к тому же он так читает, как никакой актер не сумеет сыграть» (ЛН, т. 58, с. 572). Наконец, третий документ, в котором отразилось это событие, — недатированное письмо К. Аксакова братьям Григорию и Ивану: «У нас обедало несколько гостей, в том числе Панаев. Вечером приехала

Е. В. Погодина, которая сказала нам, что Гоголь у Нащокина... Наконец, приехал Гоголь, с ним Нащокин и М. С. [Щепкин]. Через несколько времени все уселись в гостиной, и Гоголь начал читать нам. Я и все перерывали его часто хохотом» (ЛН, т. 58, с. 570).

Итак, чтение «Мертвых душ» состоялось в субботу 14 октября. Придерживаясь своего правила—тем, кто еще не слышал произведения, читать только сначала,—Гоголь прочел первую главу. Может показаться странным, что авторы писем с некоторой неуверенностью сообщают название вещи, о которой так много говорили. Это как раз и объясняется тем, что Гоголь читал только первую главу (где еще не намечалась фабула поэмы—афера с мертвыми душами), а также тем, что он, видимо, не объявил названия.

Далее выясняется, что Гоголь прочел главу из «Мертвых душ» в один день с «Тяжкой», драматической сценой, переделанной из неоконченной комедии «Владимир 3-й степени». Определяется и круг слушателей—семейство Аксаковых: Сергей Тимофеевич, Константин, Вера; далее М. С. Щепкин, жена Погодина Елизавета Васильевна, П. В. Нащокин и находившийся в Москве проездом И. И. Панаев.

Упоминание И. Панаева среди слушателей поэмы позволяет по-новому посмотреть на известный эпизод, изложенный в его «Литературных воспоминаниях». Панаев рассказывает здесь о том, как он слушал у Аксаковых «Тяжку» в авторском чтении, как Гоголь провел свою знаменитую мистификацию (первую реплику пьесы: «Что это у меня? точно отрывка... Вчерашний обед засел в горле...»—произнес таким тоном, что никто не догадался о начавшемся чтении, а хозяйка дома даже смутилась...); далее о том, что после «Тяжки» читалась первая глава «Мертвых душ». Комментируя этот эпизод, С. И. Машинский высказал мнение, что мемуарист «запамятовал»: «Где и когда слушал Панаев первую главу «Мертвых душ», неизвестно. Во всяком случае это не могло быть в тот же день, когда Гоголь читал у Аксаковых «Тяжку» (4, с. 622). Но именно так и было: Панаев слушал первую главу «Мертвых душ» 14 октября 1839 года—в тот же день, когда читалась «Тяжка». «Запамятовал» не Панаев, а С. Т. Аксаков, отнесший эпизод с мистификацией к более позднему времени—8 марта 1840 года. Ведь Панаев не присутствовал на этом чтении «Тяжки» (как видим, уже повторном) и, следовательно, не мог бы рассказывать о нем как очевидец<sup>21</sup>.

В тот памятный октябрь 1839 года многие приходили к Аксаковым, чтобы повидать Гоголя. Константин Аксаков назы-

вает еще Дмитрия Щепкина (сына великого артиста), писателя Н. Ф. Павлова, профессора медицины А. О. Армфельда, Белинского.

Упоминание Белинского особенно для нас важно. По свидетельству того же Константина Аксакова, Белинский «видел его [Гоголя] у нас два раза и прошедшую субботу» (ЛН, т. 58, с. 570)—итого три раза. Кажется, все вело к тому, чтобы Белинский оказался в числе первых слушателей «Мертвых душ». Но этого, по всем данным, не произошло.

У Белинского впоследствии было несколько поводов вспомнить о чтении поэмы, но ни разу он этого не сделал. А в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 года Белинский определенно заявил: «Мне не удалось слышать ни одного отрывка» (17, XII, 108). Это подтверждает и Панаев, рассказавший о том, как на второй день после памятного чтения они с Константином Аксаковым поведали обо всем Белинскому. «Чорт вас возьми, счастливицы!—сказал он.—Я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...» (4, с. 216).

Важнейшим результатом октябрьского чтения, да и вообще встреч с Гоголем, было то, что стало вырабатываться мнение о нем как о писателе всемирном. Еще в 1835 году Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов» (17, I, 306), но поэтов лишь отечественных, литературы лишь русской. О мировых категориях еще не было речи. Картина стала меняться к осени 1839 года.

Под влиянием чтения «Мертвых душ» и «Тяжбы» К. Аксаков писал: «...те тупы, которые только видят в его сочинениях *смешное*. Гоголь—великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.» (ЛН, т. 58, с. 570). По свидетельству И. Панаева, «после чтения Сергей Тимофеевич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас... „Гениально, гениально!“—повторял он» (4, с. 216).

А вскоре подобные взгляды проникли в печать. В статье Белинского «Горе от ума» (обдуманной еще осенью 1839 года в Москве) Гоголь фигурирует в ряду таких имен, как Байрон, Вальтер Скотт, Купер, Пушкин, Гейне и т. д.—словом, писателей, выразивших стремление к «действительности», которое сделалось «паролем и лозунгом нашего века» (17, III, 432).

Новый взгляд на Гоголя формировался в кружке московских почитателей таланта писателя. И мы должны поэтому уточнить категорическое суждение П. В. Анненкова, будто бы один Белинский охарактеризовал его тогда как гениального писателя,

удивив «своей смелостью самих друзей Гоголя» (10, с. 176). Нет, это было в значительной мере коллективное мнение, выработавшееся в страстном обмене суждений, в напряженных переживаниях, в художническом упоении и подъеме. И, пожалуй, громче других звучали голоса Белинского и К. Аксакова.

Между тем интерес к новому произведению Гоголя возрастал все сильнее и сильнее. 16 октября 1839 года Н. К. Калайдович, сын известного археографа, в то время студент Училища правоведения в Петербурге, писал Погдину: «...вы привезли с собою в подарок нашей литературе беглеца Пасичника! Знаете ли, что известие об этом возбудило у нас энтузиазм! Теперь только и разговоров, что о Гоголе и новых его произведениях... Любители петербургской жизни и петербургского общества... завидуют теперь москвичам, которые, по всей вероятности, прежде их будут наслаждаться новыми творениями Гоголя» (ЛН, т. 58, с. 566).

Но вот счастье улыбнулось и жителям Петербурга. 26 октября Гоголь, вместе с С. Т. Аксаковым и его детьми Верой и Михаилом, выехал в северную столицу. 30 октября они были уже в городе.

За полтора с небольшим месяца пребывания в Петербурге Гоголь несколько раз читал «Мертвые души». Сейчас мы можем с определенностью говорить о четырех чтениях.

О первом чтении известно из письма И. С. Тургенева к Т. Н. Грановскому из Петербурга от 4 декабря 1839 года. «От него [Плетнева] я узнал, что Гоголь живет у Жуковского, хандрит жестоко и едет обратно в Рим. Он прочел им как-то главы две-три из нового своего романа—и, говорят, превосходная вещь этот роман; но он делает это с большим трудом—и печатать не хочет» (94, с. 175).

Итак, чтение состоялось до 4 декабря на квартире Жуковского в присутствии Плетнева. Жуковскому Гоголь уже читал три главы в Риме, Плетневу довелось слушать поэму впервые (по крайней мере, в новой, заграничной редакции); поэтому, по своему обыкновению, Гоголь начал чтение сначала. Повидимому, при этом он жаловался на трудности работы.

Следующее чтение происходило 5 декабря, в доме П. А. Валуева, видного чиновника, камер-юнкера. Об этом мы узнаем из дневниковой записи А. И. Тургенева. Помимо Тургенева, присутствовали Плетнев, Жуковский, П. А. Валуев и, возможно, его жена Мария Петровна—дочь П. А. Вяземского. Большинство уже было знакомо с первыми главами, но из уважения к хозяевам дома, еще не слышавшим поэмы, Гоголь начал сначала. Этим объясняется помета Тургенева, что «Гоголь читал

опять те же главы из „Мертвых душ“ (29, с. 139)<sup>22</sup>. «Те же» — то есть главы, которые Тургенев уже слушал год назад в Париже.

Следующее чтение состоялось 11 декабря в семействе покойного писателя и историка Н. М. Карамзина. Андрею Николаевичу Гоголю уже читал первые две главы в Баден-Бадене, в 1837 году; хозяйка дома, Екатерина Андреевна, с произведением еще не была знакома, и Гоголь опять начал сначала. Присутствовавший на чтении А. И. Тургенев отметил, что «читал Гоголь знакомое и новое для меня, напр. *Ноздрев*—до 2-х часов...» (29, с. 139). Значит, Гоголь прочел по четвертую главу включительно.

Наконец, четвертое из петербургских чтений состоялось у Н. Я. Прокоповича в присутствии старых друзей, «однокорытников» Гоголя. К сожалению, П. В. Анненков, свидетель этого события, никого, кроме хозяйина дома, не упоминает. Неизвестна и точная дата—можно сказать лишь, что это произошло не в первые две недели пребывания Гоголя в Петербурге, так как он уже переехал от Плетнева к Жуковскому в Шепелевский дом, рядом с Зимним дворцом.

Гоголь читал по тетради «почтовой бумаги в осьмушку», «мелко-намелко исписанной», и успел прочитать «четыре главы», то есть столько же, сколько у Карамзиных. Все были потрясены. «Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление неллицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло...» (10, с. 60—61).

Рассказ Анненкова интересен тем, что сообщает о хронологически первом известном нам замечании слушателей на поэму и о том, как Гоголь на него прореагировал. «Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки,—приветствие «ноздря» — не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания, как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову — значит, и многим может прийти. Это надо исправить» (10, с. 60—61). Действительно, в окончательном тексте в обращении Селифана к девчонке этого слова нет<sup>23</sup>.

За общим впечатлением, производимым Гоголем в петербургских кругах, ревниво следил С. Т. Аксаков. Он считал, что чуть ли не за одним исключением — Марии Карташевской, его племянницы, находившейся в постоянной переписке с Аксаковыми и воспринявшей от них благоговение перед Гоголем,— все осталь-

ные не оказывали должного признания писателю. Такое впечатление вынес С. Т. Аксаков из бесед с Жуковским, подозревая в этом «даже Пушкина потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав «Мертвых душ» (4, с. 112).

С. Т. Аксаков был одновременно и справедлив и несправедлив. Петербургские знакомые Гоголя, прежде всего, конечно, из пушкинского окружения—Жуковский, Плетнев (как в свое время и сам Пушкин), умели ценить великий талант Гоголя, видели его сложную, отнюдь не только комическую природу (вспомним запись Жуковского, прослушавшего главу из поэмы: «Забавно и больно»). Да и сам Аксаков признает, что Пушкин и Жуковский «восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты... его юмором и комизмом», добавляя однако при этом, что «серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему» (4, с. 114). Но разве истинный комизм, юмор, меткость в изображении человеческой пошлости, искусство в создании типов не составляют «серьезного значения»? Чтобы понять это противоречие, нужно помнить, что С. Т. Аксаков судит о Гоголе уже с высоты представлений, складывавшихся к этому времени в Москве,—как о писателе мировом, гениальном, призванном сказать новое слово в художественном развитии всего человечества. Такую точку зрения «петербуржцы», видимо, еще не разделяли<sup>24</sup>.

21 декабря Гоголь вместе с сестрами, которых он взял из Патриотического института, в сопровождении Аксаковых вернулся в Москву. Поселившись вновь в доме Погодина, Гоголь много и упорно работал, но, по словам Сергея Тимофеевича, «сам он ничего о том не говорил».

К Аксаковым он заходил чуть ли не ежедневно—«отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде». Все ждали, когда же будут продолжены чтения, ждали с ревнивым нетерпением; ведь в Петербурге Гоголь прочитал уже четыре главы, а в Москве только одну.

И вот счастливые дни наступили. Письма членов семьи Аксаковых позволяют восстановить ход событий.

23 декабря, в субботу, Гоголь «совершенно неожиданно» прочитал две главы—вторую и третью. «Все смеялись, и, точно, нельзя не смеяться,—сообщила 25 декабря В. С. Аксакова братьям Григорию и Ивану.—Но не одно смешное имеет у него достоинство; всё чудно. Когда-нибудь напишу, что значат эти „Мертвые души“» (ЛН, т. 58, с. 576—577). Об этом же событии писал сыновьям Сергей Тимофеевич: «Гоголь читал у нас еще две главы из романа «Мертвые души». Это просто—чудо. На

похвалу слов нет. Смешно до того, что все валились со смеха. Скажите об этом Машеньке» (ЛН, т. 58, с. 579) (речь идет о Марье Карташевской). Наконец, еще один штрих к упомянутому событию добавляет десятилетняя дочь Аксаковых Надежда. Ей не разрешили быть вместе со всеми взрослыми, и она слушала Гоголя «в другой комнате». «Это очень смешно» (ЛН, т. 58, с. 579),— сообщила она братьям свое впечатление.

Во время чтения II и III глав (как видно из письма В. С. Аксаковой) присутствовало новое лицо— Ю. Ф. Самарин. Впечатление, которое произвело на двадцатилетнего юношу это событие, отразилось в его записке: «Да, мы можем назвать себя счастливыми, что родились современниками Гоголя. Такие люди рождаются не годами, а столетиями» (ЛН, т. 58, с. 580). Самарин подхватывает господствующую в доме Аксаковых мысль о гениальности и мировом значении Гоголя.

Затем чтения были продолжены в 1840 году, весной. 6 марта Гоголь прочел четвертую главу. «Это просто возбуждает удивление, что человек может так творить» (ЛН, т. 58, с. 584),— пишет 8 марта В. С. Аксакова Марье Карташевской.

В первой половине апреля, в одну из сред, состоялось чтение пятой главы<sup>25</sup>. «Это чудо что такое,— сообщила В. С. Аксакова братьям,— тут выведен один помещик Собакевич—какое это лицо, как обрисовано, и вообще все тут совершенство. Жаль, очень жаль, что вы не присутствуете при этих чтениях, милые братья, тем более еще потому, что едва ли это будет напечатано» (ЛН, т. 58, с. 588). При чтении пятой главы у слушателей впервые возникли опасения цензурного характера, которые Гоголя беспокоили и раньше.

Этим, возможно, объяснялась и фраза Плетнева, переданная И. С. Тургеневым, что Гоголь «не хочет» печатать свою поэму.

Наконец была прочитана шестая глава— о Плюшкине. Чтение состоялось в субботу, в апреле, «на страстной». 15 апреля Сергей Тимофеевич писал сыновьям в Петербург: «Это лицо превосходит все лица творческой фантазии, какие я только знаю. Это несколько не смешно, а грустно; это не простой скупец, а человек, прежде порядочно живший, только бережливый, но впоследствии с потерей жены, детей, десятки лет поглощенный скаредством, развившимся ужасно в это время, и дошедший до глупости и гнусности невероятной; он только копит, бережет—нужды нет, что на десятки тысяч ежегодно гниет у него хлеба, сена, сукон, холста... Это чудо да и только...» (ЛН, т. 58, с. 588). И спустя много лет, работая над «Историей моего знакомства с Гоголем», С. Т. Аксаков помнил впечатление этого дня: «...создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг» (4, с. 119).

При чтении, помимо Аксаковых, был профессор медицины А. О. Армфельд и В. А. Панов—двадцатилетний юноша, начинающий литератор. «Мертвые души» так потрясли его, что, узнав о скором отъезде Гоголя в Италию и о том, что он ищет компаньона, Панов тотчас решил «пожертвовать всеми своими расчетами» и ехать вместе с ним.

В Плюшкине поразило прежде всего то искусство, с которым были переданы изменения характера, его эволюция. Все прежние характеры поэмы выступали «готовыми», завершенными—на этот раз складывание персонажа проходило постепенно, на глазах слушателей. Прежние персонажи обладали более или менее устойчивым психологическим комплексом, сложным, однако же в моральном смысле постоянным. В Плюшкине положительные или нейтральные свойства (хозяйственность, бережливость) превращались в откровенно негативные: разумность оборачивалась безумием, инстинкт самосохранения переходил в беспощадную страсть самоуничтожения. Глава о Плюшкине еще более усилила возникшее у слушателей ощущение, что «не одно смешное имеет ...достоинство» у Гоголя, подняв это ощущение до степени трагизма.

Шестой главой Гоголь закончил систематические чтения «Мертвых душ» в доме Аксаковых.

Читал он поэму и в других московских домах, но, видимо, только начальные главы. По словам С. Т. Аксакова, «Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то» (4, с. 132). То, что писатель читал у Киреевского, подтверждает письмо Т. Н. Грановского, сообщавшего весной 1840 года Неверову: «Я подбиваю Ивана Киреевского издать альманах... Гоголь, вероятно, дал бы отрывок из своего романа. Я слышал чтение нескольких глав—чудо!» (35, с. 401)

Но идея Грановского относительно опубликования отрывка из «Мертвых душ» была, конечно, нереальной. Гоголь никогда не соглашался публиковать отрывок из большого произведения, которое он рассчитывал закончить,—тем более отрывок из «Мертвых душ». В январе 1840 года Гоголь отклонил подобное же предложение своего старого друга Максимова, пояснив, что из нового своего романа он не хочет «ничего объявлять до времени его появления в свет; притом отрывок не будет иметь цены...» (XI, 272).

Читал, вероятно, Гоголь поэму и М. П. Погодину, в доме которого он жил. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что впоследствии (осенью 1841 г.) писатель начал свое чтение Погодину с седьмой главы; видимо, предшествующий текст был слушателю уже известен.

Между тем мнение о Гоголе как о мировом писателе обсуждалось, приобретало новые оттенки. Переехавшему в Петербург Белинскому К. Аксаков сообщил свой перечень мировых поэтов: Гомер, Шекспир, Гоголь. Белинский в ответном письме (от 10 января 1840 г.) согласился: «Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как  $2 \times 2 = 4$ », — но все же предложил на место Гоголя поставить Пушкина (17, XI, 435). В письме к К. Аксакову от 14 июня 1840 года критик продолжил тему: «Теперь о Гоголе. Он великий художник, о том слова нет. Я и теперь не вижу, чтобы он был ниже В[альтера] Ск[отта] и Купера, и не почитаю невозможным, чтобы последующие его создания не доказали, что он выше их». Говоря о «последующих созданиях», Белинский явно оставляет место для еще неизвестных ему «Мертвых душ». «Но,—прибавляет критик,—он не русский поэт в том смысле как Пушкин...» (17, XI, 534). В предпочтении Пушкина Гоголю отразился особый момент, переживаемый в это время Белинским,—выход из периода примирения... Пройдет год-два, и «классификация» Белинского изменится, возглавит ее—из русских писателей—творец «Мертвых душ».

Обмен письмами между К. Аксаковым и Белинским был прологом их будущей полемики вокруг гоголевской поэмы (об этом—ниже, в главе XI).

...Когда писалось второе письмо Белинского, Гоголя уже не было в России. 18 мая 1840 года он вместе с Пановым оставил Москву, направив свой путь в Италию. Провожали его Аксаковы—Сергей Тимофеевич и Константин, М. С. Щепкин с сыном Дмитрием, М. П. Погодин и его зять Мессинг. На Поклонной горе, там, где около года назад Гоголь и Погодин радостно приветствовали открывавшийся вдаль город, все вышли из экипажей. Гоголь и Панов низко-низко поклонились Москве.

Расставаясь с друзьями, Гоголь повторил сделанное еще накануне обещание вернуться через год с готовым для печати первым томом. «...Тогда мы ему не совсем верили»,—писал С. Т. Аксаков.

## ГЛАВА VII

# КРИЗИС. ПОСЛЕ КРИЗИСА

Гоголь отправился за границу с «тайным расположением к труду», со страстным желанием поскорее завершить работу над первым томом. Из Варшавы, 10 июня, он просит прислать ему в

числе других материалов «каких-нибудь докладных записок и дел» (XI, 287). Деловые бумаги, пишет С. Т. Аксаков, «вероятно были нужны для того, чтоб поверить написанные им в «Мертвых душах» разные судебные сделки Чичикова...» (4, с. 124).

Не давал Гоголю покоя и другой замысел — драма из истории Запорожья.

В июне Гоголь поселился в Вене и с головой ушел в работу над драмой. «Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! какая была это радость...» (XI, 314).

«Позабывши все», Гоголь переселился в мир вымысла; работа кипела.

Но тут произошел срыв. Сказалось ли переутомление или какие-то подспудные психические и физиологические процессы, определить трудно, но на Гоголя вдруг напало страшное «нервическое раздражение», усиленное приступами «болезненной тоски». Гоголь слег в постель. Панова в это время не было с Гоголем — они расстались, условившись встретиться к началу сентября в Венеции. На счастье в Вене оказался Николай Боткин, брат известного литератора Василия Петровича, который и выхаживал больного.

Произошло это в конце августа. Поправившись, Гоголь поспешил описать то новое умонастроение, которое им овладело, тот опыт, который он вынес из тяжелых дней болезни. «Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу» (XI, 323). Рубеж определен Гоголем решительно: «тогда» и «теперь».

С. Т. Аксаков, чуткий наблюдатель психической жизни Гоголя, получивший от него подробное письмо, откуда мы только что привели цитату, считал, что именно с момента болезни обнаружилось его «постоянное стремление... к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления». А это, в свою очередь, привело к изменению внутреннего задания поэмы, эволюционировавшей от «любопытного и забавного анекдота» к «колоссальному созданию» (4, с. 131). Последнее утверждение следует уточнить. Огромность, колоссальность своего замысла Гоголь ощутил с самого начала и осознал с достаточной определенностью уже в период работы над газетной редакцией («огромно велико мое творение...»). Но теперь значительность труда повысилась до степени мессианства, нравственного поучения, открытия современникам некоего истинного пути.

Именно с этого времени Гоголь задним числом начинает интерпретировать процесс создания первого тома в «примирительном» духе, что, как мы говорили, не совсем соответствовало действительности, так как выпрямляло и форсировало его творческое развитие.

Эволюцию Гоголя вообще характеризует принципиальная особенность: следующая ее стадия как бы располагается внутри предыдущей. С. Т. Аксаков хорошо это почувствовал, когда писал, что после кризиса Гоголь отнюдь не сделался «другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нем, даже в самых молодых годах; но она скрывалась, так сказать, наружностью внешнего человека» (4, с. 131). Перемена происходила путем заострения предыдущего состояния, добавления к нему новой, впрочем, вполне определенной краски. Так из сознания значительности, колоссальности работы, заключавшегося вначале преимущественно в пределах художнического мироощущения, выросла идея морального подвига и мессианства. Нельзя сказать, чтоб этой идеи совсем не было в первоначальном чувстве, но она скрывалась еще в нем как возможность, как еще не проросшее зерно.

Раньше Гоголь внушал своим друзьям, что его нужно беречь как человека, который создает великое, огромное произведение, и в этом уже заключалось осознание избранности. Теперь к нему прибавилась новая нота: нужно беречь его как человека, вмещающего в себя великую истину (абсолютную), несущего в себе высокое пророческое слово.

Гоголь говорит о вмешательстве бога, спасшего его от страшной болезни, о «чудесном исцелении». Все это якобы не могло случиться просто так, без цели. Бог наслал на него недуг, провел его через мучительное состояние, вывел к свету для того, чтобы он осуществил высшие предначертания. В тяготах пержитого Гоголь видит доказательство избранности и предначертанности своего дела.

Отсюда и гоголевская мотивировка своего «примирительного» настроения. Оно следует из высокой, божественной точки зрения, возвышающейся над всеми диссонансами и перипетиями вседневной жизни, обнимающей их неким всепонимающим вселенским взглядом, видящим их мелкость, незначительность, преходящность перед лицом конечной гармонии.

Раньше свой труд Гоголь характеризовал с помощью понятий художественного, эстетического порядка, хотя и взятых в превосходной степени: «огромный», «оригинальный сюжет» и т. д. Теперь на первый план выступили моральные категории высшего наполнения: он, писатель, осуществляет спасительный

подвиг («труд мой велик, мой подвиг спасителен»), а тот, кто отвлекает его от дела,—великий грешник («...клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня!» — XI, 332). Раньше эпитет «священный» был применен к «Мертвым душам» в связи с конкретным лицом — Пушкиным (поэма — его «священное завещание»); теперь эпитет «святой» выступил в более общем и высоком смысле: «...на один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для меня уже беда» (XI, 332).

В связи с этим Гоголь вновь принимает нагнетать атмосферу таинственности вокруг своих планов, своего труда, — таинственности, которая начала было заметно рассеиваться во время московских чтений 1839—1840 годов. С. Т. Аксакова он просит в письме от 13 марта ст. ст. 1841 года никому не говорить о предстоящем его приезде в Москву: «Если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это не верно еще. Ничего также не сказывайте о моем труде» (XI, 332)<sup>26</sup>.

Особенность нового мироощущения Гоголя и в том, что своему слову он придает самостоятельную ценность — вне его художнического овеществления. Хотя больше всего богоизбранный человек проявляет себя в своем творении, но получает смысл и его поведение, каждый его отдельный жест. «Но слушай; теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушающему моего слова» (А. С. Данилевскому, 7 августа н. ст. 1841 г. — XI, 342). «Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим» (Н. М. Языкову, 27 сентября н. ст. 1841 г. — XI, 347).

Гоголь «говорит с собеседником, — заметил П. В. Анненков, — как *власть имущий*, как судья современников, как человек, рука которого наполнена *декретами*, устраивающими их судьбу, по их воле и против их воли» (10, с. 113). Поучение не обязательно связывается с готовящимся трудом (хотя в первую очередь все-таки с ним). Сам Гоголь как личность становится носителем высшей мудрости и благодати, и кое-что от них, не дожидаясь завершения своего главного дела, он может уделить всем страждущим и нуждающимся. Уже здесь — генезис той позиции, на которой позднее оформились как книга «Выбранные места из переписки с друзьями».

На время после кризиса падает заключительный этап работы над первым томом — отделка и переписка.

Не следует думать, что новые воззрения Гоголя привели к отмене прежнего задания, к полной перестройке замысла. Это неверно и в отношении только еще обдумываемых, последующих томов; но тем более неверно в отношении уже написанного

первого тома. Сложность в том, что это был длительный процесс, что новые тенденции вступали во взаимодействие с прежними, приобретая в общей постройке поэмы отнюдь не простое и неоднозначное звучание. Можно установить генезис тех или других элементов текста, указать на связь их с определенным переживанием Гоголя, но этим отнюдь не будет исчерпан эстетический анализ и указанных элементов и всего произведения в целом. Необходимо сделать эту оговорку, прежде чем упомянуть некоторые изменения текста, произведенные Гоголем на заключительной стадии работы.

Гоголь прежде всего заостряет лирические пассажи поэмы в том смысле, что устанавливается личная связь автора с изображенным им миром русской жизни. Этот мир теперь *обращен* к нему, ждет от него некоего слова, некоего жеста; по крайней мере, ему, автору, отчетливо видится эта обращенность. Характерный пример — размышление о Руси в начале XI главы. В ранней полной редакции, написанной за границей, до первого приезда в Россию, говорилось о действии «пространства» на автора, об ответной его реакции — «какая широкая сила и замашка заключилась во мне!», — но еще не отмечалась их связь — автора и России. Соответствующие строки появились во второй черновой редакции, завершенной, по всей видимости, к концу 1840 года<sup>27</sup>: «Чего ты хочешь от меня, какая непостижимая связь, что глядишь ты мне в очи, и всё, что ни есть в тебе, вперило на меня очи...» (548). Затем эти строки перешли в печатный текст, получив лишь окончательную шлифовку.

В той же второй черновой редакции впервые появляются строки о достоинствах русского слова. В первоначальной редакции похвала звучала весьма умеренно: «Всему свету известно, что русский народ охотник давать свои имена и прозвища, совершенно противоположные тем, которые дает при крещении поп. Они бывают метки, да в светском разговоре неупотребительны» (301). Затем определение «метко» как бы переходит в более высокий регистр — «произнесенное метко все равно, что писанное не выскабливается скобелем, не вырубливается топором...» — и через ряд экспрессивных деталей и описаний, через сравнительную характеристику различных языков ведет к восторженной похвале слову русскому: «Сердцеведеньем и мудрым познанием жизни отзовется слово британца, легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза... но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так сметливо бы вырвалось и вместе так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово» (414). Дальнейшая доработка этого места заключалась лишь в стилистической шлифовке и отделке.

Приведенные строки, кстати, вновь показывают, как последующая фаза гоголевского творчества вырастает из предыдущей: нейтральная похвала («метко») затем обрастает дополнительными значениями, смысл их в определенном направлении заостряется и генерализуется.

Итак, во вторую черновую редакцию были внесены штрихи, усиливающие личную связь автора с изображенным им миром, обращенность к нему этого мира; штрихи, подчеркивающие достоинства русского слова, а также потенциальные возможности его творца. При дальнейшей работе над поэмой позитивное начало должно было выступить сильнее и отчетливее. А это означало и обещание определенного развития поэмы в будущем. Гоголь не собирается упреждать событий и раскрывать содержания последующих томов, но он определенно бросает намеки позитивного характера.

Внесение таких деталей определенно было связано с тем, что Гоголь уже приступил к работе над вторым томом. Именно к концу 1840 года, когда, оправившись от болезни, он переехал в Рим и поселился в своей старой квартире на Страда Феличе, следует отнести начало написания второго тома. На этот счет есть несколько непереложных указаний.

Сообщая о заключительной стадии работы над первым томом («переменяю, перечищаю, многое перерабатываю»), Гоголь писал С. Т. Аксакову 28 декабря (н. ст.) 1840 года: «Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней...» (XI, 322). И в тот же день в письме к М. П. Погодину Гоголь говорит уже не только об обдумывании, но определенно о *работе* над другим томом: «...занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением Мертвых душ, вижу, что предмет становится глубже и глубже» (XI, 325).

Свидетельства из писем Гоголя подтверждаются категорическим мнением П. В. Анненкова, общавшегося с писателем весной и летом 1841 года. Именно в ту пору, говорит мемуарист, Гоголем был «предпринят» второй том — «как я могу утверждать положительно» (10, с. 91). Наконец, упоминая впоследствии (в «Выбранных местах из переписки с друзьями») о сожжении второго тома, Гоголь в «письме», датированном им 1846 годом, говорил: «Не легко было сжечь *пятилетний* труд...» (VIII, 297; курсив мой.— Ю. М.).

То, что работа над продолжением поэмы уже началась, подтверждает и следующее: Гоголь теперь ставит перед собою определенные сроки, как он это делал, приступая к первому тому. 5 марта ст. ст. 1841 года Гоголь пишет С. Т. Аксакову: «О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько

жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего...» (XI, 330). Это, конечно, весьма скромный срок по сравнению с пятью годами, ушедшими на первый том, тем более что речь идет о полном «окончании труда», то есть и о втором и о третьем томах. Однако, видимо, Гоголь испытывал в это время такой прилив сил, переживал такой творческий подъем, что к 1844 году рассчитывал завершить всю работу<sup>28</sup>.

С. Т. Аксаков утверждал, что конкретизация положительного начала, отразившаяся на завершении первого тома и на работе над вторым, происходила у Гоголя под влиянием славянофильства. Писатель, наблюдавший развитие славянофильства еще во время своего первого приезда в Россию, с большой силой ощутил в себе «русские движения». «Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя...» (4, с. 132).

Показания С. Т. Аксакова как очевидца вызывают доверие, тем более что они подтверждаются собственными словами Гоголя. «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди» (XI, 331),— пишет Гоголь С. Т. Аксакову 5 марта ст. ст. 1841 года. С особой симпатией высказывается писатель о Константине, «этом юноше, так полном сил и всякой благодати» (XI, 323). В письме к нему он выражает удовлетворение, что, занявшись филологией, Константин вступил «на прямо русскую дорогу» (XI, 196). С. Т. Аксаков прав, указывая на сходство «прямо русских» убеждений славянофилов и «многих мест в этом духе», которые были «вставлены» в текст на последней стадии работы. Вот хотя бы строки, появившиеся после диктовки поэмы Анненкову: «Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов» (223). Это место гармонировало с коренным убеждением славянофилов, что русская природа в наиболее полном и неискаженном виде сохранила в себе идеи христианского просвещения и гуманизма.

И все же С. Т. Аксаков преувеличивал близость писателя к Константину и славянофильскому кругу в целом. Многоговорящие детали мелькают даже в гоголевском выражении дружбы и солидарности с Константином. «Обнимаю от души Константинина Сергеевича, хотя без сомнения, не так крепко, как он меня (но это не без выгоды: бокам несколько легче)...» (XI, 296). Гоголь

иронизирует над чрезмерной пылкостью своего молодого друга. Говоря о том, что Италия принесла Панову пользу, «какой бы он никогда не приобрел в Германии», Гоголь прибавляет: «Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого» (XI, 324). То есть «до сведения» Константина.

Солидаризируясь с «русским чувством» К. С. Аксакова, Гоголь все же считал, что оно недостаточно зрело; предостерегал против излишеств и крайностей. Главное же в том, что воззрения и тем более художественная деятельность Гоголя не сводились к славянофильству, хотя и соприкасались с ним в некоторых важных пунктах. Отчетливее это обнаружится позднее, в связи с выступлениями Константина Аксакова о «Мертвых душах».

Работая над продолжением поэмы и готовя «к совершенной очистке» первый том, Гоголь предпринимает его полную переписку. Вначале текст переписывает В. А. Панов, приехавший в Рим вместе с Гоголем и Н. П. Боткиным 25 сентября н. ст. 1840 года. Он переписал пять глав, что составляет 152 страницы рукописи<sup>29</sup>. Удовлетворение Гоголя выразилось в его фразе из письма к С. Т. Аксакову 28 декабря н. ст.: «Панов молодец во всех отношениях» (XI, 324). Затем переписку продолжил П. В. Анненков, приехавший в Рим 28 апреля 1841 года и вскоре, после отъезда Панова в Берлин<sup>30</sup>, поселившийся в его комнате, рядом с комнатой Гоголя на Страда Феличе.

П. В. Анненков оставил замечательно яркое описание происходивших событий. «...Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подальше, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета» (10,86). Отсюда — весь «превосходный тон этой поэтической диктовки».

Мемуарист приводит детали, подтверждающие точность его рассказа. «Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» — «Да правильное, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: „А за науку спасибо“».

В тексте, переписанном Анненковым, это слово встречается в VI главе, причем употреблена форма «штукатурка»: «штукатурную решетку» (соответствующая страница рукописи, хранящейся в Гос. библиотеке УССР,—157). В предшествующих же черновых редакциях — не только первой, но и второй — встречается форма «щекатурка» (305, 417, 503), что доказывает правильность свидетельства Анненкова<sup>31</sup>.

Как и в других случаях чтения поэмы, слушатель не мог удержаться от смеха, в то время как Гоголь, по своему обыкновению, старался сохранять серьезность. Впрочем, на этот раз традиция нарушалась и «сам Гоголь» вторил Анненкову «сдержанным полусмехом». «Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине»... Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?» «Но увидит ли она печать когда-нибудь?» — заметил я. „Печать — пустяки, — отвечал Гоголь с самоуверенностью, — все будет в печати“».

Гоголевские представления о предстоящей встрече с цензурой менялись; один-два года назад писателем владели некоторые сомнения, теперь же, судя по всему, он смотрел на дело оптимистически.

Мемуарист точно зафиксировал настроение Гоголя, чье отношение к цензуре непосредственно зависело от эволюции общего замысла поэмы, от прояснения последующего содержания. Но об этом мы еще будем говорить.

Самый яркий след оставила в памяти Анненкова переписка VI главы и особенно страниц с изображением сада Плюшкина. «Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом.

По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: „Поверьте, что и другие не хуже ее“».

Рассказ Анненкова ценен еще тем, что передает сложный облик писателя, предостерегая против упрощения и выпрямления.

В это время «Гоголь стоял на рубеже нового направления,

принадлежа двум различным мирам» (10, с. 84). Аскетическое направление уже зарождалось в нем, но «художническая независимость», художнический дух еще были слишком сильны. И полнота выражения, «пафос диктовки», стремление к предельной выразительности — не только слова написанного, но и произнесенного, — наконец, даже порывы веселости и смеха, которым неудержимо отдавался Гоголь, — все свидетельствовало еще о неиссякаемых творческих возможностях гения.

П. В. Анненков переписал около 184 страниц текста, на тридцать больше, чем Панов. Несколько страниц были переписаны неизвестным лицом, а окончание — 24 страницы — самим Гоголем.

В конце августа 1841 года Гоголь оставляет Италию и после кратковременного пребывания в Германии едет вместе с П. М. Языковым (братом поэта) в Россию. Едет с завершенным и переписанным набело первым томом. Писатель сдержал обещание, данное перед отъездом московским друзьям.

В начале октября Гоголь был уже в Петербурге, а в середине октября — в Москве. М. П. Погодину, у которого Гоголь опять остановился, он объявил, что его «сочинение» обещает быть очень значительным: «Ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России...» (XIII, 337). Это говорил человек, переживший «значительный переворот в деле... творчества», окинувший мысленным взором не только написанный первый том, но и уже предпринятое его продолжение.

## ГЛАВА VIII

# «Я ТЕПЕРЬ ПРИГОТОВЛЯЮ К СОВЕРШЕННОЙ ОЧИСТКЕ ПЕРВЫЙ ТОМ...»

В Гоголе, появившемся 18 октября в доме Аксаковых, Сергей Тимофеевич отметил «тихую покорность воле божией», какое-то уклонение от смеха, боязнь дать волю своему «природному комизму» (4, с. 137). С. Т. Аксаков объяснял это тем кризисом, который пережил Гоголь в Вене в августе 1840 года.

Вскоре писатель возобновил чтение поэмы. Но на этот раз он предельно ограничил круг слушателей — до трех человек: Сергея Тимофеевича и Константина Аксаковых и Погодина. Чтение

началось с седьмой главы, ибо до отъезда Гоголь уже прочел в доме Аксаковых шесть глав.

В «Истории моего знакомства...» С. Т. Аксаков вспоминает: «...Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их кроме нас троих» (4, с. 138)<sup>32</sup>. Живое впечатление от чтений передает письмо Сергея Тимофеевича к Марии Карташевской от 1 ноября. «За большой секрет скажу тебе, что только мы двое с Константином (С. Т. Аксаков не упоминает Погодина, так как имеет в виду только лиц, знакомых М. Г. Карташевской, то есть членов своего семейства.— Ю. М.) слышали 1-й том «Мертвых душ», всего 11 глав, но, кажется, нет возможности уместить их в одном томе. Последняя глава повергла нас в изумление восторга... В ней выразилась благодатная перемена в целом нравственном бытии автора... Вместо мрачной мизантропии—любовь, мир, спокойствие... И каким глубоко и высоко поэтическим образом всё это высказалось...» (ЛН, т. 58, с. 606). Одновременно Константин Аксаков сообщал брату Ивану: «Он [Гоголь] (но это по секрету) читал нам и прочел всю первую часть «Мертвых душ»; это—чудо!» (ЛН, т. 58, с. 608).

Бросается в глаза, что в письме С. Т. Аксаков не так оценивает новое настроение Гоголя, как в последующих воспоминаниях: он упоминает о духе любви и спокойствия, овладевшем писателем; словом, произошедшую перемену он склонен считать «благодатной». В воспоминаниях о той же перемене говорится с опаской, как о симптоме, губельном для комического дара Гоголя. В письме отражен взгляд С. Т. Аксакова начала 40-х годов, периода окончания первого тома; в «Истории моего знакомства...»—взгляд ретроспективный, оценивавший все произошедшее в свете последующих действий Гоголя, в свете «Выбранных мест...», работы над вторым томом и т. д. Но было бы неверно категорически отдавать предпочтение второй точке зрения перед первой; доля истины была и там и здесь, ибо, еще не зная до конца о тенденции развития Гоголя, не относясь к ней столь опасно, как впоследствии, Аксаков мог шире смотреть и на поэтическую манеру первого тома. Мы уже не раз подчеркивали, что «примирительная» идея Гоголя преломлялась в его художественном стиле неоднозначно, ведя к широте и объективности взгляда, к полноте и осязаемости изобразительности. Нечто подобное имел в виду, вероятно, и С. Т. Аксаков, когда говорил, что новые черты нравственного бытия автора проявились в завершенных «Мертвых душах» «глубоко и высоко поэтическим образом».

Читая поэму, Гоголь «беспрестанно требует замечаний», сообщил С. Т. Аксаков в упомянутом письме к М. Г. Карташевской. «Он требовал от нас критических замечаний не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе», — читаем мы в «Истории моего знакомства...», где приводится и конкретный пример «замечаний». М. П. Погодин сказал, что «в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода». С. Т. Аксаков возразил Погодину, «доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души». Но Гоголь был недоволен его «заступлением» и, сказав ему: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому заметить мешаєте...», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом» (4, с. 138—139).

В этом эпизоде выявилась постоянная позиция Гоголя по отношению к критике (знакомая нам еще со времени чтений у Прокоповича в 1839 году): слушать все, не ослабивать ни одного замечания. Впоследствии Гоголь говорил, что он решил прочесть Сергею Тимофеевичу, Константину Аксаковым и Погодину «как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления». «То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне уже на другой день пользу...» (XII, 92). Замечания, реакция слушателей нужны были Гоголю для правки текста, которая действительно не прекращалась до последней минуты.

Однако переданное С. Т. Аксаковым замечание Погодина было не такого рода. Не говоря уже об его несправедливости (эта сторона дела, кстати, мало беспокоила Гоголя, так как он стремился извлечь рациональное зерно и из несправедливых суждений, по-своему их перетолковывая), утверждение Погодина было малопродуктивным, так как перечеркивало уже сложившийся и осуществленный план и не могло быть реализовано. Но Гоголь, видимо, потому отнесся к этому утверждению с особенным вниманием, что уже начал работу над вторым томом, обдумывая его план, который действительно, как мы еще будем говорить, заметно отклонялся от плана первого тома, с его в основном линейной композицией.

Тем временем Гоголь вносил новую правку в рукопись первого тома.



---

Манилов.  
Художник П. Боклевский.

---

Примечательна судьба одного места в зачине седьмой главы—в знаменитом сопоставлении двух писателей—того, кто «окурил упоительным куревом людские очи», и того, кто дерзнул сказать современникам всю правду. Удел второго труден и печален, но и ему уготовано утешение: «В сей толпе, которая шумит и волнуется ежедневно, может встретиться поэт, всевидец и самодержавный владетель мира, проходящий незамеченным пилигримом по земле, чье увлажненное слезою орлиное



---

Коробочка.  
Художник П. Боклевский.

---

око и пробужденные твоею страницей неожиданные чувства может быть отзовутся...» (441). Это строки из второй черновой редакции. Смысл деятельности комического писателя в том, что его беспощадные разоблачения пробуждают высокие движения души в другом, в некоем истинном и неведомом людям поэте-единомышленнике.

Затем в редакции, которая диктовалась Гоголем в мае — июне 1841 года Анненкову в Риме, соответствующее место приобрело



---

Ноздрев.  
Художник П. Боклевский.

---

такой вид: «Почему знать, может быть сии же низкие страницы предстанут потом в незамеченном ныне свете и, может быть, будущий поэт (о, какая чудная награда!) смятенный остановится перед ними; грозная вьюга вдохновения обовьет главу его, и [неслышные] потекут одетые в блистанье песни» (773). Впечатление, которое произведут «низкие страницы» на «будущего



---

Собакевич.  
Художник П. Боклевский.

---

поэта», конкретизируется: они скажутся на его творчестве, он сочинит «песни» высокого строя, которые окажут вдохновляющее воздействие на современников (следующая затем — недописанная — фраза: «Еще раз освежат мир...»).

Теперь, в Москве, Гоголь вырабатывает окончательный текст: «...и далеко еще то время, когда иным ключом грозная



---

Плюшкин.  
Художник П. Боклевский.

---

вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святой ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» (135). Еще сильнее подчеркнуто, что будущая «песня» будет отличаться, по содержанию и интонации, от первого тома («иным ключом вдохновенья», «других речей»). Но



---

Приказчик-баба.  
Художник П. Боклевский.

---

главное изменение в том, что все действие переносится с другого лица на *самого автора*. «Не от «будущего поэта» ожидает он теперь песен, которые освежат мир» — он исполнен надежды, что эти «другие речи» потекут некогда из собственных его уст»<sup>33</sup>. Гоголь явно подразумевает дальнейшее развитие поэмы.



---

Капитан Колейкин.  
Художник П. Боклевский.

---



---

Иван Антонович Кувшиное рыло.  
Художник П. Боклевский.

---

«Грозная вьюга вдохновения», «гром» речей, «святой ужас...» — перед нами словно атрибуты высокого пророка, божьего помазанника, потрясающего современников, чтобы открыть им истинный путь. Во всем этом отразилось мироощущение, овладевшее Гоголем после кризиса. Но снова следует предостереечь против упрощения: характерна, например, оговорка «И далеко еще то время...» и т. д. Художник чувствует, что мера низкого и пошлого еще далеко им не исчерпана.

Предвосхищением будущего развития поэмы пронизаны и другие лирические пассажи и отступления, появившиеся на последней стадии работы. Окончательную редакцию приобрело многоговорящее обещание, что в продолжении поэмы «раздастся далеко ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение» (241), а также перечисление героев, которые явят «несметное богатство русского духа» — «муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица... вся из великодушного стремления и самоотвержения» (223). Последняя вставка содержит в себе уже несомненные намеки на конкретных персонажей второго тома, по крайней мере на одного из них — Улиньку...

Прежде, в самом начале заграничного периода работы, расширение диапазона мыслилось Гоголем несколько обще — как выход к иным, некомическим, серьезным сферам жизни. Теперь эти сферы приобрели очертания конкретных образов.

Особенно интересно в окончательном тексте место о предопределенности «страсти» Чичикова: «И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес» (242). Этих строк нет в тексте, записанном Анненковым, не говоря уже о второй редакции, — они тоже появились на самой последней стадии работы и отчетливо дышат мессианским настроением Гоголя. Оказывается, не только автор, но и его герой влеко «высшими начертаниями». Перенос неслучайный: Чичиков — спутник писателя и его создание; но он же и его помощник и союзник, ибо в судьбе Чичикова заключено то, что в своем развитии обнаружит силу и непреложность наставительного урока. Образ главного героя приобретает черты символического иносказания.

В октябре — декабре, внося последние штрихи в текст первого тома, Гоголь пользуется своей записной книжкой. В IV главу вносятся обозначения собачьих пород: густопсовые, брудастая и т. д.; их клички: Стреляй, Обругай, Скосырь, Черкай, Северга, Касатка, Награда, Пожар (73, ср. VII, 322); в V главу вносятся фамилия «Милушкин» («Милушкин, кирпичник» — 102; ср. VII, 343), в VI главу — название хозяйственных вещей: пересек, лагун, побратима (117, ср. VII, 339) и т. д. Правка подчинена главной задаче — усилить изобразительность, подчас с выявлением комической окраски, как в перечне собачьих кличек, что вновь свидетельствует о широте творческой установки Гоголя, которая вовсе еще не была скована, ограничена под влиянием перемен в его взглядах.

В то же время—не позже 25 ноября—началась новая переписка текста. Вначале переписывал некто Крузе, воспитанник Межевого института, рекомендованный Гоголю С. Т. Аксаковым, потом—другой переписчик. И вскоре рукопись была готова для передачи в цензуру.

Дальнейшие события развивались следующим образом.

7 декабря цензор И. М. Снегирев записал в дневнике: «Приезжал ко мне Гоголь с романом своим «Мертвые души» (82, 1903, № 2, 229). Писатель хотел, чтобы тот высказал свое мнение, пропустит ли рукопись Московский цензурный комитет.

Иван Михайлович Снегирев—известный этнограф, фольклорист, искусствовед, профессор Московского университета. Гоголь интересовался его трудами, особенно описанием русских праздников в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., вып. 1—4, 1837—1839), находил эти труды «полезными» для себя. Кроме того, и с чисто человеческой точки зрения Гоголь рассчитывал на контакт и взаимопонимание: Снегирев был «несколько толковее других» цензоров.

Через два дня Снегирев сообщил Гоголю, что находит рукопись «совершенно благонамеренной, и в отношении к цели и в отношении к впечатлению, производимому на читателей...» (XII, 28).

Тотчас Гоголь решил приступить к печатанью, которое должно было проходить в типографии Московского университета, что на Большой Дмитровке, ныне Пушкинской улице (здание это за № 34 существует и поныне). «...По секрету скажу тебе,—сообщал С. Т. Аксаков сыну Ивану 9 декабря,—что Гоголь начинает печатанье первого тома «Мертвых душ». Сейчас ожидаю его к себе, чтоб вместе с ним ехать в типографию для устройства этого дела, которое он, по необъяснимой странности, содержит в величайшей тайне» (ЛН, т. 58, с. 610).

Атмосфера «величайшей» секретности сопровождала всю заключительную стадию работы над поэмой, а тут, видимо, вновь возникли опасения цензурного характера. Несмотря на заявление Снегирева, Гоголь питал сомнения в благоприятном исходе, тем более что и окружающие не могли в него вдохнуть уверенность. С. Т. Аксаков вспоминал: «Все мы думали, что обыкновенная цензура его [первый том] не пропустит» (4, с. 139) и Гоголю придется пустить в ход свои связи при дворе.

И эти опасения оправдались: рукопись встретила препятствия в Московском цензурном комитете.

О том, что произошло в комитете, как отнеслись к «Мертвым душам» цензоры, существует известный рассказ Гоголя—в письме к П. А. Плетневу от 7 января 1842 года.

№ 109. 9 марта 1848.

ВЗ

Подполковника Черникова  
и др.

Мертвые души

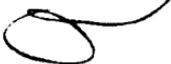
письма

Н. Бочкова

218 В. кн. 107.

Виза и. кн. 107. 2180.  
Виза и. кн. 107. 2180.

Н. Бочков



Помощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова, выполнявшего во время обсуждения роль председателя, смутило уже название: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья. В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет о ревижских душах». Но уразумение сути дела привело к новым опасениям — не выступает ли автор против крепостного права. Тогда Снегирев, «увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупателя...».

Снегирев переключил внимание на интригу произведения, невольно обнажив его сложную жанровую природу, где за одним слоем (нравоописательным, психологическим и т. д.) располагался другой — авантюрный и пикарескный. Но этот стихийный литературоведческий экскурс имел следствия совсем не литературоведческие, так как побудил цензоров оценить интригу поэмы с юридической точки зрения. «Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», — заметил мой цензор (т. е. Снегирев. — Ю. М.). «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души».

«Это толки цензоров-азиатцев», как выражается Гоголь, — то есть откровенных ретроградов, «людей старых, выслужившихся и сидящих дома». К ним, без сомнения, Гоголь относил и цензора М. Т. Каченовского, 66-летнего академика, профессора Московского университета, бывшего редактора «Вестника Европы», где велась непрерывная и грубая полемика и с Карамзиным и Пушкиным. Каченовский, узнав, что в одном месте рукописи говорится о помещике, обставившем в Москве дом «в модном вкусе», якобы сказал: «Да ведь и государь строит в Москве дворец!»

Но помимо возражений «цензоров-азиатцев», прозвучали еще реплики «цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых». Так профессора римского права в Московском университете Н. И. Крылова, по словам Гоголя, возмущила мизерная сумма — «два с полтиною», которую оценивает Чичиков человеческую душу: «...хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя

душа, душа человеческая, она жила, существовала... Да после этого ни один иностранец к нам не придет». Любопытно, что Крылов, хотя опять-таки непроизвольно, коснулся действительной особенности поэтической системы поэмы — взаимодействия планов, перехода понятия («души») из воображаемой, «бумажной» сферы во вполне реальную (и наоборот).

В заключение рукопись была «объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места» (XII, 29).

Сообщение Гоголя о том, как проходило обсуждение рукописи в цензуре, по-разному оценивается в литературоведении. С одной стороны, широко распространена версия о состоявшемся запрещении рукописи (см. например, комментарий в Академическом издании — 890). С другой стороны, существует мнение, будто бы все это не более чем «юмористическая новелла Гоголя» и «заседания цензурного комитета с обсуждением «Мертвых душ» не было» (87, с. 15).

На самом деле, не точна ни та ни другая точка зрения.

Собственно то, что на заседании Московского цензурного комитета был поставлен вопрос о «Мертвых душах», уже давно доказано. Известна и дата: 12 декабря.

Н. С. Тихонов, обследовавший дела Московского цензурного комитета, констатирует: «12 декабря в заседании комитета, происходившего под председательством помощника попечителя московского учебного округа Д. П. Голохвастова, в присутствии цензоров: М. П. Каченовского, И. М. Снегирева, Н. И. Крылова и В. В. Флерова (четверых из них упоминает Гоголь.—Ю. М.) состоялось постановление передать рукопись на рассмотрение цензору Снегиреву» (1, с. 458). Во время этого заседания, как полагает ученый, и возник описанный выше обмен мнениями.

В подтверждение этой точки зрения приведу следующий аргумент. Предметом обсуждения послужил не отзыв Снегирева (ведь отзыв еще не был представлен), а совершенно случайные, лежащие на поверхности факты: название поэмы, разъяснение по этому поводу Снегирева (уже прочитавшего рукопись), а также одно-два наугад выхваченных из текста места. При этом высказанные суждения не были занесены в протокол: ведь они носили предварительный характер; комитет предполагал еще вернуться к поэме, чтобы принципиально решить вопрос об ее печатании.

Но такое заседание уже не состоялось, и решения с запрещением рукописи принято не было. Если бы решение приняли, то «рукопись на основании цензурных правил была бы удержана при делах комитета» (1, с. 461)<sup>34</sup> и судьбе издания угрожала бы катастрофа. Гоголь больше всего боялся подобного

оборота дел, всеми силами он старался его предотвратить и поэтому, завидев опасность, он немедленно забрал рукопись.

Кажется, все ясно; тем не менее в рассказе Гоголя есть что-то недосказанное. Гоголь говорит, что «кто-то» сбил Снегирева с толку и он вдруг «представляет... рукопись в комитет». Но ведь Снегирев все равно должен был это сделать, для того и дал ему Гоголь рукопись. И в том, что вслед за обращением в Комитет последовало обсуждение рукописи, ничего нелогичного не было. Между тем Гоголь излагает события так, будто он связывает это обсуждение с какой-то непоследовательностью, если не с проступком Снегирева.

Сам Гоголь, судя по всему, на обсуждении не был; все происходящее он излагает со слов другого лица. Нетрудно догадаться, кого именно — того же Снегирева. Ведь он взял перед Гоголем определенные обязательства, должен был дать ему отчет о случившемся. И само обсуждение, по версии Снегирева, передаваемой Гоголем, вылилось в диалог двух партий; одну представлял Снегирев, другую — остальные цензоры, как «европейцы», так и «азиатцы». Все цензоры нападали, Снегирев — защищал и убеждал. Но его слова не возымели действия, другая партия оказалась намного сильнее, о чем Снегирев и поставил в известность Гоголя.

Теперь вдумаясь в последовательность событий: 7 декабря Гоголь вручает Снегиреву рукопись для предварительного просмотра. «Через два дня», то есть около 9 декабря, Снегирев уверяет писателя, что все будет в порядке. 12 декабря Комитет официально передает рукопись Снегиреву на рассмотрение, что явно отвечало интересам Гоголя. Но тут официальное прохождение рукописи заканчивается... Позволительно спросить: не зависело ли это в какой-то мере от Снегирева? Не струсил ли он, не отступил ли от своих позиций? Возможно, он решил заблаговременно позондировать почву в комитете, а может быть обсуждение возникло стихийно, но несомненно то, что оно было неблагоприятным и произвело впечатление на Снегирева. Дать отрицательный отзыв Снегирев, конечно, не хотел, но и взять на себя ответственность не решился; и он поспешил поскорее обрисовать Гоголю сложившееся неблагоприятное положение, возможно и сгустив кое-где краски. Поэтому-то Гоголь в душе и упрекал Снегирева в непоследовательности, хотя формально ни в чем обвинить его не мог.

Несколько фактов, еще не обративших на себя внимание исследователей, косвенно подтверждают это предположение. Судьба рукописи в цензурном комитете вызвала у московских друзей Гоголя живые отклики, восходящие, как нетрудно

установить, к рассказу самого писателя. 23 января 1842 года А. П. Елагина сообщала В. А. Жуковскому, что Гоголь «болен и грустен»: «Хотел печатать роман свой, но цензура не пропустила «Мертвые души», потому что душа бессмертна» (ЛН. т. 58, с. 611). Явно подразумевается переданная Гоголем реплика Голохвастова: «Душа бывает бессмертна», его «мнение, что автор вооружается против бессмертия». Но для нас интересна фраза из письма В. С. Аксаковой брату Ивану (от 6 февраля) о том, что рукопись «остановил» в цензуре Крылов «и сказал, что не решится пропустить сам» (ЛН, т. 58, с. 612). Это явное смещение имен: Крылов упомянут потому, что он действительно критиковал рукопись, но брать на себя всю ответственность— это была прерогатива не Крылова, а цензора, которому был поручен отзыв, т. е. Снегирева. Не восходит ли эта фраза к какой-то неизвестной нам устной жалобе Гоголя на Снегирева, что тот «не решился пропустить сам» рукопись, т. е. отступился от своего слова?

И наконец, еще один факт. Позднее, сообщая Гоголю о судьбе рукописи в Петербурге, Белинский писал: «Только в китайской Москве могли поступить с Вами, как поступил г. Снегирев...» (17, XII, 107). Слова Белинского целиком восходят к собственной информации Гоголя, которую он дал, вручая ему рукопись (об этом—ниже). Значит, Гоголь определенно считал виновным Снегирева...

Так закончилась первая, московская часть цензурной драмы. Вторая ее часть происходила в Петербурге. Она оказалась более благоприятной по результату, хотя стоила Гоголю многих сил, переживаний и изобретательности.

В начале января в Москве (как уже упоминалось) был Белинский, и Гоголь пожелал с ним незамедлительно встретиться. Свидание—в доме их общего знакомого В. П. Боткина, в Петроверигском переулке—проходило «под условием величайшего секрета», ибо окружение Гоголя—Аксаковы, Погодин, Шевырев—не благоволило к критику; по энергичному выражению Сергея Тимофеевича, они «все уже терпеть не могли Белинского». Гоголь, по словам Анненкова, проявил этим поступком моральную непоследовательность, так как и он «был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому». Но речь шла о судьбе «Мертвых душ», и Гоголь решился обратиться к человеку, в расположении которого к себе, к своему творчеству был уверен. Гоголь вручил ему рукопись для передачи В. Ф. Одоевскому и три письма: для того же Одоевского, А. О. Смирновой и П. А. Плетнева<sup>35</sup>.

В письмах друзьям Гоголь дает советы, увещевает, торопит.

Первоначально его план таков: доставить рукопись царю, заручиться его одобрением, а затем уже передать рукопись «для проформы» цензору, например, Очкину. Одоевский, Смирнова и Плетнев должны прочесть рукопись и решить, «как обделать лучше дело». Гоголь молит: «Ради святой правды, ради Иисуса употребите все силы!» (XII, 27).

Не получая никаких известий из Петербурга, Гоголь тревожится, подозревает недоброе. В двадцатых числах января он сообщает Одоевскому, что виделся с попечителем Московского учебного округа графом С. Г. Строгановым и тот, выразив сожаление о случившемся, «велел сказать... что он рукопись пропустит» (XII, 30). Эта версия не совсем согласуется с собственными словами Строганова, писавшего 29 января Бенкендорфу, что именно он советовал Гоголю отослать рукопись в Петербург (57, с. 135). Возможно, Гоголь пытался сгладить невыгодное впечатление, сложившееся от его прежнего рассказа, показать, что и в Москве можно напечатать книгу, и тем самым подтолкнуть своих друзей к более энергичным действиям.

Одно время Гоголь готов был усомниться в Белинском: а вдруг он «неверный человек» и не передал вовремя рукописи и писем.

Настроение Гоголя ухудшалось еще оттого, что московские друзья проводили о тайном свидании с Белинским и втихомолку дулись на Гоголя.

В конце января пришло обнадеживающее известие из Петербурга. Но вместе с тем Гоголь узнал, что его друзья вместо обращения к царю решили попытать счастья у министра народного просвещения С. С. Уварова. Гоголь встревожился: «Уваров был всегда против меня»; его «нерасположение» еще «началось со времен „Ревизора“». Не погубит ли он дело окончательно...

Гоголь говорит, что готов вообще отказаться от печатания первого тома, что видно «не судьба моему творению», что он лучше займется переделкой произведения; «Когда сравню сию первую часть с теми, которые имеются быть впереди, вижу, что и нужно многое облегчить, другое заставить выступить сильнее, третье углубить» (XII, 33). И друзья Гоголя, «впятером» (к Одоевскому, Смирновой и Плетневу прибавились еще Вяземский и Вьельгорский) вместо продвижения рукописи в печать уполномочиваются теперь на другое дело: строгое чтение поэмы с тем, чтобы каждый «на маленьком лоскутке бумажки» отметил все замеченные «погрешности и несообразности». А потом рукопись следует вернуть автору.

Письмо (от 6 февраля), в котором была изложена эта просьба, Гоголь вовремя не отослал. Отправил он его уже вместе

с другим письмом (от 17 февраля), когда выяснилось, что «рукопись пропускается». П. В. Анненков считал, что это была преднамеренная хитрость, рассчитанная на то, чтобы удвоить усилия друзей. Возможно и так. Но вспомним, что в это время Гоголь действительно уже приступил к продолжению поэмы, в свете которого он строго смотрел на первый том, мечтал в нем что-то изменить и переделать. И вполне допустимо, что цензурные трудности обострили в Гоголе это чувство, заставляли его смотреть на свой труд в целом, видеть свой «подвиг» во всем его исполнении. Но едва только начинала брезжить новая надежда, как в Гоголе оживало и усиливалось нетерпение поскорее увидеть свое детище напечатанным.

В конце февраля—начале марта, получив из Петербурга обнадеживающую весть, но не имея еще официального разрешения, Гоголь заготавливает письмо к Уварову. К тому самому Уварову, в котором видел своего давнего врага и против обращения к которому настоятельно предостерегал. Гоголь пишет о тяготах своего скитальческого существования, о самоотверженном труде, «для которого одного» живет «на свете» и который весь посвящен отчизне, и в заключение вызывает к доброте и великодушию Уварова, ибо «у русского вельможи должна быть русская душа» (XII, 40). Одновременно Гоголь заготавливает и письмо к попечителю Петербургского учебного округа и председателю цензурного комитета кн. М. А. Дондукову-Корсакову, составленное в аналогичных выражениях.

Оба письма были отосланы 4 марта Плетневу, но давать им хода, к счастью, не пришлось. 9 марта цензор А. В. Никитенко одобрил рукопись к печати.

О том, какие события предшествовали этому, мы узнаем из письма Белинского к М. С. Щепкину. В. Ф. Одоевский уже вручил рукопись М. Ю. Вьельгорскому для передачи Уварову, «но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя». Тогда Вьельгорский решил поговорить с профессором и цензором А. В. Никитенко. Любопытно, что он применил к нему ту же тактику, что и Гоголь к Снегиреву: дал прочитать ему «приватно». Рукопись настолько увлекла Никитенко, что он, «начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель, и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Вьельгорскому показать Уварову. К счастью,—продолжает Белинский,—рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России. В Питере погода на это меняется 100 раз и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз да эпизода о капитане Копейкине» (17, XII, 103).

И еще — следует дополнить рассказ Белинского — Никитенко изменил название, вместо «Мертвые души» — «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Тем самым были чрезмерно акцентированы авантюрные и пикарескные моменты, что не совсем отвечало реальной жанровой структуре произведения, но, с цензорской точки зрения, несколько камуфлировало его содержание.

Остается открытым вопрос, пропустил ли Никитенко поэму на свой страх и риск или же от друзей Гоголя понадобились еще дополнительные меры (из ответного письма Гоголя Плетневу от 17 февраля, где писатель сердечно благодарит «доброе графа Вьельгорского», видно, что последний предпринял какие-то очень важные шаги, которые, возможно, не сводились к беседам с Никитенко). Но очевидно то, что решение Никитенко оказалось историческим, принесло неоценимую услугу и Гоголю и русской литературе. И это решение потребовало от Никитенко мужества: как раз ко времени рассмотрения рукописи в Петербурге резко усилился «цензурный террор» (выражение Белинского): высшие власти обратили внимание на некоторые произведения, которые, по словам Бенкендорфа, выказывали «дурную сторону русского дворянина», восстанавливали «низшие сословия против высших» (57, с. 133—134). Подобные упреки легко можно было предъявить и «Мертвым душам».

После подписания поэмы Никитенко отправил Гоголю письмо (от 1 апреля). Стоит привести из него цитату: это один из первых откликов на «Мертвые души» и притом все-таки отклик цензора! «Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного комизма! Что за юмор! Божье и русское создание... И что это будет, когда все вы кончите: если это исполнится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мысли человеческой, рад нашей славе» (81, 1889, т. 63, с. 385).

Но на этом цензурная история рукописи не кончилась: Гоголь не мог смириться с потерей «Повести о капитане Копейкине». И в Петербург вновь полетели письма к друзьям — с просьбами, наставлениями, советами. Пишет Гоголь и к Никитенко, взывая к нему уже не как к цензору, а как к литератору: «...я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим...» (XII, 54—55).

Гоголь принимается за переделку «повести»: «выбрасывает» «генералитет», то есть, так сказать, понижает своих персонажей — тех, с которыми сталкивался Копейкин — в чине; оттеняет отрицательные качества в характере последнего, с тем чтобы показать, что «он сам причиной своих поступков, а не недостаток сострадания в других».

Гоголь готов идти и на другие уступки, чтобы только сохранить «повесть», например, во избежание ассоциаций с известным в то время фольклорным героем разбойником Копейкиным, намеревается изменить фамилию персонажа, но к счастью до этого дело не дошло: Никитенко разрешил новый, переделанный вариант повести. Листы с разрешенной редакцией были посланы 7 мая Гоголю в Москву и шиты в рукопись на место вырезанных страниц старой редакции<sup>36</sup>.

На этом закончилась длившаяся около полугода цензурная история «Мертвых душ». Подводя ее итоги, Анненков писал, что «никогда, может быть, не употребил он [Гоголь] в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году...». Но тут же Анненков делал выразительное и точное добавление: «Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств» (10, с. 71—72).

Еще до получения цензурного экземпляра «повести», рукопись начали набирать в типографии Московского университета. Печатание шло быстро; Гоголь торопил события. Он боялся, что будет упущено время и не успеют продать достаточного количества экземпляров до весны; деньги нужны были ему и для расплаты с долгами (по свидетельству Прокоповича, издание обошлось в 3500 рублей — ЛН, т. 58, с. 656), и для предстоящей поездки в Италию. Кроме того, он хотел, чтобы книга пришла к читателю до наступления лета, этого мертвого сезона в умственной жизни общества. «...Размен мыслей, новостей и впечатлений у нас производится только зимою. Зимой все соединяется в общества, в города... Летом все гаснет и дремлет, сообщенья людей исчезают: один на Кавказе, другой за границей, третий зарылся в деревенское захолустье» (XII, 50).

В начале мая Гоголь держит корректуры, не ограничиваясь исправлением типографических ошибок; он занимается «переменою слов, а иногда и целых фраз» (4, с. 147), как вспоминал С. Т. Аксаков.

К 15—17 мая печатание закончено и Гоголь получает на руки первые экземпляры. 18 мая он отправляет экземпляр Н. М. Языкову; 20 мая, будучи на именинах А. С. Хомякова, дарит ему



Обложка первого издания.  
Выполнена по рисунку Гоголя.

книгу (ЛН, т. 58, с. 621); 21 мая в день именин Константина Аксакова преподносит один экземпляр имениннику, а другой, как гласит надпись,— «Друзьям моим, целой семье Аксаковых» (4, с. 149).

Вскоре книга поступила в продажу. 23 мая в «Московских ведомостях» (№ 41) появилось объявление, что в книжной лавке Московского университета продается книга Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «напечатана на веленовой бумаге, в большую 8 долю листа, 473 стр. М., 1842, цена в красивой обертке 10 р. 50 коп.».

25 мая С. Т. Аксаков пишет в Петербург сыну, что «третьего дня» проводили в северную столицу Гоголя и почти одновременно выслали 100 экземпляров книги, а затем еще 262. «Я прошу тебя прислушаться ко всем толкам о них, какие только случится тебе услышать. Это нужно для Гоголя и поучительно будет для тебя. Высокость этого гениального творения не смогут понять многие, и потому толков неблагоприятных должна быть куча!» (ЛН, т. 58, с. 622).

В краткой библиографической заметке шестого номера «Отечественных записок» (ценз. разрешение около 30 мая) Белинский сообщил, что «давно и с нетерпением ожидаемый всеми любителями изящного роман Гоголя... только что сейчас получен в Петербурге». «Мы не успели еще прочесть его, спеша окончить эту книжку журнала. Но имевшие случай читать этот роман... в рукописи или слышать из нее отрывки, говорят, что в сравнении с этим творением все, доселе написанное Гоголем, кажется бледно и слабо...» (17, VI, с. 199). Отзыв Белинского показывает, что он основывался на информации не только слушателей поэмы, но уже и тех, кто читал ее в рукописи, то есть, вероятнее всего, на информации А. В. Никитенко и В. Ф. Одоевского.

Между тем приехавший 25 мая в Петербург Гоголь тоже привез с собой экземпляры книги. Посетив Марию Карташевскую, он оставил ей «Мертвые души» для Ивана Аксакова. «Мне так хочется поскорее их прочесть» (ЛН, т. 58, с. 626),— писала она 2 июня В. С. Аксаковой. 8 июня П. А. Вяземский сообщил вдове Пушкина: «Гоголь... привез нам свои „Мертвые души“» (ЛН, т. 58, с. 622). Оставил Гоголь экземпляры и для августейших особ— для царя, царицы и для наследника, которого знал еще по Риму и которому читал (неудачно, по свидетельству Жуковского) одну из первых глав.

26 мая книга поступила в продажу в Петербурге («Северная пчела», 1842, № 116 от 26 мая).

Вопреки опасениям Гоголя, книга не залеживалась на полках. В июне в «Ведомостях С. П. Бургской городской полиции»

отмечалось: «Несмотря, как говорится, на глухую пору в книжной торговле, сочинения Гоголя покупают нарасхват. Книгопродавцы, как ни были велики их ожидания, не могут надивиться, однако ж, быстроте, с какой расходятся „Похождения Чичикова“» (20, № 48). В сентябре Белинский писал в «Отечественных записках» (№ 9; ценз. разрешение 31 августа): «„Мертвых душ“ скоро нельзя будет достать ни в одной книжной лавке, несмотря на то, что они печатались в большом количестве экземпляров» (17, VI, 348). А в следующем году, в марте В. С. Аксакова отметила, что «„Мертвых душ“ уже не оставалось ни одного экземпляра» (ЛН, т. 58. с. 658).

Так проходила встреча гоголевского творения с читателем.

## ГЛАВА IX

# ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

С опубликованием поэмы кончился «скрытый» период ее существования. Началась открытая жизнь, подверженная всем стихиям публичности, колебаниям мнений, широте и противоборству толков.

Раньше Гоголь обращался к узкому и строго отобранному кругу слушателей, преимущественно доброжелателей. Теперь любой читатель мог стать оценщиком и судьей нового творения.

Уже внешний успех книги, то есть быстрая ее распродажа, свидетельствовал о живом интересе, о необычайном возбуждении публики. «...Литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире, одни браня, другие хваля» (4, с. 175), — сообщал Гоголю Константин Аксаков. «Между восторгом и ожесточенной ненавистью к «Мертвым душам» середины решительно нет...» (102, IV, 54—55), — писал Гоголю Н. Я. Прокопович 21 октября 1842 года.

Первые же отчеты о реакции публики на поэму, первые же свидетельства современников начались с систематизации, с попытки классифицировать разнообразные суждения и мнения.

Таков был импульс, сообщенный Гоголем его друзьям и корреспондентам, а через них и многим другим читателям — литераторам и не литераторам. Еще до выхода книги, 15 апреля, Гоголь упломочивает Прокоповича: «Рукопись моя уже побывала во многих руках в Петербурге, стало быть о ней носят толки. Пожалуйста, разведай, как и что говорят о ней, и, если можно, перескажи мне с сохранением самой физиогномии заме-

чаний» (XII, 56). Корреспондентам Гоголя передавалась сама его идея типологической обрисовки людей в связи с теми эстетическими оценками, которые они выражают. Интересно одно место из письма Д. Н. Свербеева к Н. М. Языкову от 2 января 1843 года: «Если бы автор мог подслушать и собрать все различные суждения об этом гигантском творении, то, дав им личность и художественную форму, скроил бы из них превосходную новую комедию-драму» (102, IV, 104). По существу, Свербеев призывает к созданию «комедии-драмы», аналогичной гоголевскому «Театральному разъезду после представления новой комедии», но с необходимой подстановкой: вместо «новой комедии», т. е. неназванного «Ревизора», поэма «Мертвые души».

Но наряду с исходившим от Гоголя импульсом действовало и собственное стремление русского общества к самосознанию — процесс, в котором «Мертвые души» сыграли роль катализатора.

«Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет», — говорится в упомянутом письме К. С. Аксакова Гоголю.

Пока же за неимением «комедии-драмы» Гоголя, посвященной встрече «Мертвых душ», первые зарисовки, первые типологические характеристики набрасывают сами читатели.

С. Т. Аксаков пишет: «Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы... Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России» (4, с. 153—154).

Несмотря на условность любой классификации, многое передано С. Т. Аксаковым верно. Так, например, в первой группе — безусловных почитателей Гоголя — точно отмечено преобладание молодых читателей — «образованной молодежи». Об этом в один голос говорят и другие современники. Н. Я. Прокопович: «Все молодое поколение без ума от „Мертвых душ“» (цитированное письмо к Гоголю от 21 октября 1842 г.). В. С. Аксаков: «Молодые люди и вообще все в восхищении» (ЛН, т. 58, с. 628). В. В. Стасов, будущий художественный критик, оставил яркое воспоминание о том, как встретили «Мертвые души» в Петербургском училище правоведения, где он учился. «Эта книга пришла к нам в руки в конце лета (1842 г. — Ю. М.), когда мы воротились с каникул. Классы еще не начинались. Вот мы и употребили свободное время так, как нам было всего дороже: на

прочтение залпом «Мертвых душ» всеми нами вместе, одной большой толпой, чтоб прекратить все споры об очереди... И вот в таком-то порядке мы в продолжение нескольких дней читали и перечитывали это великое, неслыханно оригинальное, несравненное, национальное и гениальное создание. Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления» (4, с. 401—402). Наконец, уместно вспомнить и рассказ Ф. М. Достоевского, правда, относящийся к более позднему времени, к началу 1845 года, о том, как в день передачи рукописи «Бедных людей» Некрасову он с приятелем «всю ночь проговорили... о «Мертвых душах» и читали их в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!»—садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали» (40, с. 297). Достоевский обращает внимание на обстоятельство, которое не достаточно оттенено в воспоминаниях С. Т. Аксакова, а именно на то, что эстетическое воодушевление от гоголевской поэмы сливалось с общественным подъемом, новыми веяниями, пусть еще неотчетливыми и смутными.

Социальная критика составляет важную, подчас преобладающую краску в восприятии «Мертвых душ» их друзьями—и молодыми и теми, кто постарше. По словам А. М. Языкова, брата поэта (в письме к В. Д. Комовскому от 21 июня 1842 г.), «Мертвые души»—это «мастерская, живая картина жизни, которой не касаются преобразования и которою живет большая часть наших власть предержащих». «Вы никогда не бывали в губерниях и уездах,—говорит А. М. Языков своему корреспонденту,—и не можете чувствовать всё достоинство этой поэмы». В другом месте (в письме к тому же Комовскому от 3 октября 1842 г.): «Гоголь заслуживает большую признательность за то, что показывает действительно сущее и может укротить заносчивость наших столичных преобразователей, которые, конечно, ничтожны перед Петром» (ЛН, т. 58, с. 632).

Петербургский приятель Белинского П. Ф. Заикин писал М. Н. Каткову вскоре после прочтения «Мертвых душ»: «Всё, что есть гадкого, гнусного и подлого в России, все здесь обнаружено. Разговор помещиков, помещиц, лакеев, кучеров с лошадьми и жизнь каждого и вообще целой России, т. е. провинциальных жителей, характеризованы очень верно; одним словом, когда я прочел поэму, как будто вышел из этого пошлого, безотрадного общества» (ЛН, т. 58, с. 636).

Момент социальной критики определял восприятие поэмы и ее недоброжелателями, теми, кого С. Т. Аксаков выделяет в

третью группу. Мемуарист отмечает псевдопатриотические мотивы этой критики, которая якобы защищала честь нации, велась не иначе, как от имени всей России; говорит об ее необычайном эмоциональном накале («...с остервенением вступилась за оскорбление целой России»). С. Т. Аксаков не называет конкретных лиц, но примером вполне может служить здесь авантюрист и карточный игрок граф Ф. И. Толстой Американец, который словно перенял эстафету ненависти к Гоголю от чиновника Ф. Ф. Вигеля. Когда появился «Ревизор», Вигель писал, что это «юная Россия во всей ее наглости и цинизме» (81, 1902, № 7, с. 101). Когда вышли «Мертвые души», на их автора с тем же пылом обрушился Ф. И. Толстой. «...Я сам слышал,—пишет С. Т. Аксаков,—как известный граф Толстой Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого» (4, с. 122).

Сторонников этого мнения можно было найти в бюрократических, чиновничьих кругах, начиная от самых высших, причем среди факторов, особенно подогревавших ненависть к Гоголю,— и отмеченный С. Т. Аксаковым мотив узнавания, сходства. Люди узнавали себя «в разных лицах поэмы», художественное изображение принимали за личное оскорбление. Так общественные амбиции выступали рука об руку с примитивным художественным вкусом. «Я за вас тут сцепилась с сибирским губернатором Булгаковым,—сообщала А. О. Смирнова Гоголю 30 октября 1845 года из Москвы,—уж он сам так и лезет в мертвые души; видно, узнал себя злодей в какой-нибудь гадости» (81, 1890, июнь, с. 653).

Немало хулителей Гоголя нашлось и среди помещиков, этих главных героев нового его творения. Оправдалось предсказание писателя: «Еще восстанут против меня новые сословия...» «Гоголь получает отовсюду известия, что его сильно ругают русские помещики,—писал Н. М. Языков родным 1 декабря 1842 года,—вот ясное доказательство, что портреты их списаны им верно и что подлинники задеты за живое! Таков талант! Многие прежде Гоголя описывали житье-бытье российского дворянства, но никто не рассерживал его так сильно, как он» (ЛН, т. 58, с. 640). Н. М. Языков рассуждал не умозрительно, но опираясь на полученные им сведения. 14 июля в письме из Гаштейна он попросил брата А. М. Языкова уведомить его, какое впечатление произвела поэма «на губернских и уездных дворян у нас в Симбирске? как смотрят они на это живое

зеркало — столь верно и нелестно показывающее им самим образы их, или образины?» (ЛН, т. 58, с. 634). Следует отметить, что Н. М. Языков перефразирует знаменитый эпиграф — «На зеркало неча пенять коли рожа крива», предпосланный «Ревизору» в четвертом томе Сочинений (1842). Том этот еще не вышел, но работа над рукописью проходила в Гаштейне на глазах у Языкова, который и воспользовался гоголевским образом.

3 октября А. М. Языков отвечал брату, обращаясь к тому же образу «зеркала»: «„Мертвые души“ еще мало читали в нашей глуши. Наумовым я принужден был дать свой экземпляр — иначе они не погляделись бы в это зеркало. Суждения об них разные — от благоговения Шевырева до мнения Пикоти (прозвище сестры Языковых, Прасковьи Михайловны. — Ю. М.), которая пишет: «С каким нетерпением ждала я «Мертвых душ» и что же вышло? — Кроме гадости, ничего нет хорошего. Читали ли Вы разбор Сенковского?» За что я просил Вас погонять ее. Но может быть, ей не понравился характер Собакевича?» (ЛН, т. 58, с. 639).

Письмо это интересно еще тем, что оно показывает, как преломлялись в провинциальной среде выступления критики (конкретно подразумеваются статьи о «Мертвых душах» Шевырева и Сенковского, о которых мы будем говорить в следующей главе), находя своих последователей и интерпретаторов.

Немало недоброжелателей нашлось у Гоголя на родине, может быть даже больше, чем в иных областях российского государства, в виду того, что землякам писателя еще легче было узнавать себя «в разных лицах». После «Ревизора» Гоголь писал: «Мои соотечественники, т. е. Полтавской губернии, терпеть меня не могут» (XI, 193). Гоголя интересовало теперь, как встретили земляки «Мертвые души». «Ты спрашиваешь меня, что здесь говорят о твоей поэме... — писал А. С. Данилевский Гоголю с Украины в августе 1842 года. — Те немногие, с которыми имею сношение, не нахвалятся ею. Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород» (102, IV, 214). На перемену настроения «патриотов уезда» повлияло сделанное ими открытие: слава богу, не про нас написано! Мотив узнавания курьезным образом обернулся выгодной своей стороной...

Что касается промежуточной группы читателей, располагающей между безусловными сторонниками нового творения и его безусловными хулителями, то С. Т. Аксаков метко называет ее группой «людей озадаченных». Озадачивала прежде всего художественная фактура; неприятие произведения вызывали мотивы художественные, хотя они часто подкреплялись и

мотивами общественными. Люди, привыкшие «тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным» (4, с. 153).

В основе подобных суждений лежал застарелый предрассудок, будто комическое — низший род искусства, предназначенный лишь для бездумного увеселения. Но и эти требования, дескать, не соблюдены, так как степень преувеличения доведена до карикатурности, а допустимая мера натуральности — до «неприличия» и сальности. «Нападения... на неприличие» довольно часты среди противников поэмы, писал К. С. Аксаков (4, с. 175), а другие корреспонденты Гоголя проиллюстрировали этот тезис конкретными лицами и эпизодами. Н. Я. Прокопович писал: «Один почтенный наставник юношества говорил, что «Мертвые души» не должно в руки брать из опасения замараться; что все, заключающееся в них, можно видеть на толкучем рынке... Один полковник советовал даже Комарову (речь идет об Александре Александровиче Комарове, поэте и преподавателе русской словесности, приятеле Белинского. — Ю. М.) переменить свое мнение из опасения лишиться места в Пажеском корпусе, если об этом дойдет до генерала, знающего наизусть всего Державина» (102, IV, 54—55).

Это зарисовки из петербургской жизни, а вот — из московской, сделанные С. Т. Аксаковым: «Ф. И. Васьков говорил... что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу». Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: «*Посмотрим, что делает наш приятель?*» И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?.. Не сочтите за выдумку последнего выражения; все правда до последней буквы» (4, с. 158).

Н. Прокопович даже классифицировал читателей в зависимости от того, как они относятся к «неприличным» местам поэмы. «Все те, которые знают грязь и вонь не по наслышке, чрезвычайно негодуют на Петрушку, хотя и говорят, что «Мертвые души» очень забавная штучка; высший круг, по словам Вьельгорского, не заметил ни грязи, ни вонь и без ума от твоей поэмы» (102, IV, 54—55). Однако представление, будто высший свет безоговорочно принял поэму Гоголя, едва ли точное. В письме к А. М. Вьельгорской от 16 марта (н. ст.) 1847 года Гоголь писал: «...ваш папилька скрывал его мнение о «Мертвых душах», которое я узнал уже случайно, большим крюком, пять лет спустя после появления моей книги» (XIII, 256). Любопыт-

ный штрих! Информировав Прокоповича о том, что «Мертвые души» благожелательно встречены в «высшем круге», а перед этим решительно содействуя продвижению книги в цензуре, ее выходу в свет (что делает ему честь), М. Ю. Вьельгорский, оказывается, сам не принимал полностью гоголевское произведение, таил против него какое-то неудовольствие... Видимо, и он в душе был близок к группе «озадаченных».

Другая причина, по которой иные читатели отклоняли поэму, заключалась в необычности ее построения, точнее в отсутствии шаблонного романного сюжета. К. С. Аксаков говорил Гоголю, что «смущает с первого разу» отсутствие «внешней анекдотической завязки» (4, с. 176). В ответ Гоголь писал С. Т. Аксакову 18(6) августа 1842 года: «Все это я знал заранее. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку» (XII, 91). Произошло нарушение «горизонта ожидания», если использовать термин современной герменевтики (учения об интерпретации), когда новая поэтика оказывалась в непримиримом конфликте с установившимся набором эстетических норм.

«Горизонт ожидания» был нарушен и в отношении жанра, поскольку произведение, которое многие готовились прочесть как роман (плутовской, нравоописательный, роман путешествия и т. д.), было аттестовано как поэма. Иные, сообщал К. Аксаков автору, «видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: *нате вот, грызитесь за это слово*» (4, с. 175). Гоголь предвидел и это недоразумение: «Чем же я виноват, что у публики глупа голова и что в глазах ее я то же самое, что Поль де Кок: Поль де Кок пишет по роману в год, так почему же и мне тоже не написать, ведь это тоже, мол, роман, а только для шутки названо поэмою» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 28 мая 1843 года — XII, 188).

Посыпались и упреки в неточностях и анахронизмах. На них, в значительной мере, наталкивал сам Гоголь, настоятельно просивший вылавливать в его тексте такого рода погрешности. С. Т. Аксаков, в частности, заметил: «...крестьяне на вывод продаются семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу» — как при покупке душ у Плюшкина. Аксаков прибавляет, что первую неточность он «просмотрел», а на исправлении второй «мало настаивал» при чтении поэмы в рукописи. Нет, однако, никаких данных о том, что Гоголь собирался исправить эти неточности в дальнейшем. Вообще

замечается любопытная черта: насколько охотно откликнулся Гоголь на замечания стилистические (см. выше, в главе VI— об исправлении слова «ноздря»), настолько же не торопился исправлять фактические неточности, хотя сам просил их отмечать. Видимо потому, что, с одной стороны, такие неточности не имели принципиального художественного значения, а с другой— их исправление требовало зачастую существенной перестройки плана.

Среди хулителей поэмы было немало лиц, движимых личными мотивами— завистью, духом соперничества, помноженными, конечно, на архаичные художественные представления и вкусы. В Москве к таким лицам принадлежали писатели М. Н. Загоскин и Н. Ф. Павлов. Их неприязнь к новому творению Гоголя стала притчей во языцех. «Загоскины, Павловы и проч. не говорят совсем о «Мертвых душах» и только презрительно улыбаются, когда услышат издали одно название,— писал Д. Н. Свербеев Н. М. Языкову 2 января 1843 года.—Порядочными людьми принято, впрочем, не упоминать об этой поэме при наших повествователях, а то всякий раз выходит какая-нибудь личность» (102, IV, 104).

В группе неприятелей «Мертвых душ», людей «озадаченных» или откровенных хулителей, постепенно происходили изменения. «...Некоторые из этих людей,— пишет С. Т. Аксаков,— прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения» (4, с. 153—154). Известны два случая подобной эволюции. Прочитав поэму в первый раз, С. В. Перфильев, генерал, начальник Московского корпуса жандармов, поделился с С. Т. Аксаковым мнением, которое тот записал «с дипломатической точностью»: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; всё одно и то же, натянуто—видно желание перейти в русские писатели; употребление руссизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит» (4, с. 158). Перфильев был «особенный почитатель Гоголя», встречался с ним неоднократно во время приездов последнего в Москву (в частности, на именинном обеде в погодинском саду, 9 мая 1842 г.); его устами говорило не предубеждение против «Мертвых душ», а только непонимание. С. Т. Аксаков просил его прочесть поэму снова (сам он прочел ее трижды— «два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства»), и результат не замедлил сказаться. «С. В. Перфильев исполнил свое обещание, прочел «Мертвые души» три раза и оценил их по

достоинству»,— пишет С. Т. Аксаков. Так Перфильев перешел в ряды сторонников поэмы.

Другой пример—уже упомянутый нами Д. Н. Свербеев, московский знакомый Гоголя, хозяин известного литературного салона. Документы, относящиеся к маю—июню 1842 года, к первым месяцам жизни поэмы, упоминают его в числе порицателей. К. С. Аксаков свидетельствует: Свербеев, который еще только «перелистывал» книгу, «недоволен» ею (ЛН, т. 58, с. 624). А. М. Языков: «Свербеев называет их отвратительною насмешкою». Но затем тот же автор сообщает: «Свербеев пишет, что переменял свое мнение» (там же, 630). В письме от января следующего года Свербеев предстает уже не только горячим сторонником поэмы, но и человеком, который сурово отделяет ее недоброжелателей, подразделяя их, в духе времени, на группы, или разряды: «„Мертвые души“ не нравятся, во-первых, всем мертвым душам, в которых западное воспитание и западный образ жизни умертвили всякое русское чувство. Потом восстают... все Чичиковы и Ноздревы высшего и низшего разряда. Далее с ребяческим простодушием выходит на Гоголя Манилов, особенно Коробочка» (102, IV, 104).

Свою классификацию Свербеев заостряет в славянофильском духе, обращая ее прежде всего против тех, кто якобы поддался «западному образу жизни». Их противники, в свою очередь, обращали поэму против славянофилов. А. И. Тургенев записал 25 декабря 1842 года под влиянием происходивших в московских салонах жарких дискуссий: «Спор за славян и за Россию в прошедшем. Против Аксакова—за „Мертвые души“...» (93, с. 497). Однако линия раздела проходила сложно, извилисто, о чем свидетельствует еще одна классификация—герценовская.

Только что возвратившийся в Москву из новгородской ссылки Герцен записал в дневнике 29 июля: «...толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это—апотеоз Руси, «Илиада» наша, и хвалят, след[овательно]; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты» (27, с. 219—221). Герцен подметил, что противниками «Мертвых душ» выступали и «славянофилы» и западники («антиславянисты») — равно как и наоборот; что вместо двух партий было по крайней мере четыре. Вывод Герцена подтверждает беглая зарисовка К. С. Аксакова (в письме к Ю. Ф. Самарину), запечатлевшая живые голоса спорящих и отвечающая на один вопрос: кто за, кто против. За—сам К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, Д. А. Валуев (он «в восторге совершенном»)...—все это славянофилы или близкие к ним. Но

за и Н. Х. Кетчер («...говорит, что «Мертвые души» выше всего, что написал Гоголь»), Грановский и «молодые профессора» — то есть люди западнической ориентации. В числе противников же названы не примыкавший всецело ни к западникам ни к славянофилам Д. Н. Свербеев (еще не успевший переменить свое мнение о «Мертвых душах» на положительное), непримиримый оппонент славянофильства П. Я. Чаадаев; литератор консервативного направления, автор пасквиля на Белинского — М. А. Дмитриев... Словом, люди самые разные.

Под «славянофилами № 1» Герцен подразумевал прежде всего К. С. Аксакова. Именно он наметил параллель между Гоголем и Гомером, подхваченную затем в статьях Шевырева (об этом — в XI главе), вошедшую и в устный литературный обиход. Так В. Н. Репнина вспоминала, что Г. П. Галаган, известный на Украине общественный деятель и литератор, впоследствии основатель «Коллегии Павла Галагана», советуя ей прочитать «Мертвые души», говорил: «Это Гомер» (48, с. 227).

Возможно, Герцен уже прочел к этому времени брошюру К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождение Чичикова или Мертвые души» (ее цензурное разрешение состоялось 7 июля — за 22 дня до приведенной дневниковой записи); если же нет, то он наверняка знал его точку зрения по устным выступлениям. И приведенная запись бесспорно передает те возражения, которые устно высказывал Герцен на эту точку зрения, фиксирует направление спора, развернувшегося в московских салонах вокруг «Мертвых душ» (как мы видели, против К. Аксакова выступал и А. И. Тургенев). Однако если формула «„Мертвые души“ — наша „Илиада“» ценою некоторого упрощения может быть приложима к точке зрения Аксакова, то слова «апотеоз Руси» уже ей неадекватны. Герцен тут, по неотвратимым законам полемики, схематизировал позицию противника.

К точке зрения К. С. Аксакова мы еще вернемся в XI главе; сейчас лишь кратко остановимся на проблеме «апотеоза». Сообщая Гоголю о первых откликах на поэму, К. С. Аксаков писал: «Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать». «Иные» — это сам К. С. Аксаков. «Другие» — его противники, но в данном случае не Герцен, не А. И. Тургенев в московских салонах и не Белинский в Петербурге (с ним у Аксакова уже шла полемика в печати), а те, кто не принимал «Мертвых душ». Однако это не противники-ретрограды типа

Толстого Американца, сибирского губернатора Булгакова и многих других. Не те, которые видели в «Мертвых душах» клевету на Россию, обвиняли автора в отсутствии патриотизма, национальной гордости, а то и в безнравственности и дурных намерениях. Это были противники-друзья, горячо откликнувшись на гоголевское слово, но не могущие с ним согласиться.

К. С. Аксаков продолжает: *«Посмотрите,—говорил мне один,—какая тяжелей страшная насмешка в окончании этой книги. Какая?—спросил я, выпучив глаза.—В словах, которыми оканчивается книга.—Как в этих словах?—Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа.—И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью»* (4, с. 175).

Вопрос заключался не в том, хвалит ли Гоголь Россию или нет, слагает ли ей «апотеозу» или изрекает «анафему». То, что первый том обращен к негативным явлениям, очевидно и для К. Аксакова и для его оппонента—и не смущает ни того ни другого. Вопрос стоит иначе: совместимо ли негативное изображение с надеждой на будущее или нет? Заключает ли в себе первый том какую-нибудь перспективу или нет? «Другие» говорят: нет такой надежды, нет такой перспективы; если она и намечается, то обманным, ложным образом, что особенно видно в заключении книги (Русь не знает, куда она несется), причем говорят они все это с глубоким выстраданным чувством, «с горестью». Сам же К. Аксаков придерживается противоположного мнения: Россия проглядывает «колоссально» уже в первом томе, предстает, как образно он говорит, «сквозящая сквозь первую часть», и оттого читаются «Мертвые души» с волнующим, но не безотрадным чувством, со «слезами» на глазах, и эти слезы—не слезы отчаяния. В принципе такой же точки зрения придерживался и Герцен, писавший в своем первом дневниковом отклике на поэму (еще в Новгороде, 11 июня), что «там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность» и что от этого «кровь как-то хорошо обращается у русского в груди». Однако при общности принципиального подхода важны еще мера, такт в соотношении элементов. Герцен специально настаивал на том, что никакие отрадные перспективы не отменяют существующего, никакой взгляд в будущее «не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности» (27, с. 221). В выступлениях же К. Аксакова, особенно в печатных, это гармоническое соотношение элементов выдерживалось далеко не всегда...

Следовательно, проблема «апотеоза» в действительности выливалась в проблему перспективы. По этой линии проходили споры не между сторонниками и противниками гоголевского произведения, а внутри сочувствующего лагеря, по крайней мере в определенной его части. В орбиту спора вовлекались и другие произведения Гоголя, особенно те, которые только были напечатаны. Сообщая Марье Карташевской 2 января 1843 года о том, что «отесенька» (то есть Сергей Тимофеевич Аксаков) читал «Игроков» у Свербеевых и что «все были восхищены», Вера Сергеевна уточняет: «Но было две партии: одни восхищались и смеялись от души, другие же утверждали, что как это ни прекрасно, положение России тут так ужасно, что нельзя иметь духу смеяться. Признаюсь, мне всегда очень смешны эти последние, так соболезнующие о состоянии России...» (ЛН, т. 58, с. 648). Представители этой «партии» считали, что картина, рисуемая Гоголем, «ужасна», что она не оставляет почвы для надежды и, следовательно, для юмористического восприятия.

«Игроки» бросали тревожную тень на гоголевскую поэму именно с точки зрения ожидаемой перспективы. В конце пьесы Ихарев, обманутый компанией Утешительного, еще большими мошенниками, чем он сам, жалуется: «Тут же под боком сыщется плут, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет!... Черт возьми! Такая уж надувательная земля!». Мир предстал скопищем жуликов и прохвостов; за спиной одного бесчестного стоял другой, более бесчестный, и конца этому не виделось.

Казалось бы, где как не в эпическом произведении выявить перспективу другого рода, наметить выход из «надувательной земли» или, по крайней мере, вдохнуть веру в читателя, что такой выход существует. Но Гоголь в своих обещаниях приоткрыть светлые стороны российской жизни был нарочито неопределен и риторичен. Тут даже сама торжественность заверений могла действовать как факт раздражающий.

Противостоять подобной реакции приходилось С. Аксакову.

Адресат В. С. Аксаковой М. Г. Карташевская вела, в свою очередь, аналогичные споры в Петербурге. В ноябре 1842 года в доме Карташевских обедал Н. И. Надеждин, только что вернувшийся из-за границы. Зашла речь о «Мертвых душах», и Надеждин обратился к М. Г. Карташевской: «Вы, конечно, мнения семейства вашего дядюшки?» Затем он изложил свою точку зрения: «Больно читать эту книгу, больно за Россию и русских». «Но я совсем этого не нахожу и не чувствую ничего подобного при чтении этой книги» (ЛН, т. 58, с. 642), — писала М. Г. Карташевская В. С. Аксаковой 14 ноября 1842 года.

Эпизод этот требует комментария. Николай Иванович Надеждин, в прошлом профессор Московского университета, знаменитый критик, издатель «Телескопа» и «Молвы», был одним из тех, кто с первых шагов поддержал Гоголя<sup>37</sup>. К Надеждину в значительной мере восходит тот культ Гоголя, который сложился в кругах московской молодежи еще к середине 30-х годов и который унаследовали и Н. В. Станкевич, и Белинский, и Константин Аксаков.

Отношение Надеждина к «Мертвым душам» подробно нам не известно (после закрытия «Телескопа» в 1836 году, вернувшись из ссылки, Надеждин практически оставил поприще критики), но есть основание думать, что оно было по крайней мере столь же одобрительным и заинтересованным, как, скажем, отношение к «Ревизору», в котором он увидел «русскую, всероссийскую пьесу», «изникнувшую не из подражания, но из собственного, быть может, горького чувства автора». В сентябре 1842 года, перед поездкой за границу, в Киеве Надеждин посетил М. А. Максимович, вспоминая, что тот «со смехом читал... про капитана Копейкина из «Мертвых душ», которыми запасся он в дороге...» (64, 1856, т. I, с. 233).

Спор М. Г. Карташевской с Надеждиным, по-видимому, разворачивался по той же линии, что и Константина Аксакова с его московскими оппонентами: оставляют ли «Мертвые души» надежду или не оставляют? Надеждин видел все в грустном, безотрадном свете; оттого-то ему и «больно за Россию». Карташевская же считала, что поэма намечает и светлую, утешительную перспективу, «сквозящую», говоря языком К. С. Аксакова, сквозь темноту и пошлость.

Признанием или непризнанием перспективы определялось отношение к лирической партии поэмы, особенно к тем местам, где предвещалось великое будущее страны и ее народа. Одни считали, что подобные места неуместны, находятся в вопиющем противоречии со всем остальным текстом, что, «представив сначала все в дрянном и смешном свете, странно сделать такое горячее обращение к России» (4, с. 158). Другие, вроде упомянутого оппонента К. С. Аксакова, даже видели в лирическом отступлении вольную и невольную «насмешку», ибо обещано заведомо неизвестное и не существующее. Но для третьих, таких как Константин Аксаков, Маша Карташевская, лирические места — законная часть художественной ткани, оправданная с точки зрения целого. М. Г. Карташевская писала под свежим впечатлением от чтения книги: «...что за восхитительные места везде, где автор говорит сам от себя!..». «...Ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще

мене, ни одно из тех восторженных... мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло не замеченным, не почувствованным мною» (4, с. 162, 163). «Восторженная» речь самого автора резко контрастирует с «разговорами» и описаниями «ничтожных людей», но она возникла не на пустом месте и находит или найдет оправдание в художественном мире поэмы.

Среди лиц, которые «жарко» нападали на «Мертвые души», был и П. Я. Чаадаев. Споры велись в московских салонах и в доме самого Чаадаева, на Басманной. 27 мая 1842 года в день рождения Чаадаева здесь вспыхнула очередная баталия, о которой К. Аксаков рассказывал со слов очевидца, А. С. Хомякова: «Хомяков защищал; Чаадаев и Дмитриев [М. А.] нападали. Свербеева (Екатерина Александровна — жена Д. Н. Свербеева. — Ю. М.) с жаром защищала, так что Чаадаев говорил ей, что это род опьянения, и сказал ей *vous êtes ivre — morte*» [Вы мертвецки пьяны] (ЛН, т. 58, с. 624).

Каким образом П. Я. Чаадаев оказался по одну сторону баррикады с таким человеком, как М. А. Дмитриев? Эпизод вновь свидетельствует о том, как прихотливо проходила линия спора, не сводившегося к вопросу: за или против. Хотя более подробно характер выступлений Чаадаева против «Мертвых душ» не известен, можно быть уверенным, что они велись не с верноподданнических позиций защиты существующего порядка. Глубоко ненавистна была эта позиция человеку, который, по словам встречавшего его в московских салонах Герцена, выглядел «воплощенным вето, живой протестацией».

Косвенный свет на интересующий нас вопрос проливает отзыв Чаадаева о «Ревизоре». В «Апологии сумасшедшего» (1837) он сравнивал действие на публику своих «Философических писем» с успехом «Ревизора». Вначале говорится о «Ревизоре»: «Никогда еще нация не подвергалась такому бичеванию, никогда еще страну не обдавали такою грязью, никогда не бросали в лицо публики столько гнусностей (*ordures*), — и все же никогда не бывало подобного успеха». И судьбу собственного произведения Чаадаев рассматривает на фоне успеха гоголевской комедии: «Оттого ли что серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, о ее истории, о характере народа, обречен на молчание, потому что он не может средствами комика выразить удручающее его патриотическое чувство? Отчего же мы так снисходительны к циническому уроку, который дает нам комедия, и так нетерпимы к суровой речи, проникающей до глубины вещей?» (22, с. 250—251; см. также 98).

У Чаадаева, как верно заметил его исследователь, в отзыве о «Ревизоре» «слышится оскорбленное чувство». Оба произведе-

ния появились почти одновременно («Ревизор» — весной, «Фило-софическое письмо» — в начале лета 1836 г.), оба бичевали российскую отсталость, невежество и обскурантизм, но одно повлекло за собою суровую расправу над автором, журналом и издателем, а другое беспрепятственно продолжало свою жизнь на сцене (не входя в «детали», Чаадаев оставляет в стороне многочисленные нападки на «Ревизора» его недоброжелателей). И это при том, что, по мнению Чаадаева, его слово — вышнее и глубокое слово мыслителя, а комедия Гоголя — всего лишь карикатура и фарс. В суждениях Чаадаева сказывалось то самое умаление комического, которое так глубоко ранило Гоголя и свидетельствовало о некоторой архаичности художественного вкуса. Все это и побудило мыслителя, «заодно с придиричивыми критиками и порицателями пьесы, с которыми у него, казалось, ничего не было общего, брезгливо отозваться о грубостях, которыми переполнена комедия» (22, с. 251).

Личные отношения двух литераторов, сложившиеся довольно оригинально, обостряли неприязненное отношение Чаадаева к Гоголю, Д. Н. Свербеев вспоминал, как «Гоголь, еще до появления своих «Мертвых душ», приехал в одну среду вечером к Чаадаеву». Сделал он это по настоянию московских друзей, желавших поближе свести знаменитого писателя со знаменитым «басманным» мыслителем; но по свойственной ему странности характера, проявлявшейся при встрече с незнакомыми и малознакомыми людьми, Гоголь спрятался где-то в углу и продремал там чуть ли не до отъезда. «Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения и, конечно, оно вспомнилось ему при чтении Гоголя, а может быть, и при суждении об его произведениях» (45, с. 405—406). Д. Н. Свербеев, свидетель и участник литературных споров, несомненно, имеет в виду выступление Чаадаева против «Мертвых душ».

Но сказался в этих нападениях еще один мотив и притом не личный или не только личный: выход «Мертвых душ» совпал с оформлением славянофильства, отношение к которому Чаадаева было определенным и резким. «В мире не было ничего противоположнее славянам,— писал Герцен,— как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное проклятие ей...» (27а, с. 146). «На поле литературных салонов», как выразился Свербеев, Чаадаев уже развернул свое «обличение» славянофильства (45, с. 402). Не стали ли «Мертвые души» одним из первых поводов такого обличения?

Определенно о «народной гордыне», почерпнутой Гоголем у славянофилов, Чаадаев выскажется позднее, в 1847 году, после

появления «Выбранных мест из переписки с друзьями». Сам факт написания этой книги будет объяснен воздействием окружения. «...Главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках». Но почву для подобных упреков могли предоставить Чаадаеву уже «Мертвые души», те страницы, где говорится о «несметном богатстве русского духа», которое затмит всех «добродетельных людей» «других племен». «Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним,—писал Чаадаев,—так радуемся своим прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам» (98, с. 280). При этом в отношении к Гоголю Чаадаев явно был односторонен, упуская из виду, что «настоящим»-то автор «Мертвых душ» как раз не был доволен, что даже в тех же лирических отступлениях наряду с упованием на будущее содержалось резкое обличение псевдопатриотической софистики в стиле Кифы Мокиевича, высказывалось убеждение, что «автор должен сказать святую правду» соотечественникам.

...Так встречали «Мертвые души» в Москве и Петербурге, на окраинах Европейской России—в Симбирске, например, или на Полтавщине. Есть единичные отклики на поэму, пришедшие из далекой Сибири. 30 января 1843 года сибирский промышленник и писатель М. А. Зензинов сообщал из Нерчинска М. П. Погодину, что недавно прочел «Мертвые души»: «Гоголь великий наш Художник—Писатель. Гоголь у нас один, и долго-долго не будет другого Гоголя... Его перо—кисть Художника, его поэтические места «Мертвых душ» так патриотически высоки, так глубоки чувством, так прелестно очаровательны, что боюсь Вам, я не много читывал подобного на русском языке; в них одно русское, одно нам родное, одно близкое к нашему сердцу» (ЛН, т. 58, с. 650).

Несколькими месяцами позже, 21 июля, ссыльный В. К. Кюхельбекер в Восточной Сибири, в Акше, записывает в дневнике: «На днях прочел я «Мертвые души» Гоголя. Перо бойкое—картины и портреты вроде Ноздрева, Манилова и Собакевича резки, хороши и довольно верны; в других краски несколько густы и очерки сбиваются просто на карикатуру. Где же Гоголь *lyrisch wirst* (впадает в лиризм), он из рук вон плох (пошел) и почти столь же приторен, как Кукольник с своими патриотическими сентиментальными *naiseries* (глупостями.—*Ю. М.*)» (56, с. 415). Кюхельбекер при позитивной оценке поэмы не принимает ее как целое: сказался некоторый архаизм художественного вкуса. В то же время его, видимо, и шокировала направленность

некоторых лирических пассажей, то, что Кюхельбекер называет патриотической сентиментальностью,— качество, которое, напротив, так понравилось близкому к «Москвитянину» Зензинову. И в Сибири пересекались, вступали друг с другом в заочный спор различные мнения о «Мертвых душах».

Однако и Кюхельбекер и Зензинов—литераторы, да и сведения, подобные их откликам, единичны. Мы еще очень мало знаем, как жила гоголевская поэма в «глубине Руси», какие впечатления и толки вызывала она у обыкновенного читателя.

Вскоре после выхода в свет «Мертвые души» сделались известны в русских кругах на Западе, особенно там, где чтение первых глав рукописи и возбужденные этим событием слухи уже подготовили почву. «Наконец, «Мертвые души» вышли из печати. Алекс[андр] Иван[ович] Тургенев, получивший это известие из России, распространил его в Париже, и легко понять, с каким восторгом принято оно было всеми, которые отчасти ознакомились с содержанием и направлением романа» (10, с. 119). В письме А. М. Языкова к Н. М. Языкову от 24 февраля (8 марта) 1843 года есть штрихи, характеризующие настроение парижских читателей гоголевской книги: «А. И. Тургенев пишет, что в Париже, читая «Мертвые души», грустно и гадко!» (ЛН, т. 58, с. 654). С интересом встретил поэму и брат Александра, Николай Иванович Тургенев, декабрист, политический эмигрант, заочно приговоренный к смертной казни. В феврале 1843 года он просит А. И. Тургенева: «Не худо, если бы вы привезли сюда комедии Гоголя. Я читал его роман 1-й том Чичикова. И грустно и гадко!» (95, с. 278). Бросается в глаза полная идентичность фраз, в которые облакают братья свое впечатление от поэмы («грустно и гадко!»).

Свое мнение о книге сообщил в ноябре 1842 года из Парижа и Я. Н. Толстой. Бывший председатель общества «Зеленая лампа» и член Союза благоденствия, а с 1837 года—тайный агент русского правительства во Франции, он писал Вяземскому: «Примите мое истинное благодарение за письмо и присылку книги «Мертвые души». Этот отличный и живописный роман перенес меня мыслями на берега Волги, к давно оставленному мною Пенатам и доставил приятный отдых, особенно после читанных мною отвратительных картин Евгения Сю, где описан домашний быт извергов, населяющих парижские вертепы... Поверив «Северной пчеле», я считал «Мертвые души» скучною книгою, но, прочтя, удостоверился в противном» (ЛН, т. 58, с. 644).

Такова пестрая картина споров и борьбы вокруг «Мертвых душ», развернувшаяся в первые два года—в 1842 и 1843—после

их появления (на более поздних откликах мы остановимся потом). И если бы пришлось вслед за современными Гоголю читателями классифицировать мнения хотя бы по одному внешнему признаку: принимают или не принимают?—то установилось бы не два, а множество видов и оттенков: одни принимали полностью, другие—с оговорками, третьи полностью отвергали, четвертые отвергали с оговорками и т. д. Принятие поэмы происходило по разным причинам и вдохновлялось различными мотивами: одни ценили поэму преимущественно как документ общественной критики, другие—как цельное изображение русской жизни, при котором в свою очередь—новая степень дифференциации!—общественная критика то признавалась необходимой, то редуцировалась до минимума, то даже сводилась на нет. В зависимости от постановки акцента—на существенное, уже явленное или только «обещанное», на перспективу,—расценивалось соотношение первого тома с последующими: для одних первый том обладал полновесным, самостоятельным значением, для других—получал оправдание только в связи с продолжением и окончанием труда. С другой стороны, и отклонение, а подчас и резкое осуждение «Мертвых душ» вдохновлялось различными мотивами и обстоятельствами: и ретроградной сословной (помещичьей или чиновничьей) амбициозностью, и откровенной защитой существующего порядка вещей от любой критики и посягательств, от либерализма и вольнодумства; но в то же время неприятие «Мертвых душ» подчас вытекало из мрачного, безнадежного, как казалось иным оппонентам, характера гоголевского изображения, из отсутствия в нем какого-либо отрадного намека и перспективы. И все эти мотивы, в свою очередь, подкреплялись или понижывались мотивами эстетическими, образовывавшими широчайший спектр противоположных эмоций: от принятия глубокой иронии и неподаваемого комизма гоголевской поэмы до квалификации их как бессодержательного фарса и карикатуры; от восторженного воодушевления по поводу лирических отступлений до снисходительного взгляда на них как сентиментальную и пустую риторiku; от восхищения изобразительной силой и живописностью до мелочных придинок к отдельным словам и фразам.

«Велико достоинство художественного произведения,—говорил Герцен,—когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда» (27, 221)<sup>38</sup>. И «Мертвые души» действительно «ускользали». Но и односторонние суждения и более полные и верные позволяют восстановить духовную атмосферу, в которой начинало свою жизнь произведение, и косвенно или прямо приближают нас к его бездонным глубинам. Ту же роль,

вольно или невольно, выполняла и критика, отражавшая или завершавшая устные суждения о поэме более систематично и резко.

## ГЛАВА X

# В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ

Развернувшимся вокруг «Мертвых душ» критическим баталиям предшествовал один маленький эпизод не столько литературного, сколько бюрократического свойства. 16 июня 1842 года попечитель Московского учебного округа и одновременно председатель Московского цензурного комитета С. Г. Строганов обратился с письмом к министру народного просвещения и одновременно главе цензурного ведомства С. С. Уварову. «На днях,— сообщал Строганов,— прочитывая новую поэму Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», я остановился на многих местах, которые, несмотря на свою занимательность и юмор, не могли, как я думаю, быть дозволены к напечатанию без особенного высшего разрешения и с какою-либо особенною целию». Предвидя, что новое произведение Гоголя возбудит к себе всеобщее внимание критики, Строганов просит министра «для ограждения членов московского цензурного комитета» снабдить указаниями, «какими условиями должно руководствоваться, в случае представления рецензий и критик на поэму Гоголя для напечатания в повременных изданиях и журналах». В своем ответе от 18 июля того же года Уваров сообщил, что книга была «рассмотрена и одобрена цензурою на общих основаниях, и при рассмотрении критик на это сочинение надлежит руководствоваться общими цензурными постановлениями» (59, с. 43—44, 45).

Эпизод этот требует комментариев. С. Г. Строганов сознает остроу и рискованность «многих мест» поэмы (что, кстати, вновь ставит под сомнение гоголевскую версию, будто бы тот во время цензурных осложнений обещал «пропустить» рукопись — см. выше). Он предвидит возбуждение, которое вызовет книга в литературных кругах, и поэтому хочет выведать, не было ли в деле ее издания какого-либо «высшего» участия, наподобие того августейшего заступничества, которое сделало возможным появление «Ревизора» (отчасти благодаря самому Гоголю это стало широко известно). Ответ Уварова означал, что такого участия не было и, следовательно, «Мертвые души» не ограждены от любых суждений и критики — как всякое другое произведение.

Нельзя не обратить внимания и на то, что в моральном смысле вопрос С. Г. Строганова был довольно щекотлив. Ведь он докладывает высшей власти, что многие места в поэме «не могли быть дозволены к напечатанию» обычным путем, что они тем самым являются опасными, вредными и т. д. Вольно или невольно — скорее всего невольно — С. Г. Строганов занял в отношении «Мертвых душ» провокационную позицию.

Со своей стороны, Гоголь предпринял ряд мер, чтобы, выражаясь сегодняшним языком, организовать критические отклики на произведение. Делал он это не столько для предотвращения опасных политических обвинений (в чем он был не властен), сколько для того, чтобы поэма получила по возможности более глубокое истолкование и вызвала более широкий и живой интерес. Еще 15 мая, буквально накануне выхода книги, Гоголь поручил Н. Я. Прокоповичу попросить Белинского, «чтобы сказал что-нибудь о ней в немногих словах, как может сказать не читавший ее» (XII, 60). Результатом было уже приводившееся выше (в главе VIII) библиографическое известие в «Отечественных записках». Позднее, 15 августа, Гоголь просит Шевырева откликнуться на поэму: «Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора „Мертвых душ“» (XII, 89). С аналогичным предложением обращается Гоголь 2 ноября и к Плетневу (XII, 115). Обе просьбы были со временем выполнены.

Интересная особенность жизни гоголевской поэмы: борьба вокруг нее в печати началась еще до опубликования рецензий и статей. Журналисты спешили скрестить копыя в простых объявлениях о выходе книги, спешили выдать аванс и обозначить свою позицию. Так «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» (№ 39, от 16 мая), оповещая читателей, что том «Мертвых душ» «почти отпечатанный, скоро выйдет в свет», прибавляли: «Здесь талант нашего романиста предстанет нам еще на высшей степени своего развития, нежели на какой мы видели его прежде: этого довольно, чтобы возбудить участие к роману, которого появление должно составить эпоху в нашей повествовательной литературе». Другая газета, «Северная пчела» (№ 119 от 30 мая), преподнесла весть о книжной новинке в противоположном ключе: «Вот вышла в свет поэма г. Гоголя... В «Северной пчеле» будет помещен разбор этого классического сочинения и доказано математически, что ни в одном русском сочинении нет столько безвкусыя, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме». Эмоция переплещивалась через край, нарушая жанровую чистоту простого беспристрастного объявления.

Уже через две с половиной недели после поступления книги в

продажу в «Литературной газете» (1842, № 23 от 14 июня) появилась анонимная рецензия. Рецензия представляла собою главным образом пересказ содержания с обширными цитатами. Вместе с тем краткие суждения критика о поэме были вполне сочувственными. Ему нравится, что герои произведения легко узнаваемы, что Плюшкин—это «русский Гарпагон», что «в Ахиллесе этой русской «Илиады», коллежском советнике Чичикове, вполне отпечатался наш общий недуг—неукротимая жажда корысти», да и другие «две отличительные черты провинциальной России—чувственная жизнь и доморощенное невежество, иногда слегка облепленное сусальным золотом поверхностного воспитания»—видны достаточно отчетливо. Поэтому, если кто не хочет читать поэму, пусть сядет в бричку или коляску, поедет «в Саратов или Архангельск, в Чернигов или Нижний, словом куда хотите»—и произведение предстанет перед ним «в живых лицах». «Что встреча—то страница, что усадьба—то песнь».

Затронул рецензент и вопрос о жанре, не дав, правда, на этот счет ясного ответа. «Без всякого сомнения, автор «Мертвых душ» только в шутку назвал «поэмою» свое прекрасное произведение. Но если поэма, в сравнении с романом, охватывает собою более огромную сторону жизни какого-либо народа, то «Мертвые души» не без причины названы поэмою. Это поэма комическая, скажем мы, чтобы удовлетворить сомнения, которые при этом случае могут возникнуть в душе иного критика, истинного воскормленника пиитики, где каждое стихотворное произведение необходимо должно называться своим, свойственным ему видовым именем».

С одной стороны, определение «поэма» оправдано самим содержанием, охватом материала. Но с другой стороны, так сказать субъективно-творческой, оно дано «только в шутку»... «Именно так! Ведь Гоголь большой остряк и шутник и что за веселый человек, боже мой! Сам беспрестанно хохочет и других смешит...» (17, VI, 220),—иронизировал впоследствии Белинский над подобными мнениями.

Не удержался рецензент «Литературной газеты» и от дежурных упреков Гоголю в невыдержанности и грубости его описаний и стиля. «...Рассказ его не чужд тех грязноватых шуточек, без которых Гоголь легко мог бы обойтись». Пример—шутка о будочнике, казнящем зверя.

У истоков критической интерпретации «Мертвых душ» находится еще один малоизвестный, совершенно выпавший из истории критики эпизод. Одной из первых откликнулась на поэму упомянутая малопримечательная газета «Ведомости С. П.-

Бургской городской полиции». Задолго до статей Белинского, К. С. Аксакова, Плетнева и других анонимный критик — он же, бесспорно, и автор приведенного выше библиографического известия — поместил в газете довольно обширную — в трех номерах — рецензию (№ 48, 50, 51 от 16, 23 и 27 июня).

Рецензия была выдержана в похвальных, больше того, в восторженных тонах. И обращена она не только к последнему произведению, но ко всему творчеству писателя. «С первого появления своего Гоголь занял почетнейшее место в рядах русских литераторов; каждый дальнейший шаг его, каждое дальнейшее произведение более и более привлекали к нему любовь публики, более и более снискивали к нему уважение истинных любителей литературы. С появлением на сцене «Ревизора» имя его сделалось народным; сам он стал в литературе кумиром для всех людей, одаренных умом, вкусом и чувством». Гоголь уже занял «первое, самое почетное место в современной литературе русской», как вышли в свет «Мертвые души» — «создание изумительное».

Большую часть рецензии составляет пересказ содержания, перемешанный с лаконичными, восторженными оценками. Ноздрев — «нахал, лгун и буян отчаянный — лицо мастераки нарисованное!» Плюшкин — «настоящий Гарпагон, но Гарпагон русский»; «одна эта глава, в которой автор рассказывает жизнь Плюшкина, сама по себе есть уже целая драма, глубокая, полная философии драма. Читая этот эпизод в поэме Гоголя, не можешь не удивляться верности его взгляда на жизнь человеческую, смелости фантазии, богатству красок и, более всего, глубокому познанию сердца человеческого!..». Касается рецензент и вопроса о жанре произведения: «Почему автор назвал «Похождения Чичикова» не повестью, не романом, а поэмою?» — и намекает на то, что это определение раскроется и оправдается с выходом последующих томов. Говорит он и «об юморе Гоголя, об его простодушном рассказе, таком безыскусственном, таком небрежном, об этой неподдельной русской веселости, которая часто, однако ж, щиплет за сердце...». Высказывает он и предупреждение — как оказалось, потом оправдавшееся, — о нападках на язык и стиль Гоголя с пуристских, школярских позиций. И делает вывод: «Решительно говорим, что ни в одном русском оригинальном сочинении Русь не изображалась так верно, так истинно, с таким изумительным знанием русского народа, русской души, как в „Похождениях Чичикова“».

Гоголь — «первый оригинальный русский писатель — прозаик ли, поэт ли — нам это все равно!» Предшественники его в той или

другой мере подвергались «чуждому, иноземному влиянию»; Гоголь же «идет своим, совершенно отдельным независимым путем».

Сказанное говорит само за себя. Несмотря на декларативный характер рецензии, несмотря на то, что она прошла почти незамеченной, заслуга безымянного автора бесспорна. Он одним из первых ринулся в бой, произнес о новом творении Гоголя свое недвусмысленно похвальное слово<sup>39</sup>.

Сдержала свое обещание и «Северная пчела», опубликовав разностную рецензию на поэму (№ 137 от 22 июня). Отправной пункт рецензии — описание того возбуждения, тех надежд, которые предшествовали выходу книги: «Несколько лет толковали нам, что г. Гоголь написал роман Мертвые души, который превзойдет все прочие его сочинения, в котором раскроется весь необыкновенный талант его».

И вот книга в руках критика, и он готов сообщить читателю свое «чистосердечное» мнение.

Главное обвинение, выдвигаемое против Гоголя, — предвзятость, искажение жизни. Мы слышали подобные голося — и не раз — в устных суждениях о поэме. Печатная критика придала им вид доказательности и систематичности. Если в реальной жизни «смешано доброе и злое, истинное и ложное, умное и глупое», то в поэме выведено только плохое, только порочное. «Нет ни одного порядочного, не говорим уже честного и благородного человека. Это какой-то особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать».

Основное обвинение подкрепляется другими: «дурной тон», неприличие описаний и картин («таковы, например, изображение лакея... который «спал не раздеваясь», «утирание мальчику носа за столом» и т. д.), неправильность языка (рецензента, например, шокирует выражение: «Где ты изволил засалиться?»). «Нет, не засалился, а выпачкался», — поправляет он) и т. д. Все это уже не раз фигурировало и в устных суждениях и в эпистолярных откликах, но у «Северной пчелы» был свой приоритет: она впервые применительно к «Мертвым душам» — высказала это чрезвычайно подробно и въедливо, предъявив обширный перечень «неудач» и «промахов». Своего рода обвинительное заключение.

Мельком коснулся рецензент и вопроса о жанре, решив, что Гоголь назвал произведение поэмою «для шутки»: «Это просто положенный на бумагу рассказ замысловатого, мнимо простодушного малороссиянина в кругу добрых приятелей», которые «не требуют ни плана, ни единства, ни слога, только было бы чему посмеяться».

Так намечается переход к достоинствам произведения — скромным, но все-таки достоинствам: таковыми рецензент считает занимательность описания, отдельные «умные, резкие замечания» и т. д. Постоянная тенденция многих интерпретаций Гоголя, и устных и печатных, — снизить его значение, заключить, что ли, в определенные рамки: дескать это не высокая литература, а занимательное чтение, не глубокий комизм, а забавная карикатура, фарс. Еще в середине 30-х годов, после его первых повестей, после «Ревизора», было пущено в ход сравнение: Гоголь — русский Поль де Кок. Рецензент идет тем же путем, но еще дальше: он снижает уже и без того сниженную параллель. Дескать, автор «Мертвых душ» «добровольно отказался от места подле образцовых писателей романов, чтобы стать ниже Поль де Кока!» Гоголь уже и ниже Поль де Кока!

Автор рецензии, подписавшийся литерой Г.—Н. И. Греч, давний сотрудник Булгарина, соиздатель «Северной пчелы». Несомненно, рецензия отвечала настроениям и мыслям издателя газеты Булгарина, злейшего врага Гоголя. Булгарин подкрепил атаку Греча серией других нападок, причем не только в газете, но и в беллетристических произведениях. Так в своих «Очерках русских нравов» (1843) он вложил в уста посетителя «русской ресторации» реплику против «Северной пчелы»: «Эта дура не понимает высоких красот „Мертвых душ“» (18, с. 41). Способом от противного, примененным не очень-то искусно, Булгарин защищал курс своей газеты в отношении «Мертвых душ» и изничтожал его противников.

\* \* \*

Так, уже в первых газетных рецензиях наместились основные пункты, вокруг которых шла борьба: верность жизни или ее искажение; натуральность и естественность или неприличие и дурной тон, словом, большая литература, высокий комизм или развлекательное чтиво, низкий фарс. Этой альтернативе подчинен и вопрос о жанре: оправдано ли определение «поэма» или возникло случайно, лишь «для шутки». Дальнейшие выступления критики — газетные и журнальные — подхватили эти темы.

Первая журнальная рецензия появилась в Петербурге в «Сыне отечества», издававшемся второстепенным беллетристом К. П. Масальским. Он же был и автором рецензии (1842, № 6, июнь, отд. VI, с. 1—30; без подписи; ценз. разрешение — 31 мая), которая начиналась в полном смысле за здравие, но для того, чтобы затем снизить значение гоголевского творчества, ввести его в надлежащие рамки. «Господин Гоголь неоспоримо принадлежит к числу первоклассных русских литераторов... В

особенности отличается он картинами малороссийского мира, к которому и сам принадлежит по своему происхождению». Но беда для Гоголя происходит от чрезмерного восторга его почитателей. Они «провозгласили господина Гоголя громадным талантом, гением, первым русским прозаиком, первым поэтом, со времен которого началась новая эпоха словесности...» Они «произвели господина Гоголя за «Тараса Бульбу» впредь до усмотрения в Гомеры!». Это явная шпилька Белинскому, который еще в 1835 году писал о «Тарасе Бульбе»: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..» (17, I, с. 304).

И ухватившись за гомеровскую тему, рецензент впадает в тон Сенковского, предвосхищая его «шутейную» рецензию на «Мертвые души»: «Правда, что между Гомером и Гоголем есть сходство: обе эти фамилии начинаются, как видите, с Го; но сходство только тем и ограничивается». Отметив, что «все гегелисты непременно и гоголисты», Масальский острит: «Между Гегелем и Гогелем (так!) ровно ничего общего нет. Кажется, во всей этой путанице виновата буква Г. В самом деле — Гоголь, Гегель, Гомер. Есть что-то сходное. Долго ли сбиться!»

Главные обвинения рецензента развиваются по уже хорошо известному, исхоженному вдоль и поперек руслу: «Все лица автора, начиная с героя, или плуты, или дураки, или подлецы, или невежды и ничтожные люди... Ни одно лицо не возбуждает участия в читателе... В жизни мы видим непрерывную борьбу добра со злом. Это закон земной жизни человечества... Поэма в формах поэтических, а роман в форме действительности должны изображать по возможности жизнь вполне, а не одну ее сторону... Для всякой картины необходимы свет и тень; необходимо разнообразие цветов. Если же художник возьмет одну белую или одну черную краску, что произведет он?» Ответ ясен: искаженную, одностороннюю картину действительности.

Следует и стереотипное обвинение в грязи, сальности, неприличии выражений, смягченное реверансом комическому дарованию писателя: «Гоголю, обладающему истинным комическим талантом, не было вовсе нужды прибегать к такой грязи и возбуждать смех блохами, щенками, зверями, казненными на ногте...»

Коснулся Масальский и проблемы жанра, выразив уже привычное недоумение: «Мы не понимаем, почему «Мертвые души» названы поэмой... Это сочинение так же похоже на поэму, как мы с вами на китайского богдохана». Проблемы же продолжения произведения, развития его содержания в позитивную сторону для критика вроде бы не существует. В лирических

пассажах, предвещающих дальнейший ход событий, Масальский видит лишь неумеренную гордость, вроде той, которая заставляла Сумарокова сравнивать себя с корифеями мировой литературы. «Мы смеемся теперь над такую хвастливую самонадеянность». Пройдет время, намекает критик, и потомство будет смеяться и над автором «Мертвых душ».

К. П. Масальский впервые поставил на обсуждение проблему распространенных сравнений в «Мертвых душах». Это чрезвычайно яркая черта гоголевской поэтики, нашедшая широкий отклик и в критике (Шевырев, К. Аксаков, Белинский) и затем в литературоведении (Андрей Белый, О. Мандельштам и др.); но решение, предложенное Масальским, до крайности примитивно. Для него распространенность сравнений — это порок: они «череочур длинны и не только не составляют красот, но, напротив того, кажутся неуместными, лишними вставками». Излишняя сама детализация сравнения, ибо она вместо приближения к предмету уводит от него все дальше и дальше, как, например, в знаменитом сравнении черных фраков с мухами: «Описание подслеповатой ключницы, детей, которые на нее смотрят, мух, которые трут одна о другую задние или передние ножки или чешут ими у себя под крылышками и, наконец, протягивают лапки, чтобы потереть ими у себя под голову, — все это совершенно нейдет к делу и не имеет ничего общего с черными фраками». Наивное восприятие критика точно зафиксировало внешнюю, буквальную несвязанность двух элементов сравнения (то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается), не подозревая о том, что это преднамеренный ход, таящий художественный эффект большой силы.

Вслед за рецензией Масальского вышла статья Белинского — первая из цикла его работ, посвященных «Мертвым душам» (Отечественные записки, 1842, с. XXIII, № 7; ценз. разр. 30 июня; см.: 17, VI, 209—222). Появление поэмы критик расценивает как коренное изменение всей литературной ситуации, конец застоя, как давно ожидавшееся обновление; поэтому его отклик выливается в восторженный дифирамб. «И вдруг, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности — вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною,

нервистой, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта—и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...».

Критик затрагивает центральный вопрос, поставленный всем ходом устной и печатной полемики. Противники Гоголя отказывали ему в правдивости, в патриотизме и народности; Белинский утверждает, что творение Гоголя истинно правдиво, истинно народно, истинно патриотично; тем самым подлинные достоинства противопоставляются их извращенному выражению—вроде «фарисейского патриотизма» Полевого. Но помимо главного пункта, Белинский в первой же своей статье коснулся едва ли не всех эстетических тем, выдвинутых на повестку дня «Мертвыми душами». После проделанного анализа читательских и первых критических откликов убедиться в этом не так уж трудно.

Говорилось о мелкости комического изображения, которому якобы недостает высокой мысли, поучительной философичности, и Белинский обращает внимание на трудности понимания юмора. «...Юмор доступен только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимает и не любит его. У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых. Он считает для себя унижением снизойти до комического и ненавидит его по инстинкту, как мышь кошку».

Говорилось об отсутствии сюжета и занимательной завязки, столь необходимых для всякого романа,—и Белинский обращает внимание на то, «что „Мертвые души“ не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не „сюжет“».

Говорилось о неприличии и сальности описаний—и Белинский специально подчеркивает, что «это значит не понять поэмы, основанной на пафосе действительности как она есть», и что подобный пафос выражается, например, «в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул».

Словом, упомянуты примеры, постоянно фигурировавшие в полемике вокруг «Мертвых душ».

Говорилось, наконец, и о произвольности жанрового обозначения «Мертвых душ»,—и Белинский, словно отвечая и Гречу, и

Масальскому, и другим, утверждает: «...не в шутку назвал Гоголь свой роман „поэмою“».

Подробного разъяснения этого термина критик не дает, намечая его контуры способом от противного: это не «сатира», то есть не подчеркнутое, аффектированное изображение лишь негативной стороны, и «не комическая поэма», то есть не поэма легкого, «шутливого» рода—типа «Домика в Коломне» или «Графа Нулина» Пушкина. Полное оправдание жанра Белинский, по примеру других читателей, связывает с развитием произведения, с появлением последующих томов, «в которых Русь выразится с другой своей стороны...». Белинский говорит о «другой стороне», о продолжении «Мертвых душ» еще без опаски, хотя он уже обращает внимание на те лирические пассажи поэмы, которые, как мы знаем, появились на самой последней стадии работы. Эти местастораживают критика пока еще не столько возможностью рискованного, то есть идеализированного развития содержания в будущих томах, сколько слишком резким противопоставлением своего и чужого: «...автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними».

Первая статья Белинского о «Мертвых душах» писалась еще до выступлений Шевырева, Сенковского и т. д., которым он отвечал уже позднее—в «Библиографическом известии», в «Литературном разговоре, подслушанном в книжной лавке» («Отечественные записки», 1842, т. XXIV, № 9) и других своих работах. Позднее развернулась и полемика Белинского с Константином Аксаковым, которую мы рассмотрим в специальной главе. По мере вступления в спор новых лиц, углубления полемики развивалась и точка зрения Белинского на «Мертвые души», хотя задуманной большой работы о Гоголе (в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. он обещал даже «несколько статей») критик написать не успел.

\* \* \*

В летние месяцы, с июля по август, полемика вокруг «Мертвых душ» достигла своего апогея. В это время, помимо брошюры К. С. Аксакова и первого ответа на нее Белинского, появились рецензии Сорокина, Сенковского, Шевырева, Плетнева—то есть все сколько-нибудь заметные критические отклики на поэму.

Начнем с эпизода, который практически тоже выпал из истории русской критики,—с рецензии Сорокина, опубликованной в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 163, 164, 165 от 22, 23 и 24 июля 1842 г.).

М. П. Сорокин, поэт, переводчик и критик,—лицо малоизвестное и, видимо, малопримечательное; однако в начале 40-х годов интерес к нему проявил такой человек, как Белинский. Об этом свидетельствует то, что, уезжая летом 1843 года в Москву, Белинский поручил Сорокину и Некрасову заменить себя в «Отечественных записках» (17, XII, 165). Рецензия Сорокина на «Мертвые души», подробная и очень сочувственная, делает понятным этот выбор.

Отмечая у Гоголя «редкое умение крупными широкими чертами живописать страсти, из их игры созидать характеры и из развития сих последних выводить действие», рецензент главное внимание уделяет характеристике персонажей. Манилов — «это человек с сердцем теленка и с философией времен Бедной Лизы». Ноздрев — «малый от природы бойкий, живой, откровенный, даже теплый сердцем, но воспитание и разгульная жизнь сделали из него буяна, лгуна, картежника...». «Во всей русской литературе и даже в произведениях самого Гоголя мы редко встречаем лицо столь оригинальное и столь хорошо выдержанное в своем характере, как этот Ноздрев». Но самое значительное достижение писателя — Чичиков.

«Этот Чичиков совершенно типическое лицо, которого мы еще не встречали в нашей литературе». «Один рецензент» (подразумевается Греч) упрекал Гоголя в повторении: «Чичиков жестоко смахивает на Хлестакова...». Сорокин оспаривает это сравнение, ибо у Чичикова (в отличие от Хлестакова) есть целеустремленность, есть жизненная идея. «...Это человек с сильною натурою, сжатою в одно чувство... чувство почти животное, но которому он подчинил все прочие человеческие: и дружбу, и любовь, и благодарность... И это чувство — корыстолюбие». «Он лицемер, чтоб насытить свою жажду корысти, и корыстолюбив, чтоб насладиться земными благами. Это артист в своем искусстве. Это Паганини на инструменте своего сердца, на котором давным-давно порвались все струны, кроме одной...»

Но несмотря на то, что «все струны, кроме корыстолюбия, «порвались» в Чичикове, рецензент признает возможность неожиданных движений в его душе. «Уже змея любви начала помаленьку впускать сладкое свое жало в это окостеневшее сердце» — говорит он о сцене разговора Чичикова с губернаторской дочкой.

Сорокин предсказывает, что имя Чичикова «сделается нарицательным, как имена Гарпагона или Фальстафа». Тем самым он выдвигает создателя «Мертвых душ» в ряд художников первой величины и оспаривает ходовое сравнение Гоголя с Поль де

Коком. У последнего—лишь утрировка и фарс, «у Гоголя— взгляд на жизнь и общество столь же верен, сколько и глубок; он не простой забавник, а юморист, грустный и возвышенный, с улыбочкой на устах, но со слезой в очах и вздохом в сердце».

Негативное направление критики «Мертвых душ» продолжил О. И. Сенковский, придав ей ернический, шутовской тон (Библиотека для чтения, 1842, т. 53, отд. VI, с. 24—54; ценз. разр. 30 июня). Об этом тоне дает представление уже начало рецензии: «Вы видите меня в таком восторге, в каком никогда еще не видели. Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю всем о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма!.. да еще какая поэма! Одиссея, Неистовый Орланд, Чайльд Гарольд, Фауст, Онегин, с позволения сказать *дрянь* в сравнении с этой поэмой... Это, может быть, превосходит все силы вашего воображения, но это действительно так, как я вам докладываю. Никогда еще гений человеческий не производил подобной поэмы».

Так и построена эта рецензия: шутовские выходки чередуются с издевательским комментированием текста и с мнимо-серьезной беседой с читателем. Сенковский метит в два адреса: и в Гоголя и в его сторонников. Он хорошо знает аргументы сочувствующих писателю критиков и поэтому стремится прежде всего подорвать мысль о высоком значении гоголевского комизма, превращает в предмет иронической игры сопоставления творца «Мертвых душ» с признанными корифеями мировой литературы, от Гомера до Пушкина. Пускается в ход и параллель с Поль де Коком, разумеется не в пользу Гоголя: «При всей испорченности воображения, при всей неблагопристойности сцен направление романа у Поль де Кока большею частью бывает нравственное... В творениях же вашего поэта вы не покажете мне ничего подобного: они состоят из набора карикатур и гротесков, часто набросанных с большим юмором, но без связи между собою и без интереса для читателя». Даже в нравственном отношении Поль де Кок выше Гоголя!

Налицо дежурные обвинения в карикатурности, нарочитой утрировке и уродливости (понятие «гротеск» употреблено именно в таком смысле),— обвинения, которые Сенковский не преминул заострить в верноподданническом духе. «Помилуйте!.. что вы это... при каждом неблагоприятном случае наводите речь на русских? В чем и за что вы беспрестанно их обвиняете?.. Вы систематически унижаете русских людей. Я этого не люблю и не хочу слушать». Так проводится мысль об антипатриотизме творца «Мертвых душ».

И от насмешек над жанром произведения Сенковский не смог

удержаться. «Книга названа поэмой *не в шутку*». «...Это удивительная поэма, поэма, названная поэмой совсем *не для шутки*, первая поэма в мире!»

Н. Г. Чернышевский подметил, что в «Литературной летописи», в которой помещен разбор «Мертвых душ», Сенковский к названию чуть ли не каждой вздорной книжонки прибавлял слово «поэма»: «Теофил» Е. Алипанова — «поэма», «Досуги для детей» того же автора — «поэма» (99, с. 62—63) и т. д. В этом выразился уровень полемического искусства Сенковского: ему кажется, что утрированное и неумеренное повторение слова уничтожает само явление.

В таком же стиле ведется критика гоголевских распространенных сравнений. Масальский, выдвинувший эту тему, ограничился тем, что выразил чувство недоумения. Сенковский же ёрничает и потешается: «— Браво, наша поэма! — восклицаю я в страшном восторге, — bravo!.. да ты настоящая эпопея! — Какое поэтичное сравнение! — да как развито!.. да сколько тут чистых, свежих, благовоющих цветков поэзии!.. Ей-ей! без всякой лести!.. все знаменитые сравнения у Гомера, Вергилия, Тассо, Ариосто, Мильтона, перед этим великолепным сравнением — говоря твоим изящным языком — *свинтусы, подлецы!*.. Ну, чудо что за сравнение!..»

Сенковский побил все рекорды пошлого и шутовского тона. «Такой статьи давно не бывало! — восклицает один из собеседников в диалогизированной статье Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке». А другой собеседник указал на то, чем отличается натужное остроумие Сенковского от остроумия истинного: «Истинное остроумие, хотя бы и легкое и мелкое, не искажает умышленно предмета, чтоб возбудить во что бы то ни стало грубый смех площадной толпы: оно находит смешное в своей манере видеть предметы, не уродуя их» (17, VI, 352).

\* \* \*

В конце лета — начале осени появились, наконец, рецензии, так сказать, заказанные Гоголем, — Шевырева и Плетнева. Это самые обширные работы о поэме, с внутренней установкой дать ее цельный эстетический разбор, которого так ждал сам автор.

С. П. Шевырев (Москвитянин, 1842, № 7, с. 207—228, № 8, с. 346—376; ценз. разр. 10 августа) остановился прежде всего на ходячем упреке в низости и недостойности предмета изображения. Никакого запрета на материал, на тему, считает критик, быть не может. «*Не что избрал художник, а как он это*

воссоздал и как связал мир действительный с миром своего изящного: вот то, что собственно касается искусства».

Следовательно, вопрос «как воссоздано» выливается в другой: какую цель преследует изображение, какое действие оказывает оно на читателей. «Изображение предметов из грубой, низкой, животной природы человека» должно служить «водворению гармонии в нашем духе».

Вопрос о «гармонии» не следует сводить к плоскому примирению с действительностью, конкретно — с российской действительностью (хотя концепция Шевырева полностью и не свободна от подобного представления). Но в целом проблема шире: это некая субъективная высота, с которой видна ничтожность пошлой стороны жизни. Чем пошлее мир, тем необходимее «возвышение субъективного духа в самом поэте, воссоздающем этот мир». Поэтому «гармония», порождаемая произведением, — не совсем гармония; успокоение души достигается через печаль, уныние, точнее, смену впечатлений — от светлого к грустному. «...Конечно, заразительный хохот пронесся вместе с „Мертвыми душами“ по всем пределам России, где только его (sic!) читали. Но тот не далеко слышит и видит, кто в ярком смехе Гоголя не замечает глубокой загаенной грусти. В „Мертвых душах“ особенно часто веселость сменяется задумчивостью и печалью». «...Мы несколько раз испытали на самих себе переход от шумного веселья к грустной задумчивости».

От психологического плана рецензент переходит к поэтическому, структурному. Шевырев задается вопросом: чем вызывается описанная перемена впечатления, что ведет читателя «от шумного веселья к грустной задумчивости»? Произведение должно быть определенным образом организовано; в нем самом должно происходить развитие темы, смена моментов. И Шевырев находит многократное проявление одной и той же закономерности, заключающейся в одинаковом чередовании фаз, моментов. Прежде всего он обращает наше внимание на продажу мертвых душ — «главный мотив, на котором держится все комическое действие». Вначале он «только забавен», ибо «тут нет ничего никому обидного, ни вредного»; но потом, «когда вы прислушаетесь к сделкам Чичикова с помещиками» или когда вместе с героем (в VII главе) «раздумаетесь над участием всех этих неизвестных существ, внезапно оживающих перед вами в разных типах русского мужика, — глубокая ирония выльется в мотиве, и невольной думою осенится ваше светлое чело».

Та же постепенность — в расстановке характеров, в перспективе, которую они собой образуют: «Сначала вы смеетесь над Маниловым, смеетесь над Коробочкою, несколько серьезнее

взглянете на Ноздрева и Собакевича, но увидев Плюшкина, вы уже вовсе задумываетесь: вам будет грустно при виде этой развалины человека». Та же перспектива—в обрисовке города NN. Вначале—одно забавное, комическое, вроде толков жителей «о душах Чичикова и их нравственности»; комическое действие все растет, «как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно: здесь, говоря словами Жан-Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу». Но в ту минуту, когда «смешное достигло своих крайних пределов», когда, казалось бы, исчерпаны все оттенки комического, снова происходит перелом, переключение регистра: «смех при конце сменяется задумчивостью, когда среди этой праздно суматохи внезапно умирает Прокурор, и всю тревогу заключают похороны».

Наконец, обнаруженную закономерность (в чем, несомненно, выразилась пронизательность критика) он прилагает и к развитию гоголевского замысла в целом. «То... что заметили мы прежде в главном мотиве поэмы, в расстановке характеров, в герое, в изображении города, то самое не будет ли видно и во всем произведении?..» Это значит, что последующие тома будут построены в другом, серьезном регистре. «Много, много смеялись в первом томе: трудно загадывать в таком деле, но должно быть, что *веселое обратится в печальное* и что будем мы плакать в последующих». Вспоминаются слова, сказанные Гоголем Погодину при возвращении в Россию о своем сочинении: «Ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России». Шевырев был из тех, кто больше других знал о планах Гоголя.

Вслед за Сорокиным Шевырев уделяет большое внимание характерологии, делая это, однако, гораздо квалифицированное и интереснее. Шевырев постоянно вторгается в область художественной обрисовки лица, отмечает сопутствующие ему мотивы. Например, в антураже Коробочки есть что-то птичье. «Вся птица, как заметно, уж так приучена заботливою хозяйкою, составляет с нею как будто одно семейство и близко подходит к окнам ее дома: вот отчего у Коробочки только могла произойти не совсем учтивая встреча между индейским петухом и гостем Чичиковым». Коробочка «в своем деле министр хоть куда»; «везде у нее порядок»; поэтому и петух у нее «щеголь» — не то что у Манилова: «Да, у таких людей в деревне и петух непременно должен быть ощипан». В Ноздреве же явственно слышен другой мотив: «Особенная страсть у них к собакам... не происходит ли это от какой-то симпатии? ибо в характере

Ноздревых есть что-то истинно собачье». Особый мотив, особая подсветка у фигуры Плюшкина: «Все умирает, гниет и рушится около Плюшкина. Не мудрено ли, что Чичиков мог найти у него такое большое количество мертвых и беглых душ, которые вдруг так значительно умножили его фантастическое население». Уловил критик и роль сада Плюшкина, растворяющего впечатление грусти и омертвления: «Вы отдыхаете от этих грустных тяжелых впечатлений на богатой картине сада, хотя заросшего и заглохшего, но живописного в своем запустении: здесь угощает вас на минуту чудная симпатия поэта к природе, которая вся живет под его теплым на нее взглядом, а между тем в глубине этой дикой и жаркой картины вы как будто проглядываете в повесть жизни самого хозяина, в котором также заглохла душа, как природа в глуши этого сада». Тут характерология переходит в пейзаж, или, что то же самое, пейзаж переходит в характерологию.

В центральном персонаже поэмы, Чичикове, критик ценит моменты развития, обусловленности его психологии средой и воспитанием. «...Автор раскрывает нам глубоко всю тайную психологическую биографию Чичикова; берет его от самых пелен, проводит через семью, школу и все возможные закоулки жизни, и нам открывается ясно все его развитие». Так образовался плут, но плут не простой, поражающий дерзостью своего психологического рисунка. «Не правда ли, что в этом замысле есть какая-то гениальная бойкость, какая-то удаль плутовства, фантазия и ирония, соединенные вместе? Чичиков в самом деле герой между мошенниками, поэт своего дела... Самопожертвование мошенничества доведено в нем до крайней степени: он закален в него, как Ахилл в свое бессмертие, и потому он так бесстрашен и удал». В этих замечаниях уловлено возвышение персонажа над родовой природой плута, пикаро, которого Чичиков превосходит и тонкостью психологической обрисовки и более последовательной логикой внутреннего движения.

О пронизательности критика свидетельствуют и наблюдения, касающиеся построения поэмы,— как он говорит, «тайных нитей в ткани всего действия». Шевырев, например, обратил внимание на то, что Селифан не одинаковым образом покидает помещиков, с которыми сводит его судьба: у Манилова он напился пьян; от Коробочки выезжает «совершенно другим кучером: тут уж заметны в нем порядок и старание»; от Ноздрева выехал в дурном настроении и «таким же взбалмошным, как и сам хозяин...».

Все это, кажется, мелочи, но у Гоголя они играют конструктивную роль, придавая единство и глубину всей картине.

Надо сказать, однако, что Шевырев — такой критик, у которого пронизательные и тонкие суждения соседствуют нередко с приблизительными и даже наивными. Характерен следующий его упрёк Гоголю: комический юмор якобы препятствует тому, чтобы персонажи вырисовывались всесторонне. «Мы догадываемся, что кроме свойств, в них теперь видимых, должны быть еще другие, добрые черты»; например, «Коробочка... непременно будет набожна и милостива к нищим» и т. д. Ю. Ф. Самарина удивило это замечание, и он писал К. С. Аксакову по прочтении статьи: «Спрашивается, от кого же, если не от самого Гоголя, Шевырев мог узнать, что Коробочка набожна? Не он ли, представив ее в одном положении, в одном случае из ее жизни, умел сделать это так, что все другие свойства старушки-помещицы, не высказанные поэтом, вам открываются, и вы понимаете, как бы она поступила при других обстоятельствах... В этой способности изображать все в немногом заключается тайна творчества, и выше ее нет ничего в искусстве... а Шевырев требует... исчисления свойств лица» (81, 1890, кн. II, с. 422—423). Ю. Самарин судит глубже Шевырева, ставя интересный вопрос о соотношении выдуманного и подразумеваемого, видимого и скрытого плана изображения.

Шевыреву в приведенном суждении не хватает диалектичности и элементарной гибкости — так же как и в определении фантазии Гоголя, которую он называет «хлебосольною». «Да, в фантазии нашего поэта есть русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: всё что ни есть в печи, то на стол мечи». Значит, многое дано Гоголем «в придачу ко всей поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание»: «Заговорил поэт о тыхвах-горлянках, и пришли ему в голову балалайки и двадцатилетний парень, мигач и щеголь, посвистывающий на белогрудых девиц» и т. д. И продолжая свое гастрономическое сравнение, критик заключает, что «Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим, кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд, предлагает вам множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов...» и т. д.

Рациональное зерно этих рассуждений — мысль о детализированности и относительной самодостаточности любой части эпического изображения, стремящегося «не оставлять в тени ничего из того, что хотя бы просто упоминается: все должно обрести пластическую форму» (Э. Ауэрбах — 13, с. 25). Но эта мысль явно упрощена, доведена до крайности, выпрямлена — во всяком случае, по отношению к Гоголю. Что значит: Гоголь, будучи

«хлебосолом», дает многое «в придачу ко всей поэме», «сверх того», что требует «содержание»? В придачу к чему? К сюжетной, событийной линии? Это бесспорно. К «содержанию» поэтическому, художественно-смысловому? Едва ли: ибо содержание реализуется во всем, в том числе и в описаниях, которые кажутся излишними. Гоголь дарит свое «добро» не «сверх» меры, а столько, сколько требует сама установленная им мера.

Такая же механистичность — в апологии Селифана, который противопоставляется лакею Петрушке: последний, «находясь всегда около своего барина... провонял, а Селифан, будучи всегда с лошадьми и в конюшне, сохранил свежую, непочатую русскую природу». Белинский уловил, что механистичность и наивность этого пассажа сдобрена еще шовинистическим и верноподданническим духом. «Теперь, понимаете ли,—писал критик в „Литературных и журнальных заметках“,—что если кто не пьет сивухи, не напивается на смерть с первым встречным и поперечным... кто не разговаривает с лошадьми и не позволит взыскать себя известною милостию по спине—горе тому: он испорченная натура! Он покорился обаянию лукавого Запада, погубил и душу и тело свое навеки!..» (17, VI, 406). В порыве патриотического ослепления Шевырев отыскал хлебосольство и у Плюшкина: «Замечательно, что даже в Плюшкине сохранилось это природное чувство... и он счел за нужное попотчевать Чичикова чайком». Это звучало уже почти пародийно.

Плетнев свою рецензию (Современник, 1842, т. 27, с. 19—61, ценз. разр. 30 июня) снабдил следующей подписью: «С. Ш. 19 июня 1842. Житомир». Инициалы С. Ш. намекали на известного в литературных кругах приятеля Плетнева С. Д. Шаржинского, проживавшего в Житомире. Видимо, издатель «Современника», будучи другом Гоголя, хотел создать впечатление полного беспристрастия своего выступления; однако авторство было разгадано в литературных кругах<sup>40</sup>.

Плетнев уделил главное внимание естественности всего построения поэмы, каждого ее эпизода и подробности. Все подчинено не внешним, обременительным правилам, но «внутренней эстетике» автора. Вообще определение «внутренний» — излюбленное в характеристике поэмы. «Перейдешь по всем отделениям вещей и лиц, не только начиная от Селифана, но и от самого Чубарого, до легковоздушной институтки и ее отца и ни в чем не откроешь тени подложного или сомнительного; все возникает из закона *внутренней* жизни, следовательно, все является не для потехи, не от умыслу на забаву, а по назначению, по приказанию природы: итак все серьезно, все важно...» (курсив мой.— Ю. М.).

Такая же внутренняя глубина и естественность в лепке характеров. Указать на «известные черты какого-нибудь лица» может и не великий поэт. Но свести их вместе, исчерпав «всю глубину неделимого»,—задача, «которую решали одни гениальные писатели». Гоголь тем самым недвусмысленно причислен к гениям.

В Плюшкине критик обращает внимание на то качество, которое поразило в свое время Аксаковых и других слушателей при чтении VI главы. Это—«описание постепенности падения человека», открывающее трагические стороны бытия и тем самым разрушающее канон комического писателя, которому якобы подвластны только забавное и смешное. «Вы чувствуете, что тот же самый Плюшкин, над которым за минуту нельзя было не смеяться, довел всех до созерцания красоты высокой. Так все во власти великого таланта».

Здесь критик близок к мысли Шевырева о постепенной смене у Гоголя противоположных впечатлений—смешного и грустного.

Все же характеры Плюшкина и Манилова не устраивают критика, кажутся ему «сочиненными». Упрек, на наш взгляд, несколько странный, но подоплека мысли Плетнева такова: «народная поэма», какой является сочинение Гоголя, должна отражать «странности, более свойственные нации, нежели просто общечеловеческие». Скупость же Плюшкина или мечтательность Манилова не в природе русского человека и не относятся к типической картине русской жизни.

Плетнев, далее, поднимает принципиальный вопрос—о мыслительной, идейной содержательности материала, взятого в основу поэмы. «В ней нет того, чего мы еще не встречаем в нашей жизни—серьезного общественного интереса». Разговоры, заботы действующих лиц несут печать «мелочности и ограниченности». Для соотечественников все это любопытно благодаря национальному колориту, но теряет свою силу и значение «в соприкосновении с интересами других народов». Плетнев не считает бедность содержания недостатком Гоголя: писатель «возвратил обществу то, что оно могло ему дать само». Критик видит в этом даже достоинство, ибо любой другой писатель стал бы на ходули, постарался бы приукрасить существующее, прикрыть бедность риторикой; автор же «Мертвых душ» верен правде. Примерно так же оценивал содержательность гоголевской поэмы Белинский, который поэтому-то и увидел в Плетневе своего союзника.

Современники, однако, не видели всей сложности проблемы. Это верно, что материалу поэмы, предмету изображения прису-

щи «мелочность и ограниченность», столь заметные на фоне западноевропейского романа (в подтексте подобных суждений всегда лежали параллели с западноевропейской социальной, зачастую пронизанной идеями утопического социализма, беллетристикой).

Однако Гоголь сумел найти глубокую содержательность, даже философичность в самой мелочности и ограниченности материала, что придало его произведениям всевропейский и всемирный интерес. Однако произошло это позднее, собственно, уже в новое время.

Проблема содержательности имела еще одну сторону. Плетнев не отрицает наличия в жизни более значительного материала, но только в ранге исключения. «Исключения встречаются или в другом разряде людей, или, проглядывая даже здесь, не входят еще в жизнь, как черты резкие». Но ведь Гоголь как раз и собирался перейти затем к «другим разрядам» людей и явлений; следовательно, замечание критика служило для него лишним напоминанием и стимулом. Плетнев, будучи одним из тех, кто больше других был посвящен в замысел Гоголя, вообще делает упор на том, что перед нами еще не все произведение. «На книгу Гоголя нельзя иначе смотреть, как только на вступление к великой идее о жизни человека...». «...Следственно, поэма, в собственном смысле, еще впереди». Реализация жанра, оправдание слова «поэма» связано с полным развитием содержания, с выходом к более значительным, высоким его пластам.

В заключение статьи Плетнев выразительно и тонко пишет о языке Гоголя. Тема была поставлена еще Гречем, упрекавшим Гоголя в языковых погрешностях. Плетнев признает «недосмотры» в языке поэмы, за что «грамматическая критика» берет «полушечный оброк с автора». Но достоинства стиля Гоголя перевешивают все недостатки; это — «меткость и точность слов и неразъединяемость их от понятий»; слияние искусства и природы, как в саде Плюшкина (образ, применяемый критиком к творческой манере самого Гоголя: «Его книга точно этот сад»); наконец, живописность: «Кроме Жуковского, я не помню, кто у нас рисовал словом, увлекаемый прелестью природы, и постигая искусство словесной живописи». Белинский придерживался того же взгляда: «...у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка,— есть *слог*. Гоголь не пишет, а рисует...» («Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» — 17, VI, 355).

Гоголь был доволен обеими «заказанными» им статьями. Рецензию Плетнева он считал «замечательнее всех» из опублико-

ванных в петербургских журналах» (XII, 210). Рецензию Шевырева принял даже в той части, которая отличалась явной механистичностью суждений: одобрил «замечание... о неполноте комического взгляда», «об излишестве моей расточительности» (XII, 116). Это объяснялось тем, что Гоголь уже работал над вторым томом и оба замечания нашли у него отклик: писатель стремился и к более широкому охвату материала и к более экономной, жесткой его организации.

Белинский, как уже упоминалось, тоже высоко оценил статью Плетнева, назвав ее «умной и прекрасно написанной» (17, VI, 408). Что же касается Шевырева, то известная политическая реакционность его рецензии, логика борьбы (рецензия печаталась в «Москвитянине», резко враждебном Белинскому)—все это заставило критика отнестись к ней подчеркнуто негативно. При этом справедливые упреки шли рука об руку с упреками не совсем справедливыми. Шевырев, например, отметил влияние на Гоголя Гомера, Данте и Шекспира, а Белинский возразил: «Признаемся, мы не видим в „Мертвых душах“ следов изучения этих великих образцов» (17, VI, 407). Но «следы изучения» подтверждаются документально—тем материалом творческой истории «Мертвых душ», который приводился мною выше.

И еще одно характерное место. «Один критик,—писал Белинский, подразумевая Шевырева,—видит в Гоголе существо двойное или раздвоившееся: одна половина, видите ли, смеется, а другая плачет... Оригинальная мысль! Есть люди, которые никак не могут понять смеха и слезах, особенно же слез в смехе, и хотят все делить и различать механически, чтоб иное великое явление как-нибудь сделать доступным своей ограниченности» (17, VI, 407). Сказано у Шевырева не лучшим образом, однако, по существу, ведь речь шла о двойственности, о сочетании противоположных стихий—смеха и слез, комического и трагического, то есть о таком явлении (смех сквозь слезы!), которое многие, в том числе и Белинский, считали характерной чертой стиля Гоголя.

\* \* \*

В конце года в «Русском вестнике» появилась рецензия Н. А. Полевого (№ 5 и 6; цензурное разрешение 3 ноября). Рецензия, по-видимому, была написана давно, но сдвоенный майско-июньский номер журнала задержался с выходом, и после многих серьезных выступлений критические наскоки Полевого на поэму выглядели особенно легковесными и архаичными. Они свидетельствовали в то же время о глубоком трагизме судьбы критика.

Замечательный писатель, историк и журналист, бывший издатель «Московского телеграфа», составившего эпоху в русской журналистике, Полевой после закрытия его журнала (в 1834 г.) и переселения в Петербург резко поправел и, по крылатому выражению Герцена, «в пять дней стал верноподданным». Печать верноподданности определила и суждения Полевого о «Мертвых душах».

Прежде всего, Полевой подхватил давний упрек в искажении действительности, в клевете на свое родное, отечественное. «Между тем, как его [Гоголя] восхищает всякая дрянь итальянская, едва коснется он не итальянского, всё становится у него уродливо и нелепо!». «Почему, в самом деле, современность представляется ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее в своих «Мертвых душах», в своем «Ревизоре», и для чего не спросить: почему думает он, что каждый русский человек носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и Хлестаковых».

И это говорил человек, который в свое время беспощадно изобличал все отсталое и темное, какой бы псевдопатриотической риторикой они ни прикрывались. Сама убийственная формула «квасной патриотизм», предполагающая «безусловную похвалу всему, что свое», родилась на страницах «Московского телеграфа». Полевой помнит об этом и, стремясь свести концы с концами, бросает «Мертвым душам» новую формулу-обвинение: «Спрашиваем: так ли изображают, так ли говорят о том, что мило и дорого сердцу? *Квасной патриотизм!!* Мм. г., мы сами не терпим его, но позвольте сказать, что *квасной патриотизм* все же лучше *космополитизма*... какого бы?.. Да мы пойдем друг друга!..»

Полевого «поняли» не только враги, но и друзья Гоголя: Белинский квалифицировал его статью не иначе как «донос». «Сам Булгарин менее подлец в сравнении с ним» (17, XII, 117—118).

Что же касается других «недостатков» «Мертвых душ», то Полевой не хочет на них останавливаться подробно ввиду главного порока книги — вредности и непатриотичности содержания. Он присоединяется здесь к другим хулителям произведения. Почему оно названо поэмою? «Разумеется, что такое название шутка», — вторит Полевой Гречу. Разумеется, в «Мертвых душах» немало «тривиального» и «неправдоподобного» (следует перечень «промахов», отчасти повторяющий примеры Греча) и т. д. Но касаясь художественных особенностей поэмы, Полевой кое-что подметил верно, хотя и представил в невыгодном свете, со знаком минус. Критик, например, указал, что свойство

гоголевского изображения таково, что один город возвышен до степени «целой страны».

Завершила серию специальных критических выступлений о первом томе «Мертвых душ» рецензия Н. Д. Мизко, появившаяся в начале следующего, 1843 года (Н. М. Голос из провинции о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». — Отечественные записки, 1843, т. XXVII, отд. V, с. 23—48; ценз. разр. 28 февраля). В подстрочном примечании редактора (написанном скорее всего Белинским) отмечалось, что статья «прекрасная», хотя и противоречит «духу нашего журнала».

Николай Дмитриевич Мизко — одесский литератор, преподаватель. Статья его несколько схоластична, тяжеловесна, обставлена массой цитат из эстетических авторитетов новых и старых времен. Шаг за шагом опровергал рецензент ходячие обвинения против поэмы, объясняя ее оригинальные черты.

Приведу лишь одно место — об оправданности жанрового обозначения: «...неволью поражаешься противоречиям грандиозной идеи с диаметрально-противоположным источником, из которого [она] вытекла: и этот высоко-гуманистический взгляд поэта на жизнь, и этот глубоко национальный пафос его, гордого народным самосознанием духа... В этом смысле название «Мертвые души» *поэмой* имеет значение совсем не то, какое приписывают ей те, у которых есть *свои* цели не понимать поэтического элемента творения Гоголя». Подразумевались такие критики, как Греч или Полевой, утверждавшие, что Гоголь обозначил свое произведение *поэмой* ради шутки.

Статья Н. Д. Мизко понравилась Гоголю (см. XII, 192); позднее он познакомился с автором.

Интересная особенность литературной судьбы «Мертвых душ» — их появление заставило взяться за перо критиков-непрофессионалов. «К Погодину студенты принесли вдруг три рецензии, и разумеется всё похвалы» (ЛН, т. 58 с. 628), — сообщала В. С. Аксакова 21 июня 1842 года в письме к М. Г. Карташевской. Судьба этих рецензий неизвестна.

Другой пример самостоятельного рецензента — лейб-медик царского двора Михаил Антонович Маркус (1790—1865). Когда вышла поэма, Маркус изучил всего Гоголя и сказал, что «не читал ни на одном языке ничего выше «Мертвых душ»... «Это что-то шекспировское!» — говорил он... Мнение Маркуса передал Н. К. Калайдович в письме из Петербурга к Погодину от 14 декабря 1842 года.

Калайдович сообщал также, что Маркус «в первую же свободную ночь, в опровержение всех аристократических мнений, которые ему удавалось слышать, набросал сам статью о

Гоголе и «Мертвых душах». Статья, как я могу предполагать по плану и отрывкам, выйдет замечательная: ведь Маркус знаком почти со всеми европейскими литературами и следит за ними в лице их новейших представителей. Особенно замечательна эта статья тем, что в ней отвергаются не мнения ученых и журналистов..., а мнения людей, составляющих общество, предрассудки рождения и воспитания. Когда она будет окончена, вероятно в январе, я перешлю Вам ее...» (ЛН, т. 58, с. 642—643). Судьба этой рецензии, к сожалению, также остается неизвестной<sup>41</sup>.

В целом печатные отклики на поэму в сравнении с устными более систематичны, что естественно для письменного слова, но уступают им в разнообразии и различии оттенков. Например, не отразилась в печати та точка зрения, которую в устных спорах представлял, скажем, Надеждин: осуждение «Мертвых душ» не за общественную критику, а за мрачный, безнадежный тон, отсутствие перспективы.

Вообще же печатные отклики резче делились на две группы, в зависимости от ответа на вопрос: за или *против*, хотя сама мотивировка ответа была сходная. С одной стороны принятие поэмы как документа общественной критики или как цельного изображения русской жизни с большим или меньшим удельным весом такой критики; с другой—осуждение поэмы по мотивам ретроградно-амбициозным как общественного «пасквиля» и «оскорбления» нации. С одной стороны, принятие иронии, комизма, гиперболизации, словом, всей художественной системы Гоголя, с другой—осуждение ее за фарсовость, карикатурность, неприличие, сальности и т. д.

Можно провести еще одну параллель между печатными и устными суждениями. В устных спорах решительнее всех в Москве выступили против «Мертвых душ» Загоскин и Н. Ф. Павлов, оба беллетристы, прозаики, авторы повестей. Современники безошибочно распознали источник их ненависти: и приверженность к старой повествовательной манере, и дух зависти, соперничества. В печати с отрицательными отзывами выступили Греч, Н. Полевой, Масальский, Сенковский—все четверо в той или другой мере беллетристы, прозаики, авторы повестей или романов (в то время как все авторы «положительных» рецензий были преимущественно критики, ученые или преподаватели—во всяком случае не беллетристы). Видимо, и здесь сказались личные мотивы—зависть, соперничество, а также приверженность к старой повествовательной манере.

В целом картина в критике складывалась явно в пользу Гоголя. Дело не только в том, что, условно говоря, «позитив-

ные» отклики преобладали над «негативными» (примерное соотношение два к одному), но прежде всего в том, что произведение, при всем различии трактовок и мотивов, решительно было поддержано самыми крупными и авторитетными фигурами: Плетневым, Шевыревым, К. С. Аксаковым, не говоря уже о Белинском. Однако у противников поэмы была своя сила: это были те авторы (Сенковский, Греч и т. д.) и те издания («Библиотека для чтения», «Северная пчела» и т. д.), которые в наибольшей мере определяли вкусы массового читателя, широкую литературную ситуацию. Вот почему, кстати, Гоголя так порадовала, в общем, средняя статья Н. Д. Мизко: ведь это был все же, как указывало название, «голос из провинции»...

Прием критикой «Мертвых душ» напоминал события шестилетней давности, развернувшиеся вокруг «Ревизора» — премьеры комедии и ее первого издания. И тогда картина, в общем, складывалась в пользу Гоголя: самые значительные литераторы (Вяземский, Надеждин, В. П. Андросов) печатно поддержали комедию, хотя ее противники (Сенковский в «Библиотеке для чтения» и Булгарин в «Северной пчеле») были те, кто определял вкусы «широкого» читателя. Гоголь, однако, имел обыкновение сгущать краски, причем краски темные, и нападки на «Ревизора» некоторых вполне определенных лиц обернулись в его сознании чуть ли не как всеобщее осуждение («все против меня»). Можно было ожидать сходной реакции и на прием «Мертвых душ»; однако этого не произошло, ибо отношение Гоголя к критике заметно изменилось, что было связано с общим умонастроением писателя, приступившего ко II тому. Но прежде чем перейти к этой теме, остановимся еще на одном эпизоде критической истории поэмы.

## ГЛАВА XI

# СПОР БЕЛИНСКОГО И К. АКСАКОВА

Это, без сомнения, самый яркий эпизод ранней критической истории «Мертвых душ», еще требующий своего разъяснения и оценки<sup>42</sup>. Первоначально позиции спорящих обозначались следующим образом.

К. С. Аксаков в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (подпись под текстом: Москва, июня 16, 1842; ценз. разрешение 7 июля)

выдвинул тезис о воскрешении в поэме древнего «эпического созерцания». «...Только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства». Но Шекспир—драматург, поэтому он уходит из поля зрения критика; остаются двое—Гомер и Гоголь как эпические писатели, творцы поэм. «...Эпическое созерцание Гоголя—древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы это созерцание<sup>43</sup>, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки восстает, наконец, древний, истинный эпос, надолго оставивший мир...»

К. Аксаков несколько раз оговаривает, что сходство рассматривается только «в отношении к акту творчества», только с художественно-изобразительной стороны. Различие содержания полагается как само собою разумеющееся: «В Илиаде является Греция со своим миром, со своею эпохою и, следовательно, содержание само уже кладет здесь разницу». И «разница» выносится за скобки; остается лишь то, что характеризует эпическое созерцание при *любом* содержании: широкий, непредубежденный интерес ко всему существу, полнота жизни, суверенность лиц и явлений, связанных друг с другом не внешней завязкой и интригой, но глубоким внутренним родством. Так было у Гомера, так теперь у Гоголя. «В поэме Гоголя явления идут одни за другими, спокойно сменяя друг друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, открывающим целый мир, стройно предстающий с своим внутренним содержанием и единством, с своею тайною жизни». И эпическое созерцание есть в известном смысле искусство сохранения «тайны жизни», искусство перенесения ее на художественное полотно нетронутой, неискаженной, неразрушенной. «...И муха, надоедающая Чичикову, и собака, и дождь, и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка—все это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства». Маленькие «тайны» складываются в большую, и, подразумевая всю поэму в целом с ее будущим продолжением, Аксаков спрашивает: «...уж не *тайна ли русской жизни* лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно?» (курсив мой.— Ю. М.). Это место, кстати, снова показывает, что вопроса о содержании Аксаков не перечеркнул (ведь «тайна русской жизни»—есть момент содержания), но, как говорил Ю. Самарин, «устранил» (84, с. 30), отодвинул в сторону.

Белинский ответил Аксакову в специальной рецензии на его брошюру (Отечественные записки, 1842, т. XXIII, № 8; ценз.

разр. около 30 июля; см. 17, VI, 253—260). По многим пунктам он сформулировал точку зрения, прямо противоположную Аксаковской. Неприемлемым, в частности, показалось Белинскому то, что вопрос о содержании отодвинут на второй план, в то время как он должен быть «мерилом при сравнении одного поэта с другим». «Только содержание делает поэта мировым: высшая точка, зенит поэтической славы». Неприемлемым оказалось сравнение «Мертвых душ» с поэмами Гомера, противопоставление Гоголя современным западным писателям и т. д. Однако никакая *отдельная* проблема не исчерпывает сути полемики. По отдельным проблемам — и не только мелким, но и очень важным, принципиальным — оба критика вольно, а часто и невольно (неосознанно для себя и для других) совпадали, но в глубине спора просматривалось несходство неких изначальных точек движения. Это и превращает анализ полемики в дело чрезвычайно тонкое и, я бы сказал, деликатное.

В центре спора — соотношение Гоголя с другими великими писателями. Спор продолжил проблему, поставленную в московском кружке (прежде всего К. С. Аксаковым и Белинским), — о мировом значении и достоинстве гоголевского творчества. Однако для философской критики, традиции которой питали Белинского, это была *часть* историко-философской системы, момент ее реализации и существования. На эту сторону дела — при анализе спора вокруг «Мертвых душ» — еще не обращено внимания, а между тем в ней — ось проблемы.

Кратко напомню, в чем заключалась историко-философская система<sup>44</sup>. Ее определяющее начало — учение о смене художественных форм (стадий). Искусство в своем поступательном развитии проходит через ряд стадий, соответствующих регионально-хронологическим этапам истории: символическое искусство (Древний Восток), классическое искусство (античность, особенно Греция), романтизм (Западная Европа после утверждения христианства, главным образом в период средневековья), наконец, синтетическое искусство нового времени (Европа, включая Россию, и Америка). Примерно так — с теми или другими отклонениями — выглядела перспектива художественной истории в западной философии, прежде всего немецкой (у Шеллинга, затем у Гегеля) и в русской философской критике (Д. В. Веневитинов, Н. И. Надеждин, ранний И. В. Киреевский, В. Ф. Одоевский, Н. В. Станкевич и другие, вплоть до Белинского).

Смысл системы — в установлении внутреннего механизма движения, при котором смена форм осуществлялась путем отрицания и преемственности (отрицание отрицания). Классиче-

ское (античное) искусство, например, пластично, устремлено к внешнему, объективно-широко и беспристрастно. Романтическое (средневековое)—пронизано духовностью, устремлено к внутреннему человеку и в этом смысле субъективно и ограниченно. Новое искусство восстанавливает на современной основе сильные стороны искусства классического, объединяя их с достижениями романтизма. «Происходя исторически непосредственно от второго... оно примирило богатство своего романтического содержания с пластицизмом классической формы» (17, III, 428). В ряду представителей новой, современной формы искусства, «начатого Шекспиром и Сервантесом», такие имена, как Байрон, В. Скотт, Купер, Гете, Пушкин.

Так выглядит система Белинского в его статье «Горе от ума», за два года до полемики с К. С. Аксаковым. Необходимо поэтому кратко указать на те изменения, которые были внесены в систему именно в указанное двухлетие.

Белинский не отказывается от своей любимой мысли о синтезе в современной форме сильных сторон классицизма и романтизма, античного пластицизма и средневековой духовности. Но этот синтез теперь заостряется в общественном, социальном смысле. В статье «Речь о критике» (конец 1842 г.) сказано, что «искусство нашего времени есть выражение, осуществление в изящных образах *современного сознания*, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия» (17, VI, 280; курсив мой.—Ю. М.). Подразумевается *критическое* сознание, или—что то же самое—сознание историческое, когда точку зрения определяют «не интересы сословия, но интересы общества, не интересы государства, но интересы человечества» (17, VI, 91). «Сословия» и «государство» противопоставляются «обществу» и «человечеству» как узкокорыстное общегуманному и как существующее искомому. Современное сознание осмысляет все существующее с некой идеальной точки зрения—с точки зрения искомой организации общества на гуманных, справедливых началах.

Уточняется, далее, и круг авторов, представляющих новую форму искусства. Хотя критик по-прежнему возводил эту форму к Шекспиру и Сервантесу и считал важнейшими ее представителями Гете, В. Скотта, Купера и других, но вместе с тем все больший удельный вес получают те, кто воплощают критическое сознание в указанном выше смысле. Это Шиллер, благородный «адвокат человечества»; из современных писателей—Беранже, Гейне и Жорж Санд. Все они—защитники «достоинства личности», смертельные враги мракобесия, невежества, феодальных институтов и представлений.

Таковы исходные позиции Белинского в интересующем нас споре.

Считается, что линия спора проходила через вопрос о «содержании».

Отчасти это так, но только отчасти. Белинский направил свой удар—причем едва ли не главный—на толкование Аксаковым не содержания, но «акта творчества», способа изображения, «эпического созерцания» Гоголя.

В своей второй статье—«Объяснение» («Москвитянин», 1842, часть V, № 9, с. 220—229; ценз. разр. 25 сентября) К. Аксаков обвинил Белинского в искажении его мысли: «...где же я назвал М. д. «Илиадой», а Гоголя Гомером? Я сказал, что эпическое созерцание то же... Содержание—другое...» Но с точки зрения Белинского, это уточнение не имело принципиального смысла. Для него произведение Гоголя «другое» не только по «содержанию», но и по созерцанию. Ибо «Мертвые души» воплощают «созерцание» новой формы искусства; «Илиада»—созерцание классической формы. Весь вопрос преломлялся в плоскость движения, иначе говоря в плоскость историко-философской системы.

Взгляды Аксакова Белинский суммирует следующим образом.

«Итак, эпос древний не есть исключительное выражение древнего миросозерцания в древней форме: напротив, он что-то вечное, неподвижно стоящее, независимо от истории; он может быть и у нас, и мы его имеем—в «Мертвых душах»!

Итак, эпос не развился исторически в роман, а *снизошел* до романа!..

Итак, роман есть не эпос нашего времени, в котором выразилось созерцание жизни современного человечества и отразилась сама современная жизнь: нет, роман есть искажение древнего эпоса?..» (17, VI, 254).

Белинский оперирует преимущественно теми же категориями, что и Аксаков—«миросозерцание», «созерцание», «форма» и т. д.; но он настаивает на коренной трансформации их смысла.

Аксаков видит особенности гоголевского «созерцания» (сходного с гомеровским) в его спокойном, ровном характере, в беспристрастии и объективности. Но Белинскому этого мало, ибо объективность и беспристрастие—свойства классической (античной) формы; в новом искусстве они соединены с достижениями романтизма—духовной настроенностью и субъективностью. Еще до полемики с Аксаковым, в первой статье о поэме, Белинский назвал величайшим достижением Гоголя то, «что в «Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо

проступает его субъективность» (VI, 217). В «Объяснении на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“» («Отечественные записки», 1842, т. XXV, № 11, ценз. разр. 31/X) Белинский использует тот же аргумент против своего оппонента: «...к числу особенных достоинств «Мертвых душ» принадлежит более ощутительное, чем в прежних сочинениях Гоголя, присутствие субъективного начала, а следовательно, и *рефлексии*». И далее следует знаменательная ссылка: «Гегель в своей эстетике в особенную заслугу поставляет Шиллеру преобладание в его произведениях рефлектирующего элемента, называя это преобладание выражением духа новейшего времени» (VI, 428—429). Белинский апеллирует к историко-философской системе в лице ее самого авторитетного теоретика.

Для Белинского Гоголь — представитель современной формы искусства, реализуемой коллективными усилиями писателей, общностью имен. Для Аксакова такой общности не существует; линия развития после Гомера резко идет вниз, чтобы затем подняться в Гоголе. Белинский тотчас почувствовал слабое звено аксаковских построений — исключительность положения Гоголя в отношении современных художественных тенденций. «Г. Константин Аксаков ни одним словом не упомянул в своей брошюре ни о Сервантесе, ни о Вальтере Скотте, ни о Купере...» (VI, 415). Не упомянут Байрон (VI, 416). Презрительно сказано о Жорж Санд, имеющей большое значение «во всемирно-исторической литературе» (VI, 422). Особенно красноречиво умолчание имени Вальтера Скотта, ибо он «представитель современного эпоса, т. е. исторического романа»; Вальтер Скотт «мог явиться (и явился) без Гоголя»; «но Гоголя не было бы без Вальтера Скотта», с ним и надо было сопоставлять Гоголя прежде всего, «а не с Гомером, с которым у него нет ничего общего» (VI, 415). Последнее утверждение Белинского (о Гомере) — явный полемический перехлест, но преемственность Гоголя по отношению к Вальтеру Скотту — неопровержимый исторический факт, доказываемый и собственными признаниями творца «Мертвых душ».

Современность «созерцания» Белинский видит и в гоголевских распространенных сравнениях. Проблема эта уже была поставлена в критике, но в интересующей нас полемике приобрела большую глубину и содержательность. Для Масальского распространенные сравнения — род излишества и превышения меры. К. С. Аксаков впервые мотивировал эту особенность, исходя из эпического мирозерцания: «...сравнивая, Гоголь совершенно предается предмету, с которым сравнивает, оставляя на время тот, который навел его на сравнение; он говорит, пока

не исчерпает весь предмет, приведенный ему в голову». Именно так поступал и Гомер в «Илиаде» («Несколько слов о поэме Гоголя...»). Белинский художественной целесообразности гоголевских распространенных сравнений не оспаривает, но ему мало одной их объективности и полного погружения в материал; необходимо еще качество, родственное *второй* ипостаси современного искусства, его субъективности и рефлексии, и это качество отыскивается в юмористической подоплеке сравнения. Отвечая Аксакову и Шевыреву, который тоже считал, что Гоголь (вместе с Данте) один «постиг всю простоту сравнения гомерического», Белинский пишет: «Если Гомер сравнивает теснимого в битве троянами Аякса с ослом—он сравнивает его *простодушно*, без всякого юмора, как сравнил бы его со львом... У Гоголя же, напротив, сравнение, например, франтов, увивающихся около красавиц, с мухами, летящими на сахар, все насквозь проникнуто юмором» (VI, 419).

Так, в представлении Белинского меняется само созерцание, выражаясь языком Аксакова, сам «творческий акт» современного искусства. «...Думать, что в наше время возможен древний эпос,—это так же нелепо, как и думать, чтоб в наше время человечество могло вновь сделаться из взрослого человека ребенком; а думать так—значит быть чуждым всякого исторического созерцания...» (VI, 416). Упоминание «ребенка»—не только полемический прием. Возрастные категории в философско-эстетических построениях конца XVIII—первой половины XIX века играли содержательную роль, так как передавали своеобразие и в то же время необратимость определенных стадий истории: вспомним уподобление К. Марксом (во «Введении к „Критике политической экономии“») древнегреческого искусства «детству человеческого общества». В том же смысле говорит и Белинский о невозможности сделаться «взрослому человеку» «ребенком». Общий дух классической (античной) эпопеи—приятие жизни, общий дух современного романа—ее разложение и отрицание. «...Пафос «Илиады» есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища: пафос «Мертвых душ» есть юмор, созерцающий жизнь *сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы*» (17, VI, 255).

\* \* \*

Во второй своей статье, в «Объяснении», К. Аксаков дал несколько штрихов, существенно уточнявших его концепцию. Сравнивая античное искусство с современным, критик пишет: «Отнимите у эпического созерцания *прекрасную жизнь*, с кото-

рой некогда прямо соединялось оно, представьте пред ним современную жизнь, уже не прекрасную, уже опустевшую: ибо перешагнули за нее, перешагнув за сферу художественной красоты, интересы человека, и глубокое созерцание поэта необходимо примет юмор...»

Из первой статьи К. С. Аксакова было ясно, что он не перечеркивает проблему содержания, но лишь отодвигает ее в сторону. Теперь критик дал понять, что и само содержание он мыслит изменившимся, претерпевшим коренной перелом. Раньше на это намекали лишь попутные замечания о прозаизме некоторых гоголевских персонажей (например, Манилова). Теперь Аксаков выдвигает принципиальный тезис—он заявляет, что содержание древнего (по принятой классификации—классического) и современного периодов искусства противоположное. Первое пронизано позитивным духом, ибо жизнь была «прекрасной»; второе—духом негативным, ибо жизнь «уже опустела», человеческие интересы перешагнули «за сферу» красоты и приобрели практическое (как сказал бы Гоголь) меркантильное направление.

Больше того, оказалось, что изменившееся содержание требует изменившего к себе отношения—негативного или, точнее, юмористического. В первой статье К. С. Аксакова понятие юмора не фигурировало. Его ввел в полемику именно Белинский («пафос «Мертвых душ» есть юмор...» и т. д.). Теперь Аксаков пишет о необходимости юмора в современном искусстве, о его неизбежном, неотвратимом посредничестве. Вопрос этот логически вытекает из новой, более точной постановки Аксаковым вопроса о содержании: именно потому, что материал современного искусства негативен, он, для того чтобы удержаться в сфере изящного, требует юмористического к себе отношения. Лишь юмор соединяет «созерцание» современного поэта с жизнью, без него оно бы «отворотилось и закрыло глаза, да позволено будет это выражение». «Выражение», надо сказать, достаточно энергичное.

Но из этого следует, что современное созерцание не может быть точно *таким же*, как древнее. Оно сходно с последним в смысле полноты и суверенности изображения, способности удерживать тайну жизни; но оно несходно с ним в смысле художнического отношения к предмету, той субъективной окраски, которая ему придается. В первой статье на это, возможно, намекала оговорка, что «эпос древности, являющийся в поэме Гоголя «Мертвые души», есть в то же время явление в высшей степени свободное и современное». Но оговорка носила общий характер и ничего не сообщала о том, в чем проявлялась

современность эпического созерцания. Теперь стало ясно в чем—в личном отношении, в юморе.

К. Аксаков при этом заботится о том, чтобы не претерпела какой-либо урон объективность творчества. Последнее принимает юмор, *«вместе с тем сохраняя в себе свой характер всеведения и в то же время свою справедливость к жизни, умея везде находить ее сквозь юмор»*. Только при последних условиях эпическое созерцание полно, истинно и вместе может быть современно... Но рецензент, кажется, этого не заметил...». Однако «рецензент», то есть Белинский, со своей стороны, заботился о том же—чтобы благодаря субъективности не был нанесен ущерб полноте и суверенности изображения. «Здесь мы разумеем не ту субъективность, которая по своей ограниченности или односторонности искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов...» (17, VI, 217),—предупреждал критик еще в первой статье о «Мертвых душах». Поэтому в своем «Объяснении на объяснение» он просто отвел соображение К. Аксакова как само собою разумеющееся: «...да что же бы это был за юмор, если б он уничтожил действительность? стоило ли бы тогда и говорить о нем?» (VI, 429). Один и тот же тезис оба критика произносили с различной интонацией. К. С. Аксаков говорил: «Современное созерцание, будучи юмористическим, должно сохранить объективность». Белинский говорил: «Современное созерцание, будучи юмористическим, не может не быть объективным».

Различие модальных оттенков вело к различию отправных точек движения. Концепция двух видов юмора—субъективного и объективного—не была изобретением ни Белинского, ни Аксакова. Это—принципиальный момент новейших эстетических систем вообще (см., например, противопоставление Гегелем объективного юмора шекспировского типа такому юмору, когда «художник исходит из своей собственной субъективности»—28, с. 303). И при конструировании учения о формах искусства, их поступательном движении этот момент был важен потому, что позволял наглядно представить себе слияние в новейшей форме сильных сторон предшествующих форм: современное искусство прониклось личным, юмористическим отношением, однако при полном сохранении объективности. К этому выводу пришел и К. Аксаков, но лишь применительно к Гоголю. Для Белинского же это само собою разумеющееся явление нового искусства. «Не говоря уже о Шекспире, например, в романе Сервантеса Дон-Кихот и Санчо Пансо несколько не искажены: это лица живые, действительные; но, боже мой! сколько юмору, и веселого, и грустного, и спокойного и едкого, в изображении

этих лиц! Таких примеров можно найти довольно» (17, VI, 429).

Так или иначе, но определенное сближение взглядов обоих критиков налицо. Тем и сложна картина полемики, что в предметном содержании, в непосредственной характеристике гоголевского творчества Белинский и Аксаков нередко совпадали. Оба выступали против обедненного толкования «Мертвых душ» как сатиры; оба видели «серьезные», трагические стороны гоголевского мира, оба говорили об его глубине и неисчерпаемости и т. д. Теперь К. С. Аксаков пришел к тезису о юмористической природе гоголевского созерцания, причем поскольку этот тезис включался в перспективу движения от древней жизни к современной, «уже не прекрасной, уже опустевшей», то приведенные рассуждения явно приближались и к точке зрения Белинского о противоположности пафоса «Илиады» и «Мертвых душ».

Тем не менее нельзя не видеть, что Аксаков именно *приблизился* к подобной точке зрения. Можно на это возразить, что Аксаков уже заранее, с самого начала полемики подразумевал названное обстоятельство, но не пожелал на нем останавливаться, отодвигая его до поры до времени в сторону. Возможно и так. Однако способ изложения предмета не безразличен для его содержания. Способ же изложения Аксаковым своей концепции, точнее, даже *способ поведения* его в полемике имел особенность, на которую обратил внимание Белинский. Указав на примечание («выноску») Аксакова о том, что «современные романы и повести имеют свое значение», о чем он, Аксаков, не может сейчас «распространяться», Белинский заметил: «...это все равно, как если б кто-нибудь, сказав так: «Байрон плохой поэт», а в выноске заметив: «Впрочем, и Байрон имеет *свое* значение, но мне теперь некогда о нем распространяться», считал бы себя правым и подумал бы, что он все сказал...» (17, VI, 415).

Диалектическая школа, которую вместе проходили и Белинский и Аксаков в кружке Станкевича, требовала *иного* способа развертывания мысли. Гегель писал: «...познание катится вперед от содержания к содержанию... Ибо результат содержит в себе свое начало, и дальнейшее движение этого начала обогатило его (начало) новой определенностью. *Всеобщее* составляет основу; поэтому поступательное движение не должно быть понимаемо как течение от некоторого другого к некоторому другому. В абсолютном методе понятие сохраняется в своем инобытии, всеобщее — в своем обособлении, в суждении и реальности; на каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания...» (28а, с.

315). Не так поступал Аксаков (и поэтому Белинский упрекает его и в недостаточном, так сказать, доморощенном усвоении Гегеля—перед нами «гегелевская философия—на замоскворецкий лад...»). Говорить о возрождении в Гоголе античного эпического созерцания, затем выдвинуть другой тезис, существенно перечеркивающий первый—о посредствующей роли юмора—это значит двигаться «от некоторого другого к некоторому другому». Последующее содержание не заключалось, как в зерне, в предшествующем, но привносилось как бы извне, помимо внутренней логики движения.

В историко-философских системах того времени художническое представительство народа прямо или косвенно связывалось с общественным и социальным представительством. Магистраль исторического прогресса пролегла через судьбы отдельных народов и стран (древний Восток, античность, народы Западной Европы), являвших одновременно и наиболее передовую форму искусства. Белинский в связи с этим говорит о «всемирно-исторических нациях», причем в начале 40-х годов, в пору полемики с Аксаковым, он всемерно подчеркивал и политическое и общественно-освободительное значение таких «наций». Коротко говоря, значение новейших западноевропейских народов в том, что они выразили собою антифеодальные и антиклерикальные устремления, а также устремления гуманистические, подчас с яркой социалистической окраской (отсюда апология Жорж Санд). Все это Белинский называет «общей жизнью», то есть жизнью, важной в историко-общественном смысле для всего человечества. Возможность участия в ней России Белинским не исключена; больше того, критик горячо верует в это участие, однако последнее зависит от степени приобщения страны к общенациональному прогрессу, усвоения и затем уже последующего развития его достижений.

Вопрос о мировом значении Гоголя для Белинского произведен от этой концепции. Вот почему, скажем, Жорж Санд или Вальтер Скотт имеют мировое значение, а Гоголь нет. «...Эпос Вальтера Скотта именно заключает в себе содержание «общей жизни», тогда как у Гоголя эта «общая жизнь» является только как намек, как задняя мысль, вызываемая совершенным отсутствием общечеловеческого в изображаемой им жизни» (17, VI, 417). Аксаков же, как мы видели, решительно заявлял, что Гоголь имеет мировое значение.

Нельзя не заметить, что в этом вопросе Аксаков оказался прав, а Белинский не прав. Мировое значение писателя более сложно определяется той общественной почвой, которую он представляет, а философское содержание его произведений не

сводится к развитию определенных социально-политических идей, составляющих духовный базис эпохи. В силу этого Гоголь сумел на «низком» материале развить такую глубину проблематики, что выдвинулся в число самых значительных художников мировой литературы. При этом было опрокинуто и само привычное представление о соотношении «низкого» материала и философской проблематики, об их непреодолимой антиномии. Но ясно все это стало уже в новое время, примерно на рубеже XIX и XX веков и позже, когда стремительно возросла мировая слава Гоголя.

К. С. Аксаков одним из первых (если не первым) заговорил о мировом значении гоголевского творчества—и в этом, повторяю, его большая заслуга. Но заговорил, руководствуясь своими мотивами, которые отнюдь не тождественны современному содержанию проблемы.

Мотивы Аксакова вытекали из его главной мысли. Если эпическое созерцание древности, спустя многие столетия, через головы многих народов, воскресало в России, то напрашивался вопрос, почему это оказалось возможным. По своему обыкновению, Аксаков уклонился от прямого ответа: «Полнейшее объяснение, как, каким образом мог он («эпос древности».— Ю. М.) возникнуть именно у нас и что знаменует... — это, разумеется, длинное объяснение—до другого раза...». Однако вывод подсказывался сам собою уже сейчас: «древний эпос» возродился в лице Гоголя именно потому, что сама русская жизнь предоставила для этого все возможности, выработала в себе такие качества, которыми не обладают другие народы. В частной переписке Аксаков был откровеннее. В письме к А. Н. Попову он говорил: «...явилось такое чудо создания, такая великая, древняя классическая простота, которая смогла явиться разве только в России, у народа цельного... назначенного к великим подвигам» (53, с. 204).

Вот с этим «только» Белинский и не мог согласиться, поскольку все это вело к ограничительной позиции Гоголя и через него—и России в мировом историческом процессе. Все усилия Белинского были направлены на то, чтобы объединить Россию с этим процессом, поставить ее с ним в отношения преемственности, и критик весьма резко реагировал на любые ноты избранности и мессианства. Такие ноты в концепции К. С. Аксакова очевидны.

Впрочем, Аксаков еще сдержан в обозначении конкретного содержания этой миссии, как сдержан, со своей стороны, и Белинский в определении будущего страны. Но это, так сказать, разные сдержанности, наполненные разным мироощущением.

К. Аксаков спрашивал: «Уж не тайна ли русской жизни лежит» в поэме, «не выговорится ли она здесь художественно?» Со своей стороны Белинский, говоря, что пафос «Мертвых душ» состоит «в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом», добавляет—«доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения» (17, VI, 431). Аксаков не говорит, какая тайна выговорится Гоголем. Белинский не говорит, какова «субстанция», то есть, собственно, та же тайна русской жизни. Оба не говорят, так как еще не знают. Но не знают по-разному, по-своему. Аксаков убежден, что тайна уже *есть* в жизни и по мере развития гоголевского творения, через это творение откроется читателю. Белинский же полагает, что само историческое развитие русской жизни еще не прояснило эту тайну, что она еще не определилась, не раскрыта самой действительностью.

Соответственно разным предстает отношение двух критиков к обещанному продолжению поэмы. Аксаковская фраза: не знаем, «как, впрочем, раскроется содержание „Мертвых душ“» — вполне серьезна и позитивна. Как бы оно ни раскрылось, он, критик, в него заранее верит. Это и будет раскрытие «тайны русской жизни», которую читатель увидит вслед за творцом «Мертвых душ» и с его помощью. Белинский подхватывает ту же фразу, наполняя ее острым, ироническим смыслом. «Не знаем, как, впрочем, раскроется содержание «Мертвых душ» — это значит, не знаем, удержится ли автор на уровне первого тома, не впадет ли в фантазирование и в идеализацию, ибо мировое содержание русской жизни («тайна») еще не выработалось и «еще негде его взять, а на «нет» и суда нет» (17, VI, 255).

Все это определило и различное отношение к жанру «Мертвых душ». «Да, это поэма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость и важность своего дела», — писал Аксаков. Первичное обоснование жанра очевидно: ведь «Мертвые души» воскрешают эпическое созерцание гомеровского типа; следовательно, определение «поэма» здесь уместно как нигде. Это и есть «акт творчества» («созерцания»), но, кроме того, К. Аксаков обосновывает жанр произведения и содержанием, причем очень решительно и откровенно. Поэмы Гомера выразили все значение древнегреческой жизни — «Мертвые души» откроют тайну русской жизни. Аналогия нуждалась в продолжении; напрашивалась мысль о том, что в современном мире поэма Гоголя займет то же место, что гомеровский эпос в мире древнем.

Вот с этой-то постановкой «Мертвых душ» на особое, исключительное место, совершаемой с помощью слова «поэма», Белинский и не мог согласиться. Первоначальное отношение его к жанровому определению книги было терпимым и даже одобрительным: «поэма» воспринималась как знак сложности произведения, выстраданности ее смысла, далее как знак отклонения от сатирического шаблона, от дидактических тенденций и т. д. Но по мере развития спора с Аксаковым менялось отношение критика и к жанровому обозначению книги. «Не зная, как, *впрочем, раскроется содержание* «Мертвых душ» в двух последних частях, мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал «поэмою» свое произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение». Проникнуто юмором—это не значит, что названо поэмою «для шутки», как считали Греч, Полевой и т. д. Это значит, что жанровое обозначение так же двойственно, как и вся поэтическая система произведения, сочетающая в себе серьезное и смешное, обнаруживающая смех сквозь слезы.

Однако Белинский видит, что Аксаков наполняет слово «поэма» совсем другим смыслом и что это наполнение, возможно, будет отвечать авторской тенденции. Поэтому он готов теперь усомниться и в самой правомерности жанрового обозначения. «Если же сам поэт почитает свое произведение «поэмою», содержание и герой которой есть субстанция русского народа,—то мы не обинуясь скажем, что поэт сделал великую ошибку: ибо, хотя эта «субстанция» глубока и сильна и громадна... однако субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только...» (17, VI, 419—420). Так спор о жанре возвращает нас к историко-философской системе мировой истории и соответственно к концепции развития художественных форм.

\* \* \*

Остается сказать еще об отношении к спору современников, в частности Шевырева, славянофилов и самого Гоголя.

Статья К. С. Аксакова писалась для «Москвитянина», но была отклонена редактором Погодиным и вышла отдельной брошюрой. «...Будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего,—писал об этом инциденте С. Т. Аксаков, разделявший позицию своего сына и считавший, что тот указал «истинную точку, с которой надобно смотреть» на «Мертвые души» (4, с. 159).

Главную роль в отклонении статьи сыграл Шевырев, ведущий критик «Москвитянина». Сделал он это, как считается, якобы потому, что был «из лагеря» Николая Филипповича Павлова, т. е. отрицательно относился к «Мертвым душам». Но мы видели, что отношение Шевырева к поэме было отнюдь не негативным. Позитивная оценка К. Аксаковым «Мертвых душ» сама по себе не могла встретить противодействие у Шевырева. Шокировала концепция, основная идея статьи, заключавшаяся в том, что в «Мертвых душах» воскресло эпическое созерцание Гомера. На этот мотив отклонения статьи достаточно ясно указал С. Т. Аксаков, считавший, однако, что Шевырев был не последователен и сам повторил некоторые мысли автора брошюры о сходстве Гоголя с Гомером (4, с. 161—162).

Но это не вполне соответствовало действительности. Шевырев на самом деле оказался недостаточно историчен в разборе развернутых сравнений Гоголя, сближая их (как и К. С. Аксаков) с соответствующими сравнениями Гомера и не видя между тем и другим принципиальной разницы. Однако общую характеристику художественной манеры Гоголя критик строил на более сложную координатах мировой литературы. По его мнению, гоголевское искусство слагается из «богатой живописи внешнего мира» и из описания мира внутреннего. Первая сторона развилась в Гоголе под влиянием Гомера, Ариосто, Данте и др. Вторая же сторона представляет «ясное созерцание всего внутреннего человека в различных его видах. В этом отношении Гоголь является достойным учеником поэзии севера, и особенно Шекспира и В. Скотта». Своей концепцией двух «сторон» и их сочетания, синтеза Шевырев ближе к развивавшимся в то время историко-философским системам. И в статье К. С. Аксакова отпугнуло Шевырева, видимо, то, что тот вступил в резкое противоречие с главными положениями русской и западноевропейской эстетики. Отпугнула сенсационность и предчувствие литературного скандала.

(Когда брошюра Аксакова вышла, Шевырев, не без злорадства, увидел, что его опасения оправдались: «Всеобщий хохот читавших брошюру Константина Аксакова, даже и его стороны, был ему возмездием за гордость... Даже Белинский в «Отечественных записках» сказал ему дело».— 14, VI, с. 298.)

«Сторона» К. С. Аксакова, то есть его ближайшие друзья по славянофильской партии, вначале поддержали выдвинутую идею. «Когда стал я говорить о «М. д.», то нашел согласным с собою Хомякова и Самарина»,— сообщал К. С. Аксаков (4, с. 176). Но по выходе брошюры, под влиянием споров, как верно подметил Шевырев, и друзья Аксакова стали находить в ней не

все приемлемым. А. С. Хомяков писал К. С. Аксакову 24 июня 1842 года: «Я, как вам известно, вполне разделяю с вами мнение о М[ертвых] душах и об авторе и о том, что в нем заметно воскресение первобытной искренней поэзии; но не прогневайтесь за некоторые критические замечания. Жаль, что вы не назвали несколько имен великих поэтов, задавших себе большие задачи, но не вполне разрешивших свои задачи. Это пояснило бы мысль вашу, и даже благоговение, с которым вы называли бы Гете или Шиллера или Байрона, показало бы, что в вас не пристрастие, а чисто эстетическое чувство. Краткий разбор которого-нибудь из них был бы крайне поучителен: он содержал бы новое воззрение на искусство и на его объективность, весьма возможную даже при полном преобладании субъективности в самом поэте. Эту искренность поэзии можно приписать русской словесности во многих случаях более, чем другим, гораздо богатейшим и высшим в других отношениях» (96, с. 329, 330). Хомяков смягчает выводы автора брошюры, он советует отметить сходные тенденции и у других, западных писателей, советует представить дело таким образом, что русский художник лишь увенчал эти усилия, осуществил их более успешно и полно. Все это — шаг в сторону философского историзма в понимании литературного процесса.

Наконец, два слова об отношении Гоголя к полемике. К. С. Аксаков сильно рассчитывал на сочувствие автора «Мертвых душ», но вышло иначе: Гоголь остался брошюрой недоволен. С. Т. Аксаков объясняет это не столько «смыслом» брошюры, сколько тем, что она явилась не вовремя (4, с. 162). Мнение Аксакова-старшего основано на собственных словах Гоголя из письма к нему от 18(6) августа 1842 года: «...Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять «Мертвых душ» с первого раза? — оскорбит многих. Мой совет — напечатать ее зимою, после двух или трех других критик» (XII, 93).

Однако, по-видимому, вопрос заключался не только в несвоевременности появления брошюры, то есть не только в привходящих обстоятельствах. Все чаще и чаще проскальзывают в письмах Гоголя фразы, свидетельствующие о том, что он был недоволен и самой брошюрой. 18 марта н. ст. 1843 года Гоголь пишет С. Т. Аксакову, что «брошюрка» в «основании своем замечательная вещь», но — прибавляет он наставительно — «разница страшная между диалектикою и письменным созданием

и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем...» (XII, 151). Упреки в незрелости, в детскости, в недостаточной житейской мудрости постоянно возникают теперь, когда Гоголь заводит речь о К. С. Аксакове и его брошюре.

Видно было, что Гоголь внимательно вслушался в разгоревшуюся полемику и сделал из нее выводы не в пользу Аксакова, хотя некоторые положения статьи, например, установление в поэме гомеровской традиции, писателю были, конечно, близки.

Смущал Гоголя категоризм суждения молодого критика, резко противоречивший тому умонастроению, которое вырабатывалось у писателя в пору его работы над II томом. «В этот момент строения личности аксаковская попытка сказать о поэме «последнее слово» не могла не показаться ему преждевременной и юношески несдержанной» (12, с. 19). Но эта «попытка» могла показаться Гоголю не во всем справедливой и истинной по существу. Достаточно напомнить, с каким вниманием отнесся писатель в пору работы над первым томом к достижениям Пушкина, Вальтера Скотта, Филдинга, Ариосто, не говоря уже о Сервантесе и Шекспире (все это были, согласно принятым концепциям, представители новой формы искусства), чтобы увидеть, как расходились гоголевские устремления с главенствующей тенденцией К. С. Аксакова.

## ГЛАВА XII

ЧИТАТЕЛЬ  
И ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Появление первого тома создало новую ситуацию, характеризующую отношение читателей к автору и к его труду. Ситуацию редкую, подобную которой русская литература еще не знала.

Читатель получил в руки произведение большого эпического объема, со своим сюжетом, развитием действия, взаимоотношением персонажей и т. д. И в то же время это произведение было незаконченным, представляло собою часть — и при том меньшую! — всего труда.

Что узнавал читатель из первого тома о продолжении поэмы? Что еще «две большие части впереди» и, следовательно, произведение будет состоять из трех томов. Что ведущим персонажем по-прежнему останется Чичиков, сопровождаемый автором как невидимым соглядатаем («еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку»). Что сюжет по-прежнему будет развиваться на пикарескной основе, определяемой уже затеянной аферой с мертвыми душами, а также и другими, более существенными проделками Чичикова (на это намекает фраза, что герою «придется разрешить и преодолеть... более трудные препятствия»).

Сообщалось и о том, что еще длительное время сохранится в поэме принятый типаж персонажей («идти об руку с моими *странными* героями») и установившийся угол зрения на все происходящее («сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы»). Вместе с тем указывалось, что появятся иные образы, более значительные («предстанут колоссальные образы») и откровенно положительные... Намечались и разновидности положительного типажа, набрасывались их контуры («муж, одаренный божескими доблестями» и «чудная русская девица»,

«со всей дивной красотой женской души»). Предсказывалось и изменение угла зрения: вместо смеха сквозь слезы — тон, который дважды определен как «величавый» («величавый гром других речей», «величавое лирическое течение»).

И «старое» вместе с «новым», а точнее переход «старого» в «новое»; изменения типажа, интонации, общего строя («двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт») — все должно было привести к разрешению тех вопросов, которые со страстью и силой поставлены в первом томе. Вопросы о самом существенном и важном в русской жизни. «Что пророчит сей необъятный простор?» «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ?» Первый том не давал «ответа». Читатель вправе был надеяться, что его дадут последующие тома. Сама тайна русской жизни, предназначения России должна была раскрыться в поэме.

Но почему следует говорить о новизне ситуации, в которой оказались читатель и новое произведение? Конечно, и до «Мертвых душ» русская литература знала многотомные прозаические произведения, но обычно все тома каждого из них выходили одновременно. В один год вышли две части романа некоего Геннадия Симоновского «Русский Жилблаз» (1832), шесть частей «Семейства Холмских» (1832) Д. Н. Бегичева, четыре части «Ивана Выжигина» (1829) Ф. В. Булгарина (последний пример особенно ярко запечатлелся в сознании современников) и т. д. Если же тома издавались не одновременно, то все же разрыв между ними был незначительный: так, I и II части романа А. Ф. Вельмана «Странник» появились в 1831, а часть III — уже в следующем году.

Ожидалось, что так же будут выходить и тома гоголевской поэмы.

Незадолго до сдачи в печать первого тома М. П. Погодин поместил в «Москвитяине» (1841, вып. 2, отдел «Литературные новости», с. 616) следующее объявление: «Гоголь написал уже два тома своего романа «Мертвые души». Вероятно, скоро весь роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем году». Это преждевременное известие, доставившее Гоголю неприятные минуты, исследователи объясняют тем, что Погодин неправильно понял слова писателя: «Занимаюсь... продолжением „Мертвых душ“» (см. VII, 397). Однако ошибка Погодина была предопределена литературной традицией: он знал, что если писатель приступает к изданию своего произведения, значит, в целом или в основном оно уже завершено и вскоре будет издано полностью. Между тем с «Мертвыми душами» дело обстояло совсем иначе.

В этом смысле русская литература знает, пожалуй, лишь один прецедент, но то было не прозаическое произведение, а поэтическое. А именно — пушкинский «Евгений Онегин», издание которого растянулось на семь лет (с 1825 по 1832). Сходство началось не только в хронологической протяженности, но и в вытекавшей отсюда установке на особую творческую историю, особые принципы работы: замысел произведения должен был созревать и оформляться постепенно, вместе с развитием и движением самого автора и обнимавшего его потока жизни.

Однако с «Мертвыми душами» дело было много сложнее, чем с пушкинским романом в стихах. Уже особенности жанра предопределяли различие: читатель Гоголя ожидал не очередную маленькую главу, а очередной объемистый том. Самое же главное отличие создавалось особым, так сказать, провиденциальным заданием «Мертвых душ», заявленным в первом томе и, следовательно, обещающим свое последующее раскрытие. Все произведения до Гоголя несли в себе как бы свою собственную тайну; «Мертвые души», сверх всего этого, еще тайну русской жизни и предназначения России.

Опубликованием первого тома Гоголь создал не только ситуацию активного читательского интереса, но интереса, особым образом направленного и настроенного. Настроенного на очень важный ответ, снимающий то напряжение, те противоречия, которые обозначились началом произведения. Отсюда страстность и напряженность самих читательских ожиданий.

Едва успев прочитать первый том, 6 июня 1842 года М. Карташевская спрашивала С. Т. Аксакова: «Еще скажи мне, написаны ли уже другие две части «М[ертвых] д[уш]» и скоро ли мы можем надеяться прочесть их? Что будет в них! Как выше всякого выражения будет то удовольствие, которое обещает он нам! Как велики должны быть наши надежды, когда он сам объявляет, что „*явятся чудные образы и всё повергнется в прах*“» (4, с. 163). М. Карташевской вторил сам С. Т. Аксаков. «Прочту ли я остальные части «Чичикова»? — писал он Гоголю 3 июля того же года. — Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого, столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома „Мертвых душ“» (4, с. 157).

Н. М. Языков заметил в письме к родным от 1 декабря 1842 года: «Продолжение «Мертвых душ» должно быть важнее по части искусственной и творчества, чем эта первая часть» (ЛН, т. 58, с. 640). Так велика была надежда, возлагаемая на «продолжение» поэмы! «...Все ждут второго тома, — писал в январе 1843 года Д. Н. Свербеев, — друзья Гоголя с некоторым опасени-

ем, а завистники и порицатели, говоря: посмотрим, как-то он тут вывернется» (102, IV, 104).

Ожидание второго тома принимало различную эмоциональную окраску, от поверхностного любопытства до глубокого интереса, от участливых опасений до злорадного предвкушения неудачи. При этом внешне сходная реакция прикрывала подчас различные мотивы. Среди «друзей Гоголя», с опасением относившихся к продолжению труда, были, например, и Белинский и С. Т. Аксаков. Белинский просто не верил в реализацию обещанной позитивной программы, считая ее утопической и реакционной, и поэтому говорил о будущих томах с иронией и тревогой: «...нам как-то страшно, чтоб первая часть, в которой все комическое, не осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить трагические элементы, не сделались комическими—по крайней мере в патетических местах...» (17, VI, 418). С. Т. Аксаков же горячо желал осуществления гоголевского замысла, но не мог заглушить в себе внутренних сомнений: удастся ли выполнить задуманное и будет ли результат достаточно убедительный и весомый. В конечном же счете он полагался на волю и художественный талант творца «Мертвых душ», обращая к нему искренние и несколько наивные просьбы «ускорить» ход событий: «...теперь много обстоятельств требуют,—писал он 8 февраля 1843 года,—чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько... Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, такое ли содержание второго тома, чтобы зажать рот врагам вашим?.. Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе» (4, с. 182).

Гоголь знал об этих ожиданиях: ведь приведенные вопросы и советы адресовались непосредственно к нему или доводились до его сведения третьими лицами. Гоголь сознавал и необычность, новизну и ответственность положения, созданного выходом первой части, входил в него всеми чувствами, стремился разрешить наилучшим образом.

В это время усилился его интерес к критическим отзывам о поэме. Каждое суждение, каждое слово ловит он с жадностью. Друзей просит не щадить его, сообщать замечания—не общие, а дельные, конкретные и не похвальные, а критические. «До сих пор я еще ничего не слышал, что такое мои Мертвые души и какое производят впечатление, кроме кое-каких безотчетных похвал, которые, клянусь, никогда еще не были мне так досадны и несносны, как ныне,—писал Гоголь Жуковскому 20 июля 1842 года,—грехов, ukazания грехов желает и жаждет теперь

душа моя!» (XII, 71). Получив письмо Жуковского с кратким отзывом о поэме и обещанием поговорить о ней подробнее при встрече, Гоголь возрадовался: «Судя по всему, дело, кажется, не обойдется без ругани. Это я люблю... Я и прежде любил, когда меня побранивали, а теперь всякое слово упрека в грехе для меня червонец» (XII, 180).

Чтобы услышать побольше желанной «ругани», Гоголь вынужден ловить толки в среде своих заведомых недоброжелателей и врагов. Уполномочивая Анненкова собирать сведения, Гоголь (в письме от 10 февраля 1844 г.) ставит условия: «...круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, стало бытъ от них что от козла молока. Нельзя ли чего-нибудь достать вне этого круга, хотя чрез знакомых вашим знакомым, через четвертые или пятые руки?» Напомним, что «круг», в котором преимущественно вращался Анненков — это кружок Белинского; в циркулировавших здесь положительных толках о «Мертвых душах» Гоголь заранее уверен и потому направляет внимание своего корреспондента в другую сторону: «Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого? (каково звучит словечко «салон» в применении к этим лицам! Между тем Гоголь, по-видимому, приносит его совершенно серьезно.—Ю. М.). В какой силе и степени их ненависть, или уже превратилась в совершенное равнодушие? Я вспомнил, что вы можете узнать кое-что об этом даже от Романовича... Он, без сомнения, бывает по-прежнему у них на вечерах... Не дурно также узнать мнение обо мне и самого Романовича» (XII, 255—256). Все имена здесь выбраны со значением: Греч, Сенковский и Н. Полевой уже выступили с враждебными рецензиями на «Мертвые души»; редактор «Северной пчелы» Булгарин поддержал позицию своего соредатора Греча. Что касается одноклассника Гоголя по Нежинскому лицее В. И. Любича-Романовича, то положение мелкого, малоталантливого литератора ставило его в зависимость от упомянутых выше лиц; к тому же Гоголь знал, что отношение Любича-Романовича к нему было не всегда дружественным.

В ответе Гоголю (до нас не дошедшем) Анненков сообщил некоторые из собранных им «сведений о толках на книгу», но при этом не скрыл, что осуждает недоброжелателей писателя. Гоголь вынужден был прочитать своему корреспонденту нотацию (в письме от 10 мая н. ст. 1844 г.): «...ваши собственные мнения... смотрите за собой: они пристрастны... Гнев или неудовольствие на кого бы то ни было всегда несправедливы...» (XII, 297).

С живым нетерпением и острым интересом относился Гоголь и к печатным откликам на «Мертвые души». Его письма к друзьям пестрят просьбами присылать ему рецензии, но эти просьбы выполнялись с опозданием и неполно. Лишь весной 1843 года Прокопович отправил с Моллером, ехавшим в Мюнхен, посылку — в ней «всё, что об нем [Гоголе] было только написано во всех русских журналах, газетах и пр.» (ЛН, т. 58, с. 660). Здесь, в частности, содержались и статьи Белинского (102, IV, 53—54). Летом того же года Моллер передал Гоголю посылку, но какова же была досада последнего, когда он обнаружил, что комплект не полный: нет «критик Сенковского». Это заставило Гоголя обратиться с новыми просьбами к другим лицам, в частности к Щепкину. «Сколько я ни просил об этом, никто не исполнил» (XII, 299), — пожаловался писатель П. В. Анненкову в мае 1844 года.

Неутолимый интерес Гоголя к критике самого различного свойства, нередко заведомо несправедливой, объясняется отчасти присущей писателю способностью обращать в свою пользу любые суждения, извлекать из них рациональное зерно. «Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву со всякой дряни» (XII, 117). Но помимо чисто художнического стимула, здесь действовал и другой — нравственный и социальный. Гоголь смотрит на критику первого тома в свете вырисовывающегося перед ним продолжения труда. Замечания нужны ему для определения степени недовольства, и возрастание этой степени не пугает его, а наоборот — радует. Он потому готов выслушивать любые толки и возражения, что убежден: в завершенном своем виде поэма снимет все возражения. Словно абсолютная истина откроется и всех убедит и примирит с собою.

Критики поэмы один из главных ударов направили на лирические места, отмечая их необеспеченность материалом произведения. Гоголь признает это противоречие, но считает его перспективным и в конце концов подлежащим снятию. «Не пугайтесь... вашего первого впечатления, — пишет он С. Т. Аксакову 18(6) августа 1842 года, — что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда; потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть». Заметив, что его «сочинение... с такими погрешками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков...», Гоголь нарисовал многоговорящий образ. В первоначальном шествии «Мертвых душ» есть что-то от шутов-

ской процессии, которая чудным образом преобразится в шествие торжественное и триумфальное. Внезапность, неожиданность, чудо выступает посредником в преобразовании, в переходе от низкого к высокому. «...В то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все, и никто не верит чудесам,—в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес» (XII, 93, 96).

Но это значит, что и свою собственную позицию Гоголь осмыслил в рамках созданной им ситуации. Еще на первых стадиях работы, по крайней мере с началом заграничного этапа, когда открылось великое общественное значение готовящегося труда, Гоголь всемерно стал выдвигать вперед определенные аспекты своей авторской позиции. Это была позиция писателя-пророка, говорящего соотечественникам всю правду и обреченного за это на одиночество, непонимание и брань. Таким складывался образ автора на страницах создававшегося первого тома и параллельно в гоголевской переписке и общении с друзьями и знакомыми. Выход «Мертвых душ» добавил к этой позиции существенную краску: теперь намеченный образ соотносился уже с готовым результатом, с вышедшим первым томом, а также готовящимся и всеми ожидаемым продолжением. Вызванные этим событием толки, пробужденные эмоции сами взаимодействовали с образом автора, сделались средою его бытования и функционирования.

Художественная сфера оказалась разомкнутой, обнимая не только позицию автора, но и поведение многочисленных его толкователей и оппонентов.

То, что ими переживалось и говорилось, приобретало не только общественный, но и эстетический эффект, так как играло роль реплики или некоего психического жеста в происходящем художественном действе. И Гоголь как его центральный персонаж и одновременно режиссер готов все учесть, всему найти свое место и назначение.

Ему, например, важно было недоумение и прямое непонимание читателей—иначе говоря, участников действия, так как все это со временем должно обратиться в свою противоположность—в понимание и принятие. Больше того, самая ненависть к создателю «Мертвых душ», оказывается, входит в его творческие расчеты. «...Ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть, даже долгого» (XII, 144). Это как струя в общем эмоциональном потоке, как необходимое условие будущего катарсиса.

С выходом последнего тома должно завершиться не только произведение, но и вся созданная им авторско-читательская

ситуация, а значит и разыгранное в реальности общественно-литературное действо. Так широко был поставлен вопрос о «Мертвых душах». Повторяем, более широкой постановки русская литература еще не знала.

## ГЛАВА XIII

---

# В РАБОТЕ НАД ВТОРЫМ ТОМОМ

---

Первые месяцы 1842 года ушлы у Гоголя на хлопоты по изданию первого тома. Одновременно писатель обдумывает второй том, начатый еще, как мы помним, в 1840 году. 18 июня 1842 года В. С. Аксакова сообщает М. Г. Карташевской, что «вторая часть» у Гоголя вырисовывается «ясно в голове, это он сам говорит» (ЛН, т. 58, с. 628). Был достигнут уже определенный результат, которому предшествовала напряженная внутренняя работа.

Еще до выхода книги из печати, 17 марта, Гоголь пишет Плетневу, что первый том «больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится», и что труд «занял меня совершенно всего» (XII, 46). В письме к Данилевскому (от 9 мая) Гоголь варьирует сравнение: первый том — «преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит, наконец, загадку моего существования» (XII, 58). И снова тот же образ — в письме к Жуковскому, написанном уже по выезде из России, 26 июня н. ст., в Берлине: первая часть «мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором насскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах...» (XII, 70).

Гоголь ухватился за найденное им сравнение ввиду его смысловой емкости, двусмысленности. Строится произведение со своим каркасом, сюжетом и т. д. Но строится оно в духовном лоне своего создателя; следовательно, строится, душевно складывается и сам автор.

В это время Гоголь много размышляет о воспитании, о наставничестве, о науке жизни, то есть именно о тех проблемах, которые отражены в первой главе второго тома (судьба Тентетникова). Еще в 1841 году в записной книжке он пометил: «Развить статью о воспитании во 2-й части» (VII, 318). Внося последние штрихи в одиннадцатую главу, содержащую жизнеописание Чичикова, Гоголь, по-видимому (как уже отмечали исследователи), рассчитывал перекинуть мост к главе о Тен-

тетникове во втором томе. В гоголевских письмах 1842 года немало прямых переключек с биографией Теттетникова. В письме к П. В. Нащокину от 20(8) июля 1842 года Гоголь очерчивает перед ним главные обязанности «наставника»: «Жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а не мертвая наука» (XII, 75). На отличии жизненной науки от внешней, схоластической, строит свою педагогическую деятельность и учитель Александр Петрович (кстати тоже именуемый «наставником», «необыкновенным наставником»): «Он утверждал, что всего нужнее человеку наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заняться преимущественнее».

В 1842 году Шевырев опубликовал в «Журнале министерства народного просвещения», а затем отдельным изданием статью «Об отношении семейного воспитания к государственному». Прочитав ее, Гоголь писал автору (2 марта н. ст. 1843 г.): «Ты, без сомнения, и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много, много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выдет продолжение М[ертвых] д[уш], тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись...»

В чем же «сошлись» «Мертвые души» со статьей Шевырева? Критик рассуждает о гармонии между семейным воспитанием и общественным, о том важном моменте, когда отрок из семьи попадает в школу: «Нежное растение отрока, так сильно распутившееся на воле семейного быта, пересаживается в школу — в рассадник, предлагаемый государством». И тут его встречает воспитатель. «Важнейшая трудность для воспитателей состоит в свободе, приносимой детьми из семей; часто не зная, как справиться с нею, они считают за лучшее вовсе уничтожить ее; но воспитатели должны бы помнить, что эта свобода — прекрасное человеческое вещество и что их дело — превратить ее в силу нравственной воли» (101, с. 50, 51). Проведенной Шевыревым параллели между воспитанием истинным и ложным соответствует контраст педагогических систем уже упоминавшегося Александра Петровича и Федора Ивановича.

Вспомним, что и Теттетников пришел в училище из семьи «остроумным, талантливым мальчиком». Александр Петрович, тогдашний директор, был сторонник тактичного воспитания, умело переводящего семейную свободу в русло общественного долга. «Многих резвостей и шалостей он не удерживал вовсе: в первоначальных резвостях видел он начало развития свойств душевных. Они были ему нужны затем, чтобы видеть, что такое именно таится в ребенке. Так умный врач глядит спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающиеся на теле, не истребляет их, но всматривается внимательно, дабы

узнать достоверно, что именно заключено внутри человека». Не так действовал сменивший Александра Петровича Федор Иванович. «В свободной развязности детей первого курса почудилось ему что-то необузданное. Начал он заводить между ними какие-то внешние порядки, требовал, чтобы молодой народ пребывал в какой-то безмолвной тишине...»— и вскоре сумел перечеркнуть все достижения своего предшественника. «Завелись шалости потаенные, которые, как известно, хуже открытых. Все было в струнку днем, а по ночам—кутежи». На подобный результат указывал и Шевырев: «Как часто от нашей чертовой строгости грубеет в отроке благородное чувство, и живая семейная свобода перерождается в скрытую шалость!» (101, с. 51).

Но проблема воспитания входила не только в судьбу персонажа и поэтический строй произведения, но и в душевный строй автора. Свободно воспитывался и сам художник, чтобы быть в состоянии завершить свой труд.

О степени продуманности второго тома можно судить по установленному Гоголем сроку его окончания, 21 мая 1842 г. на прощальной обеде у Аксаковых Гоголь «в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том...» (4, с. 149—150). Обещание Гоголя передает и В. С. Аксакова, месяцем позже, в письме к М. Карташевской: «Вот что сказал Гоголь сам: что ровно через два года выйдет другой—может, и еще гораздо более объемом этого...» (ЛН, т. 58, с. 630). Значит, второй том должен быть закончен к лету 1844 года! Срок небольшой, если учесть, что на первый том ушло пять лет и что новый том будет «более объемом».

В мае 1842 года Гоголь сообщал Данилевскому о своем желании отправиться в Иерусалим к гробу господню (около того же времени он оповестил об этом Аксаковых). Срок устанавливается тот же: два года. Гоголь предполагает отправиться в дорогу только по окончании второго тома, как бы с выполненным обетом. «Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением» (XII, 133).

В мае—в начале июня Гоголь в Петербурге. «Тружусь, работаю с молитвою...» (XII, 65). Над чем именно? Наверное, прежде всего над четырехтомным собранием сочинений, издание которого в это время он поручил Н. Я. Прокоповичу. Но не только над сочинениями—Гоголь читает, запасается материалами, знаниями, как видно из того же письма Н. Н. Шереметевой: «Работать нужно много особенно тому, кто пропустил лучшее время своей юности и мало сделал запасов на старость» (XII,

65—66). «Запасы» нужны Гоголю для его продолжающегося труда.

Во второй половине июня Гоголь в Берлине. В июле—августе в Гашштейне, вместе с Н. Языковым. 28 августа (9 сентября) Языков сообщает родным, что едет с Гоголем, через Венецию в Рим, что Гоголь «здоров», работает— «все утро один с пером в руке» (ЛН, т. 58, с. 636).

Прибыв в Рим 22(4) октября, Гоголь и Языков после кратковременного пребывания в Hôtel de Russie поселились в известном нам уже доме на Страда Феличе. Гоголь расположился в своей старой квартире на третьем этаже, в двух комнатах; Языков—на втором этаже, под ним.

В это время немало часов у Гоголя занимает собрание сочинений—поправки, дополнения, обработка новых, еще не печатавшихся произведений, таких, как «Игроки» или «Театральный развезд». Работа растянулась до октября, а затем еще, в самые последние недели года Гоголь вынужден был устранять «прорехи, нанесенные цензурою» (XII, 132). Но в начале 1843 года он освободился от посторонних дел.

Комментаторы академического издания считают, что только к концу года писатель принялся за «Мертвые души» (VII, 399). Однако работа возобновилась раньше. В феврале Языков сообщает брату: «Гоголь ведет жизнь очень деятельную, пишет много; поутру, т. е. до 5 ч. пополудни... никто к нему не впускается... Что же он сочиняет? Не знаю...» (ЛН, т. 58, с. 651). Гоголь, по своему обыкновению, секретничает, не посвящает в свои дела никого из окружающих. Характерная деталь: после работы Гоголь обычно спускался вниз к Языкову, где собирались и другие русские—А. Иванов, Ф. Иордан, Ф. Чижов. Двое последних оставили воспоминания об этих встречах, но о работе над вторым томом они, как и Языков, ничего не сообщают.

Между тем в России стали уже распространяться слухи, что Гоголь читает новые главы. Такая мысль напрашивалась сама собою; ведь главы из первого тома автор прочитал Пушкину вскоре после начала работы, а с 1837 года приступил к более или менее регулярным чтениям. На этот раз дело обстояло иначе. Н. Языков в письме к А. Языкову и П. Бестужевой от 26 мая (7 июня) 1843 года опровергает «слух, будто бы Гоголь читал в Риме великой княгине вторую часть «Мертвых душ»; это неверно, «тем паче, что эта вторая часть еще не написана» (ЛН, т. 58, с. 664). С опровержением вынужден был выступить и Гоголь (в письме к С. Т. Аксакову от 24 июля н. ст.): «Никому я не читал ничего из них [«Мертвых душ»] в Риме... Прежде всего

я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового». Тут же Гоголь жалуется: «...ничего почти не сделано мною за всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову» (XII, 207). Несмотря на упорный труд, зимние месяцы оказались малопродуктивными. Гоголю в конце февраля ясно, что к обещанному сроку он второго тома не напишет, и устанавливается новая дата — 1845 год.

У Гоголя была особенность: чем труднее шла работа, чем меньше он писал, тем больше читал, забирая «умственные материалы» впрок. Об этом сказал сам писатель в письме к Шевыреву от 6 октября 1843 года: «Потребность чтения теперь слишком сильна в душе моей. Это всегда случается со мною во время антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не могу читать), и потому этим временем я стараюсь воспользоваться и захватить побольше всего, что нужно» (XII, 226).

К своим друзьям, к друзьям своих друзей Гоголь обращается с просьбами о книгах и материалах. Н. Языков в письме от 28 декабря 1842 года (9 января 1843 г.) просит родных напомнить «Старику, что он обещал Гоголю прислать собрание *слов и описание крестьянских ремесел*, им, Стариком, составленное. Гоголь ждет: ему теперь нужны эти оба предмета...» (ЛН, т. 58, с. 646). Старик — это старший брат Н. М. Языкова, Петр Михайлович, этнограф, геолог, историк, знаток Симбирского края. Гоголь познакомился с ним еще в 1839 году в Ганау; вместе они возвращались в Москву, в 1841 году; со слов Языкова писатель внес ряд сведений в свою записную книжку. Новые материалы, без сомнения, нужны были ему для второго тома<sup>45</sup>.

В июле 1842 года Гоголь просил прислать ему «Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества...» (М., 1838), «Хозяйственную статистику России» В. Андросова (М., 1827), «Материалы для статистики Российской империи...» (Спб., 1839—1841), а также недавно перед тем изданное сочинение Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (Спб., 1840). В апреле того же года Гоголь спрашивает издание Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» (Спб., 1837). В октябре 1843 года Гоголь делает новые заказы: сочинения епископа Барановича, Дмитрия Ростовского (его «Розыск о раскольнической брынской вере...»), проповеди Стефана Яворского, комплект журнала «Христианское чтение» за 1842 год, а также вышедшие тома «Полного собрания русских летописей...» (Спб., 1841 и 1843).

Гоголя интересовали преимущественно две группы материалов — сочинения по статистике, этнографии и истории и сочине-

ния религиозного и духовного характера. И то и другое, как писал С. Т. Аксаков, Гоголю было «нужно для второго тома «Мертвых душ» (4, с. 165). Печатные материалы писатель хотел пополнить и письменными сообщениями. Так своему земляку, помещику и уездному судье Н. Д. Белозерскому, Гоголь 30 августа н. ст. 1843 года ставит ряд вопросов, в том числе и такой: «Насколько вообще уездный судья может сделать доброго и насколько гадостей» (XII, 209). А свою московскую знакомую Н. Н. Шереметеву Гоголь просит (в ноябре 1842 г.) извещать его «обо всех христианских подвигах, высоких душевных подвигах, кем бы ни были они произведены» (XII, 127).

Гоголь накапливает сведения, так сказать, по двум линиям, с двумя целями: и для изображения повседневной русской жизни, ее темных сторон и пороков, и для лепки более значительных, позитивных характеров, появление которых предвещалось в первом томе.

\* \* \*

Работа оживилась с переездом Гоголя в Дюссельдорф к Жуковскому 28(16) августа 1843 года, а затем в Ниццу. На второй день после отъезда Гоголя в Ниццу—6(18) ноября—Жуковский извещал Шереметеву: «Он отправился от меня с большим рвением снова приняться за свою работу, и думаю, что много напишет в Ницце» (44, с. 504). Гоголь и Жуковский условились при новой встрече прочитать друг другу написанное: один—перевод «Одиссеи», другой—главы второго тома «Мертвых душ».

Существует версия, будто бы в это время план поэмы претерпел решительное изменение, и Гоголь даже сжег написанные главы второго тома. Родоначалником этой версии был П. В. Анненков: «К той же последней половине 1843 относим мы первое уничтожение рукописи «Мертвых душ» из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностью говорить о совершенном истреблении рукописи II тома в это время, то, кажется, можно допустить предположение о совершенной передаче его, равняющейся уничтожению» (10, с. 123—124)<sup>46</sup>.

С полным «обновлением» поэмы Анненков связывает появление таких лиц, как Костанжогло и Муразов (10, 125).

Для оценки этой версии надо учесть, что Анненков с весны и лета 1841 года не видел Гоголя пять лет—вплоть до середины 1846 года. Переписка же их была случайной и редкой. Следовательно, обо всем происходившем с Гоголем мемуарист судил уже не по личным наблюдениям (как правило, весьма точным и пронизательным), а по опубликованным к тому времени докумен-

там. И в первую очередь по следующему отрывку из письма Гоголя к Жуковскому (от 2 декабря н. ст. 1843 г.): «Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание Мертвых душ. Труд и терпение и даже приневоливание себя награждает меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа» (XII, 239). Слово «хаос» Анненков понял как указание на то, что работа началась заново, с нуля. «Старая поэма была уничтожена; является другая, при обсуждении которой открываются тайны высокого творчества с тайнами, глубоко схороненными в недрах русского общества» (10, с. 124).

Однако слово «хаос» у Гоголя, в характеристике творческого процесса, имело другой смысл. «Сначала нужно набросать *все* как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все...» (4, с. 506). Потом следует удаление «лишнего», «новые озарения, урезы, добавки, очищения слога» и т. д. Словом, из «хаоса» рождается произведение.

Речь шла скорей всего о выработке первой редакции второго тома. Но это не значит, что она только что или недавно перед тем была начата. Первоначальная стадия работы растянулась на длительное время, сопровождалась перерывами, остановками, которые Гоголь не предвидел, когда назначал срок окончания труда. Расположение к творчеству, обозначившееся в Ницце, Гоголь в большой мере создал сам, ибо усилием воли заставлял себя писать.

Это очень важно: настроение Гоголя указанной поры характеризуется не ощущением перелома, а скорее преодолением застоя, паузы. Его советы Языкову о том, как, не дожидаясь вдохновения, добиваться успеха, носят личный характер: «Чего не поищешь, то не найдешь», «Стоит только взять в руки перо, да и писать» и т. д. (XII, 233). Так Гоголь на сей раз и поступил: «Гребу решительно противу волн, иду против себя самого, то есть противу находящего бездействия и томительного беспокойства» (XII, 243).

Нет также оснований считать, вместе с Анненковым, что в этот период происходит какой-то резкий поворот в замысле поэмы, характеризующийся выдвиганием персонажей нового, позитивного толка. Хотя мы не знаем точного времени возникновения Костанжогло или Муразова, но их возможность предсказывалась еще в лирическом отступлении, появившемся на самой последней стадии (конец 1841 г.) работы над первым томом («...предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями» и т. д.). А затем, в 1842 году, Гоголь, мы помним, говорил о значении «лирических

намеков» и «лирической восторженности», которые оправдаются впоследствии. В чем же они должны были оправдаться, как не в персонажах типа Костанжогло или Муразова?

Однако в это время—с конца 1843 года—гоголевское лирическое чувство углубляется; в нем заметна новая краска. Обнаружить ее поможет отношение Гоголя к «Землетрясению» Языкова. «Почти всякий день» читает Гоголь эти стихи, находя созвучные себе мысли и настроение. Под влиянием стихотворения автор «Мертвых душ» дает поэту совет: «Возьми картины из Библии или из коренной русской старины, но возьми таким образом, чтобы они пришлись именно к нашему веку, чтобы в нем или упрек или ободренье ему было» (XII, 378). Лирическая стихия приобретает более конкретные формы, а именно «упрека или ободренья». Это было новое, вернее, новое в старом: так всегда у Гоголя, у которого зерна последующей фазы заключались в предыдущей. Когда в первом томе упоминался «величавый гром других речей», то уже предсказывалось изменение лирического тона. Но теперь оно воплотилось в конкретные понятия—упрека и ободренья.

«Сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить. При всем видимом разврате и суетлоке нашего времени, души видимо умягчены; какая-то тайная боязнь уже проникает сердце человека, самый страх и уныние, которому предаются, возводит в тонкую чувствительность нервы. Освежительное слово ободренья теперь много, много значит» (XII, 421). Поэт исходит из вечного закона, из человеческого предназначения, которому изменили; он апеллирует к чувству долга и одновременно принимает во внимание неуверенность и страх, сопровождающий несправедливые действия. Поэтому его слово и гневно и освежительно одновременно. Нужно, «чтобы в самом ободреньи был слышен упрек, и в упреке ободренье» (XII, 422). Тема упрека-ободрения становится излюбленной у Гоголя. Надо думать, что и другое стихотворение Языкова «К ненашим» (184), этот печально-знаменитый памфлет против Чаадаева, Грановского и Герцена, понравилось Гоголю потому, что он увидел в нем упрек-ободрение, высказанный «для вразумления многих из нас» (XII, 455).

Но необходимо отметить еще одну особенность понимания Гоголем лирической стихии в это время. в конце концов ведь и известный пассаж по поводу старости Плюшкина представлял собою не что иное, как упрек-ободрение: «...забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге» и т. д.

Но это была ламентация общечеловеческого свойства, говорящая о старости, об утрате свежести чувств и т. д. Теперь же Гоголь подкрепляет свои обращения национальными мотивами: «Поощрение слишком важная вещь для русского человека. Можно и распекают и бранить, и при всем том тебя будут молодые люди любить, если и брань и распеканье основаны сколько-нибудь на познании их природы» (письмо к Шевыреву от 2 февраля н. ст. 1844 года — XII, 251). И тот же мотив несколько позднее, в письме к Языкову (2 января н. ст. 1845): «...с русским ли человеком не наделать добра на всяком поприще! Да его стоит только хорошенько попрекнуть, назвав его бабой и хомяком... как из него уже вмиг сделается другой человек. А потому не позабудь, друг мой, что и ты, с своей стороны, можешь много ободрить русского человека» (XII, 445). Гоголь и сам стремится ободрить близких ему людей, например, сестру Анну Васильевну (15 июня н. ст. 1844 г.): «...вперед! и никак не терять присутствия духа!.. И потому веселей и отважней за дело!» (XII, 325).

Отсюда ведет прямая нить к известному лирическому пассажи в первой главе второго тома: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово». Перед нами — упрек-ободрение, вернее, печальная дума по поводу его отсутствия, причем дума, строго мотивированная национальными соображениями. Следовательно, это место могло быть написано (правда, не в приведенной редакции, а скорее всего в другой, предшествующей ей) в период времени с конца 1843 года.

В это время у Гоголя отчетливее обозначается мысль и о необходимости каждому выполнять свой долг, не косясь на других людей и не оправдываясь в «неисполнении своего долга» неблагоприятными обстоятельствами. «Да если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы увидали бы, что на всяком месте, где б ни довелось нам стоять, при всех обстоятельствах, каких бы то ни было, споспешествующих или поперечных, столько есть дел в нашей собственной, в нашей частной жизни, что, может быть, сам ум наш помутился бы от страху... Всяких мнений о нашем веке и нашем времени я терпеть не могу, потому что все они ложны, потому что произносятся людьми, которые

чем-нибудь раздражены или огорчены...» (письмо П. В. Анненкову от 10 мая н. ст. 1844 г.—XII, 298). Обратим внимание: огорченные люди—те, кто вместо исполнения своего долга обвиняют других. Именно в этом смысле говорится о приятелях Тентетникова: «...попалось два человека, которые были то, что называется огорченные люди... Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим»; под их влиянием и Тентетников в своем начальнике «стал отыскивать... бездну недостатков» и т. д. Этим, кстати, ставится под сомнение категоричность выдвинутого еще В. Каллашом тезиса (затем поддержанного П. Сакулиным и В. Гиппиусом), будто эпизод с «огорченными людьми» непременно подразумевает петрашевцев и написан после их ареста в 1849 году (49, с. 234—235; 33, с. 235; 83, с. 464). Непосредственной связи этих строк с делом петрашевцев нет, и они могли быть написаны (в приведенной редакции или в другой, предшествующей ей) и раньше—в период времени с конца 1843 года.

Как же продвигалась работа над вторым томом? Гоголь успел кое-что сделать в Ницце, но меньше, чем хотел. «В Ницце не пожилось мне так, как предполагал. Но спасибо и за то...»—сообщал Гоголь Н. Языкову 15 февраля н. ст. 1844 года. В ответ Языков, уже наслышанный о работе Гоголя, писал: «...но ведь ты не просидел же всей зимы в бездействии, т. е. делал *свое* дело—т. е. писал много!» (81, 1896, декабрь, с. 619).

К периоду пребывания Гоголя в Ницце в 1843—1844 годах относится глухой намек на чтение им второго тома. Много лет спустя А. О. Смирнова вспоминала, что «в Ницце, кажется», Гоголь читал ей «отрывки»: «Дело шло об Улиньке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого...» (25, с. 490—491). Если это свидетельство и верно, то на упомянутый эпизод наслоились впечатления Смирновой от последующих чтений: едва ли в начальных главах поэмы (Гоголь имел обыкновение читать произведение сначала) действие продвинулось так далеко—до женитьбы Тентетникова (тогда еще Дерпенникова) и Улиньки. Скорее всего оба персонажа, со своей взаимной любовью, успевали лишь появиться на сцене.

С десятых чисел апреля Гоголь опять во Франкфурте, в обществе Жуковского. Однако сведений о том, что Гоголь, согласно своему обещанию, что-либо прочел ему из второго тома, у нас нет. По-видимому, он еще не считал написанное достойным быть прочитанным Жуковскому.

В сентябре, после поездки в Остенде и Брюссель, Гоголь поселяется во Франкфурте до конца года. Идет напряженная,

трудная работа. 23 ноября н. ст. он сообщает А. М. Вельггорской, что не сидит «совершенно за делом», но «от дела» не бегаёт и просит бога «о ниспослании нужного одушевления для труда моего, свежести сил и бойкости пишущей руки» (XII, 375). Н. Шереметеву он просит молиться, чтобы послал бог «освеженье моим силам, которое мне очень нужно для нынешнего труда моего...» (XII, 365).

От посторонних Гоголь, по своему обыкновению, держит ход работы в тайне.

И. Е. Бецкий (издатель альманаха «Молодик»), побывавший во Франкфурте-на-Майне в конце 1844 года, вынес впечатление о бездействии Гоголя. Этим впечатлением он поделился 9 января следующего года с А. Тургеневым, который в свою очередь написал в «Москвитянин» (в XXI разделе «Хроники русского в Париже»): «При сем случае он [Бецкий] может известить читателей ваших и о Гоголе, который гнездится над переводчиком «Одиссеи» (Гоголь жил в одном доме с Жуковским.— Ю. М.)... думает, что Гоголь *ничего не пишет*; так ему показалось, но Жуковский извещал меня, что он все утро над чем-то работает, не показывая ему труда своего» (93, с. 243). Жуковский, конечно, знал, чем занят Гоголь, но не задавал никаких вопросов. И писатель ценил его деликатность. «С Жуковским мы ладим хорошо и никак не мешаем друг другу, каждый занят своим» (А. О. Смирновой, 24 декабря н. ст.—XII, 420).

О московских друзьях Гоголя этого не скажешь; те в письмах спрашивали его, как идет работа, торопили, словом, неосторожно касались заповедной темы.

Гоголь раздражался, отмалчивался или отвечал резкостью.

В начале 1844 года Гоголь предпринял шаг, послуживший поводом к невольной мистификации; послал своим московским друзьям «одно средство против душевных тревог» — сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Иисусу Христу...». Вернее, сами книжки — четыре экземпляра — просил купить Шевырева в Москве, а послал только сопроводительные письма, в которых объяснялось значение «душевной книги» и «рецепт употребления самого средства». Купленные экземпляры вместе с письмами Шевырев должен был преподнести Погодину, С. Т. Аксакову, Н. М. Языкову и... самому себе, как объяснил Гоголь, «в виде подарка вам на новый год, исшедшего из собственных рук моих» (XII, 251).

С. Т. Аксаков, узнав, что прибыл сверток от Гоголя, решил: второй том «Мертвых душ»!.. Потом он написал на копии гоголевского письма: «Конечно, мне теперь самому смешно, как я мог убедить себя, что дело идет о «Мертвых душах»! Но мое

ослепление разделяли все наши» (82, 1890, № 8, с. 126). «Ослепление» не было простой случайностью: ведь именно в 1844 году Гоголь обещал закончить второй том; причем, как было условлено, сам он в Россию не придет, а для напечатания пришлет рукопись С. Т. Аксакову. Все совпало, кроме самого главного...

Испытав разочарование, С. Т. Аксаков писал Гоголю по поводу присланного им «рецепта» (17 апреля): «Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника» (82, 1890, № 8, с. 128). Тревогу С. Т. Аксакова разделял и его сын Иван, опасавшийся, как бы духовное «направление» Гоголя «не повредило бы ему в его созданиях», не заставило забыть «мир внешний». «Впрочем,—прибавлял И. С. Аксаков,—появление второго тома «Мертвых душ», если только оно когда-нибудь будет, разрешит наши недоумения и загадки, и тогда, может быть, мы и устыдимся, что не поняли его...» (47, с. 127).

Подобные предостережения Гоголь уже слышал, например, от Белинского, писавшего (в ответе К. Аксакову) о рискованности пути, по которому шел художник... Гоголь извлекал из этих предостережений свои выводы: нужно сделать свою мысль убедительной, наглядной, неотразимой, а это связано, в свою очередь с внутренним самовоспитанием.

«Ты спрашиваешь, пишутся ли М[ертвые] д[уши]? И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть и притом так самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого...» И далее: «Я иду вперед—идет и сочинение, я остановился—нейдет и сочи[нение]. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды...» (Н. М. Языкову, 14 июля н. ст. 1844 г.—XII, 331—332).

В начале 1845 года Гоголь живет в Париже у А. П. Толстого. В марте он возвращается во Франкфурт, а летом—в Гомбург, близ Франкфурга. С места на место его гонит не только потребность в самовоспитании, в «перемене всех обстоятельств», но и ухудшающееся здоровье. Наступает один из самых тяжелых периодов в жизни Гоголя.

24 февраля н. ст., А. О. Смирновой: «...здоровье мое слабеет и не хватает сил для занятий» (XII, 459).

14 марта н. ст., Н. Н. Шереметевой: «...помолитесь о моем здоровье, которое так плохо, как я давно не помню» (XII, 464). Гоголь вновь подумывает о поездке в Иерусалим («как только поможет бог мне дотянуться до будущего года»), но уже не связывает этот шаг с окончанием второго тома.

24 мая н. ст., П. А. Плетневу: «Уведомляю тебя только о том, что я сильно болен, и только одному богу возможно излечить меня... Больше невмочь писать...» (XII, 489).

Через несколько дней, И. И. Базарову, настоятелю русских православных церквей в Германии: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю» (XII, 489).

В конце июня или в начале июля, во Франкфурте, или в Берлине, или в Гомбурге, куда Гоголь поехал в поисках спасительного лечения, и развязалась трагедия. Писатель сжег рукопись второго тома, «пятiletний труд, производимый с таким болезненным напряжением, где всякая строка досталась потрясением...». Гоголь дал единственное хронологическое обозначение всего произошедшего («...в ту минуту, когда, видя перед собою смерть...») — факт, на основе которого Н. Тихонравов и приурочил сожжение рукописи к указанному выше времени (1, с. 514; исследователь датирует сожжение «началом июля 1845 года»).

Вообще единственное свидетельство этого события — рассказ Гоголя в «Четырех письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ» (опубл. в «Выбранных местах...», 1847). Здесь же указаны мотивы сожжения: «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались Мертвые души. Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство... Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высокоом и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе Мертвых душ, а оно должно было бы быть едва ли не главное; а потому он и сожжен» (VIII, 298)<sup>47</sup>.

Итак, в общем виде мотивы неудовольствия автора своим творением сводятся к одному — неубедительность, идеальность изображаемого. Гоголь критикует свой труд по той же линии, что, скажем, С. Т. Аксаков или Белинский — еще одно доказа-

тельство, что их упреки падали на подготовленную почву и принимались автором в расчет. Но Гоголь принимает, усваивает и развивает ту же критику со *своих* позиций, не отступаясь от основного задания поэмы, но только совершенствуя его и уточняя. Позитивное содержание недостаточно приближено к читателю — таков вывод Гоголя. Отсюда следует, что читатель должен видеть к нему, к позитивному содержанию, «пути и дороги», то есть оно должно быть доступно его пониманию, близко его природе (или как говорил Гоголь, «породе»: национальные соображения очень важны для него); вместе с тем это содержание не должно быть изолировано от низкого материала, дрязга жизни: требование об изображении «всей глубины... настоящей мерзости» сохраняет (а может быть, даже и увеличивает) свою силу и для второго тома.

25 июля н. ст. Гоголь пишет из Карлсбада А. О. Смирновой: «Вы коснулись «Мертвых душ»... Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мерт[вых] душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями... Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора. Многое, многое даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято в другом смысле. Была у меня, точно, гордость, но не моим *настоящим*, не теми свойствами, которыми владел я; гордость *будущим* шевелилась в груди,— тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие божией милости, озарить мою душу. Открытием, что можно быть далеко *лучше* того, чем есть человек, что есть средства и что для любви...» (XII, 504).

Комментаторы обратили внимание, что Гоголь пишет здесь «о продолжении «Мертвых душ» уже в прошедшем времени, как о чем-то решительно неудавшемся и оставленном» (VII, 400). Точнее было бы говорить о чередовании времен — прошедшего и настоящего. Тайна «должна *была*» раскрыться, если бы богу «угодно *было*» помочь автору; открытиям «угодно было» озарить его душу... Это значит, что тайна не открылась, милость божия не снизошла на творца поэмы, словом, ожидаемое действие не совершилось и об этом можно говорить уже как о

факте прошедшего времени. Но тайна продолжает существовать, ключ от нее по-прежнему пребывает в душе автора, словом, незавершенное задание поэмы длится в настоящем времени... Чередование времен отражает смутное состояние Гоголя, пережившего кризис, только выходящего из кризиса.

Что же касается характера «тайны», то Гоголь не перечеркивает прежнее задание поэмы, но подтверждает его, настаивает на нем. Он ведь и раньше говорил, что все изображаемое, сверх своего непосредственного, предметного значения, должно приобрести высший смысл. Следовательно, и жизнь «губернии» и описание «нескольких уродливых помещиков» должны вылиться в картину, разрешающую «загадку существования» автора, а вместе с тем — и всей русской жизни. В приведенном письме эквивалентом слова «загадка» выступает тайна, впрочем, и раньше употреблявшаяся Гоголем («И еще *тайна*, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме» — 242). Должны были обнаружиться лучшие возможности русской жизни и русского человека, причем для достижения «лучшего» должны были открыться и средства. Но, видно, не открылись. Последние строки приведенного отрывка перекликаются с позднейшим рассказом Гоголя о том, почему сожжен второй том — потому что не были указаны «пути и дороги» к прекрасному.

Конец июля, август, сентябрь — время постепенного выхода Гоголя из кризисной полосы, пробуждения воли к жизни и к творчеству. Узнав о предстоящем переезде Смирновой в Калугу (муж ее был назначен калужским губернатором), Гоголь дает обстоятельные советы, как ей, будущей губернаторше, оказывать благотворное влияние на ход дел, на нравственность окружающих. Указать соотечественникам «пути и дороги» к прекрасному писатель пытается и конкретно, практически.

На Гоголя постепенно нисходит «какое-то освежение». В двадцатых числах октября он перебирается в Рим, поселяется в новой квартире — на Via de la Stose. «Мне лучше», — пишет он Л. К. и А. М. Вьельгорским. «Мне гораздо лучше, — сообщает Смирновой. — Бог милостив, и дух мой оживет, и сила воздвигнется!»

29 октября н. ст. А. М. Вьельгорской: «...милосердный бог, может быть, вновь воздвигнет меня на труд и подаст силы и высшую всего на свете радость служить ему» (XII, 533).

Гоголь возобновляет труд над вторым томом.

Что же представляла собою рукопись, сожженная Гоголем? По общепринятому мнению, обоснованному еще Н. С. Тихонравовым, самая старая часть дошедших до нас рукописей второго тома — текст пятой тетради. При определении хронологической последовательности редакций решающее значение у Гоголя имеют фамилии и имена действующих лиц, потому что «эти имена и фамилии *устанавливаются*... не вдруг, а *постепенно*». Фамилия одного из персонажей в пятой тетради — Дерпенников, а не Тентетников, как в первых четырех; Костанжогло «носит еще фамилию самой ранней редакции „Гоброжогло“» и т. д. (1, с. 584—585). По-видимому, текст этой главы (сохранившейся не в полном виде) и относится к той редакции, которую Гоголь сжег летом 1845 года. Первые же четыре главы принадлежат к более поздней редакции.

Кстати, приведем еще одну, не обратившую на себя внимания деталь, важную для хронологической перспективы редакций. В заключительной главе (будем так условно называть главу, содержащуюся в пятой тетради) Чичиков говорит о Муразове как о человеке, имеющем «десять миллионов». В третьей же главе соответствующее место выглядит так:

«— ...Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, десять миллионов, говорят, нажил.

— Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, оторопев».

Ясно, что второй вариант представляет собою *развитие* первого: у Муразова, оказывается, не десять миллионов, а все сорок, и это известие производит ошеломляющее впечатление на Чичикова. Но, с другой стороны, очевидно и то, что Чичиков после всего этого не стал бы в заключительной главе говорить о Муразове как о человеке лишь с «десятью миллионами». Его реплика возможна была еще *до того*, как этот мотив получил развитие; последнее же произошло уже после составления той редакции, к которой принадлежит заключительная глава.

Что можно сказать о содержании сожженной редакции на основе сохранившейся главы? Иначе говоря, как соотносится эта глава с четырьмя первыми, относящимися к более позднему тексту?

А. Л. Слонимский считал: «Содержание ее не согласуется с предшествующими частями (нет речи о покупке имения у Хлобуева, о Бетрищеве и Платонове; основная тема — подделка, подделка завещания и пр.). Глава явно относится к другому

развитию сюжета...» (3, с. 446). Однако говорить о «другом развитии сюжета» нет оснований.

Действительно, в центре заключительной главы — подделка Чичиковым завещания умершей тетушки Хлобуева, вернее, разоблачение преступления и его последствия. Но не следует упускать из виду, с одной стороны, то, что возможность этого преступления была намечена еще в четвертой главе, где упоминалась «трехмиллионная тетушка» Хлобуева, отмечался интерес к ней Чичикова («...я бы за этакой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком!») и даже мельком говорилось о некоем претенденте на ее наследство, который «метит в губернаторы»: этот мотив получил развитие в заключительной главе, где открылось участие в деле «самого губернатора», «его превосходительства Алексея Ивановича Леницына». А с другой стороны, афера с мертвыми душами не забыта и в заключительной главе, она лишь отошла на второй план, временно отодвинута новым преступлением Чичикова, которое, однако, все время соотносится с прежними его грехами. Вместе с доносами «на подложность завещания» «явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ»; когда его арестовали, то в руки чиновников попали «бумаги, крепости на мертвые [души]»; сам Чичиков говорит о себе: «...зачем оставить это дело, стольким трудом приобретенное?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно» и т. д. По всему видно, что скупка мертвых душ продолжалась и во II томе, в предшествующих его главах, определяя развитие сюжета. Я уже не говорю о теме «мертвых душ» в ее высшем смысле — как художественном символе, пронизывающем все произведение. Во втором томе такая символичность выступала сильнее, причем в контрасте значений «живого» и «мертвого». «Подумайте не о мертвых душах, а [о] своей живой душе...», — говорит Муразов Чичикову.

Одно из противоречий заключительной главы с предшествующим текстом состоит в том, что Чичиков, собиравшийся ранее купить имение Хлобуева, не является теперь помещиком, и вообще о состоявшейся сделке ничего не говорится. Но вспомним, что Чичикова в IV главе сильно одолевал соблазн: перепродать имение Хлобуева, «оставивши при себе беглых и мертвецов», и вовсе улизнуть из этих мест, не вернув денег Костанжогло, одолженных ему на покупку имения. Чичиков, как отметил В. Гиппиус, «в погибших промежуточных главах так, видимо, и поступает» (33, с. 209). Или скорее — *собирался* так поступить.

В заключительной главе есть важное, еще не понятое место. Генерал-губернатор говорит Чичикову: «Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог;

а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством...» И еще: «...ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!» Комментаторы Академического издания считают, что это место «отсылает читателя к... эпизоду главы XI первой части», где князь «гонитель неправды» пощадил Чичикова, приняв во внимание «трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было». «Это сопоставление,— говорят комментаторы,— как будто позволяет в князе от уцелевшей главы и в «гонителе неправды» из главы XI видеть одно и то же лицо» (VII, 403). Однако и лица и эпизоды здесь разные. В начале заключительной главы Чичиков говорит, что он теперь может «жить в городе, сколько... угодно», намекая тем самым на полученное прощение. Другими словами, в заключительной главе подразумевается какое-то *новое* преступление Чичикова, совершенное не в I, а уже во II томе и в то же время предшествовавшее подделке завещания. Не состояло ли это преступление в том, что Чичиков, исполняя свой план, попробовал улизнуть с деньгами Костанжогло? Если это так, то становится ясным, почему он не стал помещиком (кстати, Муразову Чичиков говорит, что он «два раза уже деревню покупал»; один раз, очевидно,— у Хлобуева). И сюжетная канва второго тома выглядит следующим образом: Чичиков по-прежнему занят приобретением мертвых душ, но при этом дважды, когда предоставляется случай, пускается и в другие авантюры: первый раз— присвоение чужих денег, второй— подделка завещания. И если первая неудача обошлась, то вторая заставила Чичикова покинуть город.

Есть в заключительной главе и другие места, свидетельствующие о направлении сюжета и степени его разработанности в утраченных главах. Так из беседы Муразова с генерал-губернатором видно, что в предшествующих главах фигурировал уже Дерпенников (будущий Тентетников), рассказывалось об его злоключениях (таким образом, Смирнова во время чтений в Ницце в 1843—1844 годах действительно могла познакомиться с этим персонажем) и, в частности, об аресте по политическому обвинению. Генерал-губернатор, с точки зрения Хлобуева, обрек Дерпенникова на слишком суровое наказание, не сделав различия между зачинщиком вроде Вороного-Дрянного (персонажа, который также будет фигурировать в новой редакции) и «юношей», обольщенным другими.

Кстати, о слове «юноша»: комментаторы академического издания полагают, что «степень замешанности ленивого Тентетникова... гораздо меньшая, чем... Дерпенникова» и «в соответ-

ствии с этим герой первой главы в редакции 1843—1845 годов (правильнее: 1840—1845.— Ю. М.) оставался до конца второй части «юношей», тогда как заменивший его позже Тентетников сразу выставлен 32—33 лет» (VII, 404). Однако мнение это неосновательное: ведь «преступление» скорее всего совершено в Петербурге, когда Дерпенников (как и Тентетников) действительно был «юношей», вступив в связь с некими злонамеренными людьми. Отсюда, кстати, можно вывести заключение, что Вороной-Дрянной и есть одно из этих лиц, возможно, даже то главное лицо, которое в позднейшей редакции выступает в качестве «старого плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека».

Упомянем и другие сюжетные и тематические переключки. Описание семейного уклада Хлобуевых, его неспособности воспитывать детей согласуется с соответствующим местом в главе четвертой. Описание новых мыслей Чичикова—о семейном уюте, спокойствии—отсылает читателя к сцене у «Гоброжогло»: соответствующая сцена действительно содержится и в позднейшей редакции третьей главы (но с заменой фамилии Гоброжогло—Скудронжогло и затем—Костанжогло). Появление Вишне-покромова, судя по всему весьма неприятного субъекта, переключается с упоминанием этого персонажа Улинькой во второй главе («пустой и низкий человек»); сама же фамилия его восходит к перечню пород голубей, содержащемуся в гоголевской записной книжке за 1841—1844 годы (VII, 328), и т. д.

Из всего этого видно: сюжетная схема и состав персонажей в первоначальной редакции уже весьма близко подходили к тому, что нам известно по редакции более поздней. Скорее всего Гоголя не удовлетворял не столько сюжет, сколько его воплощение, и когда писатель говорил, что едва «только пламя унесло последние листы... книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде» (VIII, 297), то имелось в виду более полное и естественное развитие этого «содержания», его мотивация и, так сказать, оркестровка.

Следует еще сказать о месте сохранившейся главы в составе всей редакции. Есть все основания считать ее одной из последних, а может быть и заключительной главой второго тома. Комментаторы академического издания уже обратили внимание на «строго выдержанный на протяжении всей этой главы тематический параллелизм с последней XI главой первого тома»: варьирование таких подробностей, как пристрастие Чичикова к чудесному мылу, сообщающему «нежность и белизну щекам изумительную»; развитие мотива бесприютного детства Чичикова и т. д. «Параллели эти позволяют предположить стремление к

симметрии заключительных глав каждой части поэмы» (VII, 403).

Симметрия видна и в том, что в финале каждой части напряжение достигает некой кульминационной точки, после которой наступает спад. И в заключительной главе «кутерьяма, сутолока, сбивчивость» (фраза из первого тома) достигают немислимого предела: «донос сел верхом на донос», распространились невероятнейшие слухи, причем, как и в первом томе, они причудливо связаны с самой аферой Чичикова: дескать «народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души...» и т. д. Затем следует отъезд главного виновника всей этой кутерьмы... Однако и в первом и во втором томе напряжение не полностью снято: за спиной Чичикова остается потревоженный город, выбитый из колеи привычной жизни и ждущий каких-то важных перемен. Во втором томе это состояние еще сильнее и тревожнее: ведь совершенно ясно, что стараниями некоего «молодого чиновника» вскрылось нечто такое, перед чем бледнеют прегрешения Чичикова, что свидетельствует о всеобщем развращении, всеобщей порче нравов, ставящей страну на грань смертельной опасности: «...пришло нам спастись нашу землю... гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих...» Развеять это напряжение, указать «пути и дороги» к спасению или, по крайней мере, намекнуть на существование таких «путей» второй том не смог, в чем, по мнению Гоголя, и был его главный недостаток.

## ГЛАВА XIV

---

### «Я ОСТРЮ ПЕРО...»

---

В только что пережитом кризисе Гоголь видит благотворное испытание, необходимое ему для завершения поэмы. Без него «не воспиталась бы душа моя, как следует, для труда моего. Мертво и холодно было бы все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама *правда*» (XII, 546). Вспомним, что так же расценивал Гоголь и прежний кризис, имевший место пять лет назад, в Вене.

Гоголь чувствует «лет в себе и голову и мысли более свежими»; он «острит перо»; надеется на скорое воплощение замысла. Новая редакция второго тома пишется с трудом, но все-таки пишется. Н. С. Тихонравов не точен, полагая, что для второго тома «Мертвых душ» «с июля 1845 до конца 1846 года ничего не

было написано» (1, с. 545). 16 марта н. ст. 1846 года Гоголь сообщает Жуковскому: «Мне даже удалось кое-что написать из «М[ертвых] душ», которое все будет вам вскорости прочитано, потому что надеюсь с вами увидеться]» (XIII, 43). Встреча должна была произойти, «если не в конце мая, то в начале июня», во Франкфурте, и писатель рассчитывал к этому времени иметь уже готовый материал для чтения.

Вновь меняется решение Гоголя о поездке в Иерусалим: она совершится *после* окончания второго тома, чтобы уж «ехать, как следует, с покойной совестью». А к весне 1847 года через Иерусалим он хочет вернуться в Россию. Следовательно, в течение года с небольшим Гоголь рассчитывает восстановить в новом виде второй том... Бывает, что «попутный ветер сходит на вдохновение наше, и то, для чего, казалось бы, нужны годы, совершается иногда вдруг».

Что касается направления второго тома, то в нем все заметнее практическая установка — указать людям «пути и дороги» к высокому. Охарактеризовав в письме к Смирновой (27 января н. ст. 1846 г.) свое римское окружение, тех светских людей, которые вроде графини Растопчиной погрязли в суете, «еще не избрали поприще и находятся покамест на дороге и на станции, а не дома», Гоголь говорит: «Для них, равно как и для многих других люд[ей], готовятся «Мертвые души»... Тогда только уяснятся глаза у многих, которым другим путем нельзя сказать иных истин. И только по прочтении 2 тома «М[ертвых] д[уш]» могу я заговорить со многими людьми серьезно» (XIII, 35). Выразительно также место из письма к Н. Языкову (5 октября н. ст.): «Нельзя говорить человеку: «Делаешь не так», не показавши в то же время, как должно делать» (XIII, 107). Это параллель к фразе, объяснявшей неудачу первой (сожженной) редакции: «Не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши... путей и дорог к нему...»

Обостряется интерес Гоголя к литературе светского, не религиозного характера, что явно связано с его стремлением к наглядности и, так сказать, материализованности исковых ответов. Он просит прислать ему комплекты «Отечественных записок» и «Маяка» за 1846 год. Интерес Гоголя к обоим журналам, надо думать, вызван замечанием И. В. Киреевского в статье «Обозрение современного состояния литературы» о том, что «Отечественные записки» и «Маяк» «проникнуты каждый своим резко определенным мнением и выражают каждый свое, одинаково решительное, хотя прямо одно другому противоположное направление» (50, с. 195). Незадолго перед тем Гоголь с глубокой заинтересованностью прочел статью Киреевского (она опуб-

ликована в трех первых номерах «Москвитянина» за 1845 г.) и теперь, по рекомендации критика, решил познакомиться с двумя крайними направлениями в умственной жизни общества.

Особенный интерес обнаруживает теперь Гоголь к новейшей беллетристике. «Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда действие возбуждающее... В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно» (Н. Языкову, 21 апреля н. ст. 1846—XIII, 52). Гоголь с похвалой отзывался о «Тарантасе» и «Воспитаннице» В. Соллогуба, читает «Бедных людей» Достоевского, отмечая в «авторе... талант», и сожалеет, что ему прислали только выдержку с повестью, а не весь «Петербургский сборник» (Спб., 1846): «Я бы его прочел, мне нужно читать все новые повести; в них хотя и вскользь, а все-таки проглядывает современная наша жизнь» (XIII, 66).

По-прежнему нуждается Гоголь и в живых впечатлениях своих корреспондентов. А. М. Вьельгорскую он просит (14 мая н. с. 1846 г.): «Говорите даже о том, о чем почти нечего сказать, и описывайте мне даже пустоту, вас окружающую: мне все нужно» (XIII, 66). Интерес к негативному материалу, даже к самой «пустоте» проистекает из стремления найти плавный, убедительный переход от низкого к высокому, выводить «будущее» из «настоящего». «Все позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном *настоящем*, которого никто не хочет узнавать, всяк считает его низким и недостойным своего внимания! Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость» (Смирновой, 6 июня 1846—XIII, 79—80). Вновь появляется параллель к фразе, сказанной непосредственно в связи с неудачей первой (сожженной) редакции: «...нельзя иначе устремить общество... к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости».

И, конечно, по-прежнему нуждается Гоголь в реалиях— конкретном материале, сообщаемом достоверность и плотность его изображению. Ю. Ф. Самарина, служившего чиновником в Министерстве внутренних дел, он просит: «Очертите мне круг и занятия вашей нынешней должности, которою вы теперь заняты, потом круг занятий всего того отделения или департамента, которого часть составляет ваша должность, потом круг занятий и весь объем [обязанностей] того округа или министерства или иного главного управления, которого часть составляет означенное отделение или департамент по числу восходящих инстанций» (XIII, 86).

В июне 1846 года происходит долгожданная встреча Гоголя с Жуковским во Франкфурте; позднее, в июле, они вместе живут в Швальбахе. Но, кажется, обещанного чтения второго тома опять не было. Другие работы, другие замыслы привлекают к себе внимание Гоголя: «Развязка Ревизора», предисловие ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» и наконец «Выбранные места из переписки с друзьями». «Выбранным местам...» отводится особая роль в отношении к еще не завершённому второму тому «Мертвых душ». Но прежде чем перейти к этой роли, следует еще сказать о планах Гоголя по доработке первого тома.

Такие планы возникли у писателя в начале 1846 года. В марте он просит Жуковского отложить для него два экземпляра «Мертвых душ»: «Первая часть мне потребна при писании второй, и притом нужно ее самую значительно выправить» (XIII, 44). Одновременно Гоголь сообщает Плетневу, «что второе издание I части будет только тогда, когда она выправится и явится в таком виде, в каком ей следует явиться» (XIII, 45).

К этому времени или даже к более раннему — к июлю 1845 года, когда Гоголь впервые выразил решительное недовольство первым томом, Н. С. Тихонравов относит происхождение замечаний «к 1-й части»: «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота...» (692—693. См. также: 1, с. 509—515). Действительно, есть ряд фактов, свидетельствующих о том, что заметки не предшествуют работе над первым томом, а написаны *после* его завершения, в тот период, когда Гоголь задумывался над переработкой опубликованной книги.

В заметках перебрасывается мост от первой части ко второй («Противуположное ему прообразование во II [части?], занятой разорванным бездельем»), ставятся вопросы, формулируется задание к продолжению поэмы. Однако данный аргумент не является решающим, так как все это могло быть написано Гоголем и раньше, скажем, в 1840 году, когда он, завершая работу над первым томом, одновременно приступил ко второму. Следует обратить внимание на другое — на тот *угол зрения*, под которым автор замечаний интерпретирует содержание поэмы (как первого, так и второго тома).

Гоголь говорил в «Четырех письмах к разным лицам...», что «последняя половина книги обработана меньше первой» и, в частности, недостаточно «выступает внутренний дух всего сочинения» (VIII; 288). В заметках автор интерпретирует именно «последнюю половину» книги, содержащую изображение городской жизни, причем интерпретирует таким образом, что выступает наружу «внутренний дух» (ср. первую же фразу: «*идея города*»). Но этот «внутренний дух» является одновременно

«внутренним духом всего сочинения»; для заметок характерно употребление абстрактных понятий определенного толка, а именно тех, которые конденсируют впечатление мертвенности и пустоты: «Пустота», «Пустословие», «Преобразование бездельности жизни всего человечества в массу» и т. д. Такой уклон, выдвигание вперед понятий обобщающего, морально-философского толка свойственны Гоголю середины 40-х годов (ср. в приведенном выше письме 1846 года: «Описывайте мне даже *пустоту*»; в заметках это слово пишется с прописной буквы). Гоголь олицетворял, мифологизировал эти понятия, что нашло выражение в замечательном «образе скуки» в «Выбранных местах...»: «Все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки...» (VIII, 416). Вообще параллели из «Выбранных мест...», создававшихся в середине 40-х годов, подкрепляют указанное выше хронологическое приурочение заметок.

Вот один-два примера. В заметках: «Весь город со всем вихрем сплетней...». В «Выбранных местах...»: «Дух сплетней, тупых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений». И там и здесь «сплетня» мифологизируется, превращаясь в некую коварную неуправляемую стихию — «вихрь». Еще одно место. В заметках особенно оттенен такой момент, как вторжение смерти в повседневное течение жизни: «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир». В «Выбранных местах...»: «Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью... и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя» (VIII, 402—403). И там и здесь смерть поражает «нетрогающийся мир».

Наконец, приведем еще один факт, на который уже обратил внимание Тихонравов: «Намеченные в плане «частности» (о причинах ссор дам из-за Чичикова, о чувственных наклонностях дамы приятной во всех отношениях, о поведении ее с мужчинами, о любви к описаниям балов) не встречаются ни в одной из известных редакций «Мертвых душ», от первоначальной до печатной включительно: след[овательно], *они проектированы автором после напечатания этого тома*» (1, с. 515). Сказанное Тихонравовым нужно уточнить: намеки на некоторые из этих «частностей» *есть* в опубликованном тексте. Так Софья Ивановна говорит с иронией об «иных дамах», которые «играют роль недоступных», явно подразумевая Анну Григорьевну, т. е. даму

приятную во всех отношениях. Последняя же подпускает шпильку тем, которые «были равнодушны» к Чичикову, имея в виду, очевидно, свою собеседницу, то есть даму просто приятную. Словом, намечается и соперничество обеих дам и «чувственные наклонности» дамы приятной во всех отношениях, прикрываемые маской недоступности,—но именно намечаются. При доработке книги Гоголь решил развить брошенные намеки, сделав ход действия более мотивированным и полным. Недаром, говоря (в «Четырех письмах...») о недоработанности «последней половинки книги», Гоголь указывал на то, что в ней содержатся «великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены...» (VIII, 288).

К периоду предполагавшейся доработки первого тома следует отнести еще один отрывок, печатаемый под условным названием «Размышления о героях „Мертвых душ“» (690—692). Комментаторы академического издания оспаривают такую датировку, считая, что отрывок относится к периоду работы над первым томом (893). Но едва ли это так.

Прежде всего в отрывке также заметна тенденция к обобщенным понятиям морально-философского толка, выводящим на поверхность «внутренний дух всего сочинения». Упоминаются «пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все[го] опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а куча только одних принадлежащих свету сословий и привычек». Но дело не только в этом. В отрывке повествуется о сложной природе таких людей, как Манилов, Собакевич, Коробочка (предмет, над которым «не задумался» Чичиков), о том, как неразрывно связаны их пороки с достоинствами: например, Коробочка, «не читавшая и книг никаких», умела однако в деревне навести «порядок», «души в ломбард не заложены», «церковь» сохранилась и служба ведется «исправно» и т. д. В. Гиппиус подметил, что в период «Выбранных мест...» «особенное значение в гоголевской теории и практике исправления имеет обращение к добру *искаженных* качеств» (33, с. 174)<sup>48</sup>. «...Мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но... все направлять к добру— даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло» (VIII, 277). Указанный черновой отрывок весь построен на переоценке «задоров», нахождении связи между дурными качествами и добрыми, и эта переоценка, эта связь должны были ответить на главный вопрос, поставленный перед второй частью: каковы «пути и дороги» к прекрасному «для всякого» человека, погрязшего в низменности настоящего, как сделать этот переход естественным и мотивированным.

Наконец, приведу еще одну параллель, совершенно обойденную исследователями. В отрывке содержится фраза: «Но слова, что свет есть живая книга, повторяются нами уж как-то особенно bestолково и глупо, так что невольно хочешь сказать даже дурака тому, кто это произносит». Сравнение «света» с «живой книгой» стало излюбленным у Гоголя в период работы над вторым томом, причем подается это сравнение в ироническом ключе, ибо оно принадлежит к общим местам, трюизмам. Иначе говоря, это сравнение усердно эксплуатирует не кто другой, как Чичиков. В III главе, предлагая Платонову отправиться в путешествие, он говорит: «...видеть свет, коловращенье людей—кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука». В той же главе, объясняя Костанжогло мотивы путешествия: «...одно уже то, чтоб увидеть свет, коловращенье людей... кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука». В четвертой главе—в разговоре с Василием Платоновым: «...видеть свет и коловращенье людей—есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука». Чичиков повторяет сравнение совершенно стереотипно, «bestолково и глупо»—именно так, как обозначено в «Размышлениях о героях...».

Однако и заметки «К 1-й части» и «Размышления о героях „Мертвых душ“» не были реализованы, так как задуманной доработки тома Гоголь не осуществил. 26 июля 1846 года Гоголь уполномочивает Шевырева переиздать поэму «в том же самом виде», в каком вышло первое издание. Единственная новация—предисловие, которое Гоголь обещает прислать позже. И ставит важное условие (в письме от 5 октября): «Мертвые души» должны выйти позже «Выбранных мест...» Читатель должен воспринимать и первый том поэмы, и продолжающуюся работу Гоголя над вторым томом в свете его новой книги.

\* \* \*

«Выбранные места из переписки с друзьями» были завершены в октябре 1846 года (последняя тетрадь рукописи отослана Гоголем Плетневу 16 октября) и вышли в свет в январе следующего года. Специальный разбор книги не входит в задачу настоящего исследования<sup>48а</sup>. Остановимся лишь на тех аспектах, которые важны для понимания судьбы «Мертвых душ».

«Выбранные места...» насыщены мотивами и темами, которые Гоголь вынашивал в сороковые годы, работая над вторым томом. Отсюда—обилие переключек и параллелей.

Мотив упрека-ободрения, под знаком которого Гоголь начал работу над первыми главами и который отразился, в частности, в лирическом отступлении о слове «вперед», был

продолжен в «Выбранных местах...». «Оглянись вокруг: все теперь — предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куда ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь» (VIII, 279). Это сказано по поводу уже знакомого нам «Землетрясения», которое Гоголь считал образцом «лирического воззвания». Автор «Выбранных мест...» и сам готов воззвать к заблуждающемуся, «освежить» его упреком. Рекомендуемое им обращение к нерадивому мужику: «Ах, ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!» (VIII, 323) — обращение не очень-то ловкое и вызвавшее справедливую иронию Белинского, в истоке своем является упреком-ободрением.

Лиризм осмысливается теперь теоретически как необходимое начало искусства современного и преимущественно русского; отсюда происхождение таких статей, как «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», «О лиризме наших поэтов», «В чем же наконец существо русской поэзии...» и т. д.

Способность русского человека воспринять упрек-ободрение обусловлена его национальной «природой», ибо Россия «сильнее других слышит божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного царствия» (VIII, 251). Но отсюда же проистекает и высокая степень негодования, с какой должны обличаться пороки, ибо все они значеуют измену своему предназначению. Причем предназначению не только общему, всей страны и всего народа, но и каждого сословия, звания, профессии, каждого человека в отдельности. На любом «поприще» — помещика, крестьянина, чиновника, судьи, губернатора, жены губернатора, литератора и т. д. — русский человек должен выполнять свое назначение.

Все эти мотивы, повторяю, обозначились у Гоголя с начала 40-х годов. Но в «Выбранных местах...» отразился и тот уклон к действительности, который должен был осуществиться в новой, возобновленной редакции второго тома.

Еще в декабре 1844 года Гоголь писал о необходимости для автора видеть перед собой конкретного адресата: «Ради бога, перед тем как будете писать кому-либо с тем, чтобы подействовать на него и убедить, представьте себе мысленно его всего...» (XII, 443). Константину Аксакову Гоголь советует «вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых...» Гоголь сожалеет, что сам не применил «этот способ»: «Я бы гораздо больше сказал дела...» (XII, 407, 408).

«Выбранные места...» — есть реализация описанного способа. Абстрактное понятие «публики» здесь последовательно дифференцировано на ряд конкретных личностей (воображаемых или реальных — неважно), чьи наклонности и свойства автору хорошо известны. Автор намерен поучать не всех вместе, но вести к желанному идеалу каждого в отдельности. Он педагог и наставник, знающий индивидуальные свойства своих подопечных.

Следует также осознать тот факт, что само сообщение о том, почему был сожжен второй том, Гоголь сделал в «Выбранных местах...». Новая книга выступала невольным антиподом неудавшемуся художественному опыту. Там не удалось указать «путей и дорог» к прекрасному «для всякого». Здесь вся книга являла собою воплощенное, материализованное указание.

Поэтому Гоголь называет «Выбранные места...» «полезной» книгой, «моей единственной дельной книгой», «первой моей дельной книгой» и т. д. Полезность и дельность запечатлены уже в конкретности и императивности преподносимых советов: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Чем может быть жена для мужа...» и т. д. «Советы» — это, кстати, тоже название одной из глав (писем).

Но в отношении к «Мертвым душам» важен еще один аспект новой книги. Написание второго тома затягивалось; Гоголь не выдержал первоначально назначенного срока — 1844 год, не выполнил и последующего срока — 1845 год. Вместе с тем откладывалось и возвращение в Россию. «...Приезд мой мне был бы не в радость; один упрек только себе видел бы я на всем, как человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками, которому стыдно даже и заговорить, стыдно и лицо показать...» «А потому, — просит Гоголь свою корреспондентку А. Смирнову (2 апреля н. ст. 1845 г.), — молитесь... чтобы бог спешествовал моему намерению... и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить... и послать к вам вместо меня в Петербург» (XII, 472). Так «Выбранные места...» отправились в Петербург не только «вместо меня», то есть самого Гоголя, но и «вместо» второго тома поэмы. Это был и акт оправдания — «Приходит время, когда должна объясниться хотя отчасти свету причина долгого моего молчания и моей внутренней жизни» (XIII, 109); но вместе с тем — и своего рода компенсация еще не выполненного обещания, не созданного второго тома. Причем компенсация приобретала особый вид; писатель, по словам Тихонравова, приподнимал «для публики завесу с того нового направления, которое должно было выразиться полно и рельефно в новой редакции второго тома Мертвых душ» (1, с. 546). Это был как бы экстракт «нового

направления», его внехудожественное, преимущественно логическое и публицистическое выражение.

Наконец, это был и пробный шар: Гоголь хотел узнать, как отнесется к «новому направлению» русский читатель и русское общество. Такая проба была ему нужна, необходима для продолжения «Мертвых душ». Результат оказался неожиданным, ошеломляющим... Но прежде чем обратиться к этому вопросу, попробуем охарактеризовать ту стадию, в которую вступила теперь ситуация: читатель и произведение.

## ГЛАВА XV

### «ПРОШУ ТЕБЯ, ЧИТАТЕЛЬ, ПОПРАВИТЬ МЕНЯ...»

Почти одновременно с «Выбранными местами...» вышло в свет второе издание «Мертвых душ» (цензурное разрешение 25 августа 1846 г.), где было помещено предисловие «К читателю от сочинителя».

Гоголь обращается ко всем читателям, любого положения и звания — «почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия» — обращается с просьбой «помочь» ему, автору. Помощь необходима ввиду несовершенства, а то и прямой неправды, которыми якобы отмечены «Мертвые души». «В книге этой многое описано неверно, не так как есть, и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего... Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так, что на всякой странице есть, что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня» (587).

У Гоголя есть и конкретный совет, каким образом читатель должен его поправлять: нужно положить перед собою «лист почтовой бумаги», взять «в руки перо» и «после прочтенья нескольких страниц припомнить «всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался», и набросить все это на бумагу, и посылать автору «всякой лист по мере того, как он испишется, куда таким образом не прочтется им вся книга» (588).

Этот призыв адресован, так сказать, к читателю-документалисту, верному жизненной правде и не отклоняющемуся от нее. Автора он корректирует или дополняет своими наблюдениями и реальным материалом. Но, кроме того, Гоголь предусмотрел в своих планах помощь и такого читателя, кото-

рый наделен художественным даром и способен изнутри апробировать произведение: хорошо если бы этот читатель «проследил бы пристально всякое лицо, выведенное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мной описано: все это желал бы я принять в соображение к тому времени, когда воспоследует издание новое этой книги, в другом и лучшем виде» (589).

Для пользы дела читатель должен видеть перед собою автора, знать, к кому он обращается. Читателю не следует думать, будто автор человек образованный, равный ему по знаниям и «вкусам»; лучше, если читатель «себе представит какого-нибудь деревенского дикаря, которого вся жизнь прошла в глуши, с которым нужно входить в подробнейшее объяснение всякого обстоятельства и быть просту в речах, как с ребенком, опасаясь ежеминутно, чтоб не употребить выражений свыше его понятия» (589—590).

Чтобы все требуемые замечания и отклики не остались втуне, Гоголь позаботился и о том, как переправлять ему корреспонденцию: «Сделавши сначала пакет на мое имя, завернуть его потом в другой пакет, или на имя ректора С.-Петербургского университета его превосходит[ельства] Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо в С.-Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета его высоко[одия] Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет, смотря по тому, к какому какой город ближе» (590).

С опубликованием этого предисловия ситуация — читатель и «Мертвые души» — вступила в новую фазу. По крайней мере, если исходить из собственных суждений Гоголя, если принимать их за чистую монету.

Теперь писателю мало было активного читательского интереса, направленного и настроенного на ожидание великой тайны и ее разрешения. Читатель подключался к самому творческому процессу. Подключался не только на правах адресата создаваемого произведения и даже не только корректного помощника (как поставщика материала, сведений и т. д.), но и на правах соавтора. Читателю вменялась обязанность сотворчества, даже правомочного контроля и определения истинности (или неистинности) изображения, вменялась обязанность исправления сюжетных ходов, мотивировки действия и т. д., словом, он превращался в некую высшую инстанцию, нависшее над автором недреманное око. А вместе с тем и вся ситуация создания «Мертвых душ» перерастала из действия общественно-литературного, каким она

уже была к началу 40-х годов (см. выше, в главе XII), в действо общественно-литературное и творческое — почти коллективно-творческое.

Насколько этот план был реален, насколько он выполнялся «другой стороной», то есть читателями, — это особый вопрос. Трудно также сказать, в какой мере смирился бы сам Гоголь с неограниченным контролем любого читателя, согласился бы беспрекословно принимать любую его «правку». Позднее в «Авторской исповеди» Гоголь пояснял: «Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку...» (VIII, 447). Словом, это род литературной хитрости и лукавства... Отчасти, вероятно, так и было. Нужно однако учесть, что уточнение в «Авторской исповеди» появилось после уничтожающей критики предисловия Белинским (об этом ниже), когда и самому Гоголю стало ясно, что он хватил лишку... В предисловии он все же говорил, не обинуясь, об исправлении текста. Веря или не веря в реальность предложенного пути (скорее всего и веря и не веря одновременно), Гоголь демонстрировал публично определенную авторскую позицию, — и этот фактор был решающим во всей ситуации.

Тем временем автор «Мертвых душ» стал получать письма в ответ на свои просьбы.

Константин Иванович Марков, помещик Лебединского уезда Харьковской губернии, отставной поручик, писал, что предисловие к «Мертвым душам» «ободряет» его «воспользоваться вызовом» и сказать автору все, что он думает. Поэма застала публику «врасплох, и она сама еще не может себе дать отчета, что это такое. Что-то недурно, думает она, но как-то странно, прибавляет она тут же и вместе с тем с жадностью подстерегает выход всякого нового произведения вашего» (102, IV, 550—551).

Федор Васильевич Чижов, один из славянофилов, откликаясь на предисловие, писал Гоголю 4 марта 1847 года: «В первый раз я прочел его [произведение] в Дюссельдорфе, и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадною выставленных характеров не могло — я восхищался талантом, но как русский был оскорблен до глубины сердца. Дошло дело до Ноздрева; отлегло от сердца. Выставляйте вы мне печальную сторону, разумеется, но самолюбию будет больно читать, да есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй страницы, где вы бросили камень в того, кого ленивый не бьет, — в мужика русского. Прав ли я, не прав ли, вам судить, но у меня так

почувствовалось. С душой вашей родится душа беспрестанно; много ли, всего два-три слова, как девчонка слезла с козел, а душе понятно это. Русский же, то есть русак, невольно восстанет против вас, и когда я прочел, чувство русского, простого русского до того было оскорблено, что я не мог свободно и спокойно сам для себя обсуживать художественность всего сочинения». «В душе моей я понимаю вполне, что любовь к России не требует и не вызывает вражды с Западом и вообще любовь не влечет за собою ненависть к чему бы то ни было, но что же хотите, когда она вкрадывается?» (81, 1889 т. 63, с. 369—370).

Письмо Чижова показывает: не все славянофилы разделяли мнение К. С. Аксакова, что в поэме «колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть». Чижову не хватало радужных, светлых красок; многое претило его народолюбию. Национальное чувство его настолько обострено, что он готов каждую деталь, каждую сцену воспринимать изолированно, в зависимости от того, в каком свете представлено свое, родное. Два мужика, рассуждающие о колесе, изображены, по мнению Чижова, с невыгодной стороны; следовательно, это плохо. В Хорзеве есть своя удаль и широта души, следовательно, это хорошо. Девчонка, взятая Чичиковым в провожатые, слезла с козел и «побрела восвосяи, уже довольная тем, что посидела на козлах». Чижову «почувствовались» здесь трогательные ноты, следовательно, это опять хорошо. Собственно художественные достоинства Чижов ощущает, но отказывается их «обсуживать»: все решают пробуждаемые произведением чувства.

О том, насколько распространено было такое мнение, свидетельствуют воспоминания К. Н. Леонтьева. На рубеже 1840—1850-х годов, будучи еще молодым человеком, Леонтьев, по его словам, «за многое питал к нему [Гоголю] почти личное нерасположение. Между прочим, и за «Мертвые души», или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта поэма». «Положим, что безукоризненную и вескую художественность этого произведения я уже начинал сознавать; Белинский своими статьями и Георгиевский своей изустной критикой утвердили меня в этом последнем понимании; но что же мне было делать, если во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений» (58, с. 206). С этих позиций подход Белинского к «Мертвым душам» казался слишком эстетичным, якобы смещающим акцент с содержательности изображения на его художественное совершенство...



---

Чичиков перед зеркалом.  
Художник А. Лаптев.

---



---

Манилов.  
Художник А. Лаптев.

---



---

Коробочка.  
Художник А. Лагтев.

---



---

Ноздрев.  
Художник А. Лаптев.

---



---

Собакевич.  
Художник А. Лаптев.

---



---

Плюшкин.  
Художник А. Лаптев.

---

Стал Гоголь получать и письма с различными материалами. Дмитрий Константинович Малиновский, студент математического факультета Московского университета, откликается на предисловие к «Мертвым душам», прислав листки своей «исповеди». Гоголь отвечал Малиновскому: «Мысль ваша описывать современный окружающий вас люд, по поводу моих «Мертвых душ», очень умна, и я уверен, что это принесет пользу обоюдную как мне, так и вам, а может быть, даже и самой публике, если окажется в ваших записках кое-что приличное знать и другим...» (XIII, 253).

Однако таких писем было немного. Просьбы Гоголя собирать для него материалы, писать записки и т. д. оставались, как правило, безответными, настойчивые призывы и увещания — тщетными.

В. Шенрок вспоминал о беседе с женой А. Данилевского, близкого друга Гоголя: «Ульяна Григорьевна Данилевская рассказывала мне, как долго она спорила при свидании с Гоголем, чистосердечно объясняя свое уклонение от предложенной ей задачи не нежеланием, а неумением, неискусством. Гоголь сначала ни за что не хотел и слушать и не принимал никаких резонов, казалось, он не допускал и мысли, чтобы для кого бы то ни было просьба его могла быть затруднительна...» (102, IV, 707). Но позднее он понял, что «записывание впечатлений и особенно составление живых характеристик» — для большинства дело трудное.

В «Авторской исповеди» Гоголь с разочарованием писал: «Я питал втайне надежду, что чтение Мерт[вых] душ наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки... Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками» (VII, 448).

Не оправдались и ожидания Гоголя — надо сказать, к счастью, — в отношении читательских советов о том, как «поправить» и улучшить первую часть.

Тем не менее предисловие «К читателю от сочинителя» стало событием литературной жизни, фактом творческой истории «Мертвых душ». С глубокой тревогой воспринял его Белинский, который в библиографической заметке о втором издании поэмы (Современник, 1847, т. 1, № 1, см. также: Белинский, X, 51—53) с особенной иронией прокомментировал предполагаемую возможность совместного «творчества» писателя и его читателей. «Итак, мы не можем теперь вообразить всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою «Мертвых душ» на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе... Особенно люди невысокого образования, *невысокой жизни* и

простого сословия должны быть в больших хлопотах: писать не умеют, а надо...» Предисловие усилило тревогу критика за судьбу будущих томов; «...оно грозит русской литературе новою великою потерей прежде времени». Теперь Белинскому еще яснее, в каком направлении будет развиваться позитивное содержание; поэтическое отношение его к жанровому определению книги становится безоговорочно отрицательным («...роман, почему-то названный автором поэмою»).

Встревожило Белинского и обещание издать первый том в переработанном виде. «Боже мой, как вздорожают тогда первые два издания! Ведь до этого, второго, «Мертвые души» продавались по десяти рублей серебром вместо трех...»

Аналогичную точку зрения высказал Валериан Майков в краткой рецензии на второе издание «Мертвых душ». Приведя просьбу Гоголя к читателям присылать к нему «замечания на недостатки поэмы», Майков писал: «Мы полагаем, что величайшее достоинство второго издания «Мертвых душ» заключается в тождестве его текста с текстом первого издания» (Отечественные записки, 1846, т. 49)<sup>49</sup>. В следующем (50-м) томе «Отечественных записок» было помещено «Письмо к Н. В. Гоголю по поводу предисловия ко второму изданию „Мертвых душ“». Автор «письма» «Сто—один» (то есть А. Галахов) едко высмеивал позицию, занятую Гоголем в предисловии: «Воля ваша, это насмешка, одна из выхонок юмористики, в которой обидя и почтение, смирение и гордость так неразделимы, что не знаешь, где оканчивается одно и где начинается другое» (№ 2 отд. V).

Иначе отнесся к предисловию Г. П. Данилевский: «Все подсмеивались над его просьбою—читать его поэму с пером в руке и листком бумаги с боку... Мы забыли, что по тому пути, по которому пошел Гоголь, иначе идти было невозможно. Он творчески изобразил только то, что он видел, что почувствовал, что воссоздал в своей фантазии».

Все это читал или слышал Гоголь, и все это наносило глубокие раны его душе. Источник драматических переживаний коренился уже в созданной самим писателем ситуации.

С одной стороны, Гоголю была свойственна величайшая скрытность и в деле творчества, и тем более, как он говорил, в «деле души». «Души моей никто не может знать...» (XII, 359). Но с другой—читатели получали доступ к тайнам души и творчества писателя, или если не доступ, то все же возможность соприкосновения, контакта, один намек на который производил болезненное действие на весь его нравственный состав.

С одной стороны, Гоголь удалился от света, вел одинокую скитальческую жизнь человека, еще не готового к общению,

занятого внутренним устройением души своей. «Кто воспитывает еще себя, тому не следует и на время заглядывать в свет...» (XII, 384). А с другой—Гоголь демонстративно открывал себя всем треволнениям публичности. «Не заглядывая» в свет, он пригласил свет заглянуть в келью художника и мыслителя, чтобы стать докучливым соглядатаем его внутреннего воспитания.

С одной стороны, Гоголю было свойственно ощущение избранности. То, что надлежит сделать, может сделать только он один. «Я» и Россия, творец «Мертвых душ» и народ—так обозначились полнота еще в первом томе. «Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Между автором и Русью нет посредников; их связь прямая и кратчайшая. По мере работы над продолжением поэмы гоголевское ощущение избранности крепло и усиливалось. «Один, может быть, человек нашелся на всей Руси, который именно подумал более всех о самом *существенном*...» (XIII, 87). И этот человек—творец «Мертвых душ». Но, с другой стороны, каждый читатель любого звания, чина, любой степени образованности или вкуса, умственного развития или душевных качеств оказывался причастным к высокой миссии художника, мог вмешиваться в нее и диктовать свои условия. Пусть эта перспектива во многом была нереалистичной и условной,—она все же не могла не оказывать обратного воздействия на Гоголя. Известно, что для людей с тонкой душевной организацией и повышенной нервной возбудимостью воображаемые положения приобретают силу и наглядность реальных; Гоголь принадлежал именно к таким людям. И то, что было им выговорено и сформулировано, отныне стало фактором творческой истории «Мертвых душ».

## ГЛАВА XVI

---

# ПОСЛЕ «ВЫБРАННЫХ МЕСТ...»

---

Дальнейшая работа Гоголя над поэмой в значительной мере определялась той реакцией, которую вызвали опубликованные им на рубеже 1846—1847 годов произведения: предисловие ко второму изданию «Мертвых душ» и особенно «Выбранные места из переписки с друзьями» (книга вышла 12 января 1847 г.). Полный разбор возникшей вокруг «Выбранных мест...» полемики не входит в нашу задачу. Нам важно подчеркнуть лишь тот аспект, который ближайшим образом связан с «Мертвыми душами».

Гоголь, по крайней мере, тройко соотносил издаваемую им книгу с «Мертвыми душами»: как оправдание в задержке второго тома, как некоторую его компенсацию и как апробирование его смысла и направления—как своего рода пробный шар. В полемике вокруг «Выбранных мест...» все это свелось к конкретному и злободневному вопросу: состоится или не состоится продолжение «Мертвых душ»?

Белинский отвечал на этот вопрос отрицательно. «Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем—потеря человека для искусства» (17, X, 60).

Глубокое разочарование вызвала книга в семействе Аксаковых, особенно у Константина и Сергея Тимофеевича. С. Т. Аксаков порицал «религиозное направление» писателя, губительное для его художественного таланта (82, 1890, № 8, с. 157—160). Свое мнение он сообщил и Гоголю и некоторым его знакомым, в частности, Плетневу и своему сыну Ивану. В ответ И. С. Аксаков писал отцу из Калуги, где в то время служил (30 ноября 1846 г.): «Это из рук вон и грустно, и тяжело невыносимо. Один гениальный художник в наше бедное время, на которого с надеждою обращались глаза, от которого ждали свежего, отрадного слова—и тот гибнет!» (47, с. 399).

Эти строки написаны еще до напечатания «Выбранных мест...», по получении первых о них известий от лиц, прочитавших рукопись. Когда же книга вышла, И. С. Аксаков воспринял ее не столь мрачно и безнадежно. «Слышите иногда истинный, пронзительный голос душевной муки; право, слышатся иногда слезы!—писал он отцу 25 января 1847 года.—Я убежден, впрочем, что все это направление не помешает ему окончить «Мертвых душ», что если «Мертвые души» явятся, если просветленный художник уразумеет всю жизнь, как она есть, со всеми ее особенностями, но еще глубже, еще дальше проникнет в ее тайны, не односторонне, не увлекаясь досадой или насмешкой—ведь это должно быть что-то исполински страшное. Второй том должен разрешить задачу, которой не разрешили все 1847 лет христианства» (47, с. 413). И. С. Аксаков видит перспективу поэмы в духе Гоголя как разрешение тайны русской жизни и даже шире—как художественное воплощение христианского идеала вообще. Никто еще не выполнил этой задачи—Гоголь будет первым в мировой культуре.

Но Сергею Тимофеевичу такая перспектива казалась нереальной, противоречащей природе искусства. «Второму тому я не верю,—писал он Ивану 3 апреля.—Добродетельные люди—не предметы для искусства. Это задача неисполнимая» (ЛН, т. 58, с. 702). Морализирование несовместимо с искусством, и Гоголь-

аскет убьет Гоголя-художника. Так считали Константин и Сергей Тимофеевич Аксаковы, их мнение оказывало влияние и на других членов семьи.

Живя в Калуге, И. С. Аксаков общался с А. О. Смирновой, женой тамошнего губернатора, близкой приятельницей Гоголя. И. С. Аксаков показывал ей письма своего отца или пересказывал их содержание. Смирнова же, со своей стороны, сообщала Ивану Сергеевичу о письмах Гоголя, а последнего ставила в известность о настроениях в аксаковском семействе. Шла подспудная полемика между Гоголем и поддерживающей его Смирновой, с одной стороны, и С. Т. Аксаковым—с другой. Иван Сергеевич поневоле соглашался с отцом.

25 марта он сообщил Сергею Тимофеевичу, что Смирнова получила «письмо от Гоголя<sup>50</sup>, говорит, самое утешительное. Он уверяет ее, что будет второй том Мертвых душ, будет непременно... что он твердо убежден, что можно выставить такие идеалы добра, перед которыми содрогнутся все, и *Петербургские львицы пожелают попасть в львицы иного рода!* Последнее мне не нравится: все же это будут идеалы, а не живые, грешные души человеческие, не действительные лица». Затем Иван Сергеевич передает—и довольно точно—отзыв Гоголя о «московских приятелях», то есть прежде всего о семействе Аксаковых: «Говорит: с моими московскими приятелями не расщудайте обо мне: они люди умные, но многословны» (47, 434. Ср. у Гоголя—XIII, 224).

Отчуждение было взаимным. Гоголь чувствовал, что Аксаковы недовольны им, понимал мотивы недовольства, заключавшиеся в том, что он изменил искусству («...я погиб для искусства»—XIII, 313). Аксаковы же чувствовали, что их недовольство сердит и обижает Гоголя, к тому же они ревниво наблюдали за сближением писателя с Смирновой, а позднее и с ржевским протоиереем Матвеем Константиновским.

Мнение о том, что в «Выбранных местах...» Гоголь изменил искусству, высказывали не только Аксаковы. Посылая Гоголю «все статьи московские» о его новой книге, Шевырев суммировал суждения публики (22 марта 1847 г.): «Главное справедливое обвинение против тебя следующее: зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? Зачем ты пренебрег даром Божиим? В самом деле, ведь талант дан тебе был от бога. Ты развил его, ты не скрыл его в землю. За что же пренебрегать тем?.. Возвратись-ка опять к твоей художественной деятельности. Принеси ей опять твои обновленные силы» (71, с. 48).

А вот мнение брата Николая Станкевича—Александра Владимировича, человека далекого от круга Аксаковых или Шевыре-

ва. В письме к Н. М. Щепкину 20 февраля 1847 года он заметил, что «Гоголь сделался Осипом, только резонерствующим в духе отвратительного ханжества». «Вряд ли после такой книжицы дождемся чего-нибудь путного от Гоголя» (ЛН, т. 58, с. 700).

Многие и из тех, кто сохранял веру в появление последующих томов, все же считали, что работа вступила в трудный период, и направление поэмы должно быть и углублено и защищено от угрожающего воздействия новых гоголевских воззрений.

Интересный отклик пришел к Гоголю из Сибири, от декабриста Г. С. Батенькова, освобожденного незадолго перед тем из Алексеевского рavelина. Прочитав «Выбранные места...», Батеньков отправил писателю два письма. Одно не дошло, «на другое он отвечал, благодарил и обещал не почитать свои «Мертвые души» ни слишком великим делом, ни грехом смертным» (88, с. 313).

В бумагах Батенькова сохранился отрывок письма, в котором даются рекомендации относительно продолжения «Мертвых душ»: «Оставаясь просто поэтом, ты нам уже ничего не скажешь. Надобно перестановить мысль и возвысить пошлость уже во вторую степень... Пожалуй, и эта второй степени пошлость уместится в губернском городе, но корни-то ее уже не тут. Она в общем бассейне народного быта. Нет губернского быта, который бы был самим собою. Эти нити, которые связывают его со столицею, ужели никогда не темнеют и не ржавеют. По ним и идет тон... Ты резко нападал на взятки и усвоение казны... и хорошо сделал, но хорошо для первой только части». «Думаете... достигнуть цели через поношение и уничтожение? Едва ли. Чорт не выгоняет чорта... взятки у нас необходимое... последствие исторического развития. Оно в существе наших форм... Неразумно было бы форме ослабить себя простыми слабительными и потогонными» (88, с. 314).

Рекомендации Батенькова пронизаны идеей детерминизма. Возвысить пошлость «во вторую степень» — значит не ограничиваться одним «губернским городом», проследить его связи со «столицею», видеть обусловленность какого-либо порока (например, взяточничества) «общим бассейном народного быта», «историческим развитием» страны, выработанными ею общественными «формами» (Гоголь и не ограничивал себя в I томе одним губернским городом, но это другой вопрос). Наглядность и конкретность должны выполнить ту роль, с которою не в состоянии справиться «поношение и уничтожение». Батеньков, возможно, подразумевает идею упрека-ободрения, отстаиваемую Гоголем на многих страницах «Выбранных мест...».

В другом документе — наброске статьи, посвященной «Мертвым душам», — Батеньков писал: «Наконец, не скроем: нам страшно, что Гоголь впадает в мистицизм, прямой или патриотический. С этого камня преткновения нельзя сойти иначе, как напившись до полного насыщения живой воды» (88, с. 318).

\* \* \*

Критика «Выбранных мест...» произвела в сознании Гоголя смятение, заставила его многое передумать и пересмотреть. Больше всего задел Гоголя упрек в перемене направления. «...Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление» (XIII, 186), — писал он 20 января н. ст. 1847 года С. Т. Аксакову. Но здесь же Гоголь готов уже признать, что книга его вышла преждевременно: «Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь...»

Вскоре мысль о преждевременности издания перерастает в убеждение: да, это было прямое поражение. В «Выбранных местах...» он, Гоголь, «размахнулся... Хлестаковым», нанес что ли тройную оплеуху: «Оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому». И настроение теперь у него — как у «провинившегося школьника», чувствующего, что он «напроказил больше того, чем имел намерение» (XIII, 243).

В своей книге Гоголь видит теперь «фальшивый тон» и «неуместную восторженность» (XIII, 227); в ней «все так напыщенно, неумеренно, невоздержно» (XIII, 232). Объясняя происхождение этих недостатков, писатель упоминает о пережитой болезни, о страхе смерти: «Здесь действовал также страх за жизнь свою и за возможность окончить начатый труд («М[ертвые] д[уши]»)»... Этот страх заставил заговорить вперед о многих таких вещах, которые следовало развить во всем сочинении так, чтобы не походили они на проповедь» (П. Вяземскому, 28 февраля н. ст. 1847 г. — XIII, 227). Следовательно, порок «Выбранных мест...» в том, что это «проповедь», стремившаяся наскорю высказать смысл и содержание «Мертвых душ». Примерно таким же виделось Гоголю соотношение обоих произведений и раньше, но тогда он не считал это недостатком и слабостью.

Теперь в глазах Гоголя еще больше возрастает значение «Мертвых душ», их продолжения, причем в своем труде он желает видеть воплощенным все то, что не удалось в «Выбранных местах...». «Друг мой, не забывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые «Мертвые души»... Вот почему я с

такую жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято» (А. Смирновой, 22 февраля н. ст. 1847 г.—XIII, 224). Требования образности, наглядности, национальной и бытовой характерности и раньше выдвигались творцом «Мертвых душ», но теперь их значение и непреложность еще более возросли.

Своих друзей Гоголь побуждает не только присылать материалы в виде воспоминаний, записок, замечаний, но и рисовать типы. Смирновой поручается выяснить, что такое «городская львица», «непонятая женщина», «городская добродетельная женщина», «честный взяточник», «губернский лев» (XIII, 225). Супругов Данилевских просит описать «сорта людей» — «Киевский лев; Губернская femme incomprise [непонятая женщина]; Чиновник-европеец; Чиновник-старовер и тому подобное». «Эти беглые наброски с натуры, — поясняет Гоголь, — мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в свою картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от природы» (XIII, 262).

Но наряду с верностью природе и живописностью выдвигается новое требование, причем по контрасту с неудавшимися «Выбранными местами...». «Выбранные места...» были «напыщенны» и «неумеренны», следовательно, «Мертвые души» должны быть естественны и ясны. Автор заговорит в них «просто и доступно для всех о тех вещах, которые покуда недоступны» (XIII, 257). «...Без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях «М[ертвых] д[уш]», дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой» (XIII, 280). В «Мертвых душах» «отразится та верность и простота, которой у меня не было, несмотря на живость характеров и лиц» (XIII, 262). Реалистичность и колоритность образа должны быть доступны уразумению каждого.

В письме к А. С. и У. Г. Данилевским от 18 марта н. ст. 1847 года, откуда взята последняя цитата, впервые упоминается имя одного из персонажей второго тома: «Моя добрая Юлия, или по-русски Улинька, что звучит еще приятней...», — обращается Гоголь к Ульяне Григорьевне Данилевской. Комментаторы академического издания связывают это упоминание с тем, «что именно могло тогда обдумываться и набрасываться» Гоголем (VII, 409). Хотя тип Улиньки, мы говорили, был предопределен еще на заключительной стадии работы над

И томом («пройдет... чудная русская девица...») и по всей вероятности существовал уже в первоначальной редакции, но поиски простоты, естественности, и притом в их национально-русском обличье, оживили интерес Гоголя к этому персонажу.

С особенным упорством Гоголь опровергает теперь мысль, будто бы он сменил направление, подразумевая под этим не только уклон в «мистицизм», но и отход от писательского поприща. «Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний» (XIII, 261),— говорит он Данилевскому. «Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства...» (XIII, 292),— пишет он Шевыреву. «Так как вы питаете такое искренно-доброе участие ко мне и к сочинениям моим, то считаю долгом известить вас, что я отнюдь не переменял направления моего. Труд у меня все один и тот же, все те же „Мертвые души“» (XIII, 264),— заверяет Гоголь писателя Владимира Владимировича Львова.

Гоголь вырабатывает даже такую версию: «Выбранные места...» изданы «не столько затем, чтобы распространить какие-либо сведения, сколько затем, чтобы добиться самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о предметах более важных...» (XIII, 256). «По поводу моего неведения многих вещей, которые у меня выдаются с такою дерзостью за знание, многие невольно будут заставлены выказать свое *ведение*, которого я добиваюсь» (XIII, 251). Получается, что роль книги притворная, своего рода провокационная: автор высказал заведомо незрелые и неверные суждения, чтобы вызвать поток материала для «Мертвых душ»! Гоголь забыл, что перед выходом «Выбранных мест...» он называл их «единственно дельной», «первой дельной» и «полезной» своей книгой...

Неудача «Выбранных мест...» усилила стремление Гоголя к многосторонности, широте взгляда. Еще в своей книге, в письме XIV «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», Гоголь писал о вреде узости и фанатизма. Теперь выражения «излишество», «демон излишества» становятся излюбленными у Гоголя. Вяземского (в связи с его статьей «Языков и Гоголь») он упрекает в суровости и нетерпимости, проявленных в отношении к лагерю Белинского. В письме к Анненкову (7 сент. н. ст. 1847 г.) он призывает его обратить внимание не только на Францию, но и на Англию, где есть «важная сторона современного дела»; здесь же Гоголь проявляет интерес к Белинскому, И. Тургеневу и особенно к Герцену, видимо, потому, что «о нем люди *всех партий* отзываются как о

благороднейшем человеке» (XIII, 385). И эту многосторонность Гоголь стремится привить своему творчеству: «...мне кажется, что я теперь далее всякого другого могу уйти на пути *разведывания*: ни раздражения, ни фанатизма во мне нет, ничьей стороны держать не могу, потому что везде вижу частицу правды...» (XIII, 363).

В это время расширяется интерес Гоголя и к современной литературе. Петербургских друзей он просит позаботиться о том, чтобы приходили к нему «все толстые и тонкие русские литературные журналы, какие ни издаются в Петербурге» — не только «Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения» и «Литературная газета», но даже «Русский инвалид» и «Финский вестник». Не следует пропускать также «ни одной сколько-нибудь замечательной выходящей в свет новой книги, чтобы не купить экземпляра ее для меня и не послать мне» (XIII, 156).

Гоголь просит прислать ему тома собрания русских летописей, «Выходы государей царей...», издания И. М. Снегирева «Русские протонародные праздники...» и «Русские в своих пословицах...». «Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух» (XIII, 191).

Особенно интересуют Гоголя книги, «производимые нынешнею школою литераторов, стремящеюся живописать и цивилизовать Россию». Он просит прислать «Петербургские вершины» Я. Буткова, повести Даля. «Этого писателя я уважаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь сведения положительные о разных проделках в России». Гоголя привлекают «книги, где слышна сколько-нибудь Русь, хотя бы даже в зловонном виде» (XIII, 211). «Вообще все, что только зацепило хоть сколько русского человека и его жизни, мне теперь очень нужно» (XIII, 290).

«С любопытством» читает Гоголь и «Письма об Испании» В. П. Богкина, интересуется «Парижскими письмами» Анненкова, но при этом укоряет автора в отсутствии выношенной мысли, «внутренней задачи». «Я подумал: что если бы на место того, чтобы дагеротипировать Париж... начали вы писать о русских городах, начиная с Симбирска, и так же любопытно стали бы осматривать всякого встречного человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках всякую вещицу? Если при этом описании зададите себе внутреннюю задачу разрешить самому себе, что такое нынешний русский человек во всех сословиях, на всех местах, начиная от высших до низших, и, держа внутри себя этот вопрос, будете глядеть на всякое событие и случай, как бы они ничтожны ни были, как на явленье

психологическое, ваши записки вышли бы непременно интересны» (XIII, 363—364). Эта рекомендация—отражение той «внутренней задачи», которую Гоголь ставил и перед собою как автором «Мертвых душ»: «Я болею незнанием, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований,—писал он А. О. Россету.—Все сведения, которые я приобрел доселе с невероятным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть» (XIII, 279).

\* \* \*

Как же протекало написание второго тома после выхода «Выбранных мест...»? Первые три месяца 1847 года, живя в Неаполе, Гоголь хотя и «плохо и лениво», но продолжает работу. О продвижении труда свидетельствует срок, назначаемый поездке в Иерусалим и возвращению в Россию. «Если бог мне поможет устроить мои дела,—пишет он 25 января н. ст.,—кончить мое сочинение, без которого мне нельзя ехать в Иерусалим, то я отправлюсь в начале будущего 1848 года в святую землю с тем, чтобы оттуда летом того же года возвратиться в Россию» (XIII, 195). Комментаторы академического собрания сочинений полагают, что речь идет о втором издании «Выбранных мест...» (XIII, 488). Но с подготовкой второго издания Гоголь рассчитывал покончить к марту—апрелю текущего года (см. XIII, 206), а не к началу будущего года; кроме того, об этой книге, задуманной как воспроизведение первого издания в полном виде, без цензурных купюр, Гоголь не сказал бы: «Кончить мое сочинение». Подразумевался именно второй том, который теперь, по новым срокам, должен быть написан через год с небольшим.

Однако в конце апреля Гоголь получил очередную порцию журналов и газет—«Современник», «Отечественные записки», «Северную пчелу» и т. д. и окунулся в ворох откликов и суждений по поводу его новых вещей. Он прочел рецензии Белинского о «Выбранных местах...» и предисловии «К читателю от сочинителя», познакомился с первым «письмом» Н. Ф. Павлова (Московские ведомости, 1847, № 28, 6 марта)—одним из самых резких выступлений против «Выбранных мест...». С этого времени, как подметил Тихонравов, «в частных письмах Гоголя замолкают упоминания о ходе работы над поэмою» (I, с. 549). Гоголь весь уходит в работу над «небольшой книжечкой», которая бы «сколько возможно яснее» изобразила повесть его «писательства» и опровергала бы мнение, будто бы он «возмущался искусством» (XIII, 320). В этом сочинении, которое так и не было завершено и появилось после смерти писателя под

названием «Авторская исповедь», отразилось все то, что пережил Гоголь после выхода «Выбранных мест...» под влиянием всего услышанного и прочитанного.

Тем временем меняется его решение относительно сроков поездки в Иерусалим—верный признак того, что работа над «Мертвыми душами» вновь расклеилась. Гоголь намеревается *вначале* совершить паломничество к святым местам, а потом уже приняться за поэму. «Не хочу ничего ни делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия и не помолюсь...» (П. Плетневу, 24 августа—XIII, 370). Продолжить работу Гоголь намерен теперь в России, куда он направится сразу после паломничества. Вместо обещанного второго тома Гоголь привезет на родину лишь черновики новой редакции. Нелегко далось писателю такое решение, к которому он пришел под влиянием всего пережитого.

В письме к Белинскому (10 августа н. ст., Остенде), представляющем собою ответ на его знаменитое зальцбруннское письмо, Гоголь писал; «А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких *живых образов*, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками» (XIII, 360). С. Т. Аксакову Гоголь пишет, что по возвращении в Россию не задержится в Москве: «Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка...» (XIII, 375). Шевыреву: «Мне нужно будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будет дать промах» (XIII, 398).

Возлагая главные надежды на личный опыт, Гоголь по-прежнему мечтает и о документальном материале. «Если б мне удалось прочесть биографию хотя двух человек, начиная с 1812 года и до сих пор, то есть до текущего года, мне бы объяснились многие пункты, меня затрудняющие» (XIII, 399). Комментаторы академического издания считают, что тем самым «испрашивается... бытовой материал для создания образа генерала Бетрищева» (VII, 409). Однако едва ли только Бетрищева: вспомним, что эпопея 1812 года служила фоном событий первого тома, а во втором, видимо, должна была занять еще более видное место (разговор Бетрищева и Тентетникова о всенародном подъеме во время Отечественной войны; затем высказывание генерал-губернатора, что Россию надо спасать «не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих» и т. д.

К концу года Гоголь чувствует, что «многое уже вызрело в душе и в уме», что «живые образы начинают выходить ясно из мглы»; он готов уже писать, но выдерживает, отлагает работу до возвращения в Россию. Накануне поездки он с еще большим убеждением говорит о своем призвании художника. «...Мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми* образами, а не рассуждениями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни» (XIV, 36). Гоголь сознает силу свою как художника. «Тут ведь я буду сильнее, чем в «Переписке». Там можно было разбить меня влух и Павлову и барону Розену<sup>51</sup>, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться» (XIII, 398).

Между тем корреспонденты торопили Гоголя. Шевырев пишет ему, что все ждут второго тома. А. Данилевский (в более позднем письме, 16 февраля 1849 г. из Анненского) сообщил Гоголю: «У нас тут много слухов на твой счет: говорят, что ты уже напечатал вторую часть «Мертвых душ», чему я не верю, пока не буду иметь экземпляра в собственных руках» (Шенрок, IV, 719). Гоголь отвечал Шевыреву: «На замечанье твое, что «Мертвые души» разойдутся вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то, что это совершенная правда; но дело в том, что написать второй [том] совсем не безделица. Если ж иным кажется это дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся да и напишут его сами, совокупясь вместе, а я посмотрю, что из этого выйдет» (XIII, 398).

Наконец, Гоголь через Неаполь, Мальту, затем «через Сидон и древний Тир и Акру» едет в Иерусалим.

В середине февраля он в святом городе; его сопровождает старый приятель по Нежинскому лицее, К. М. Базили, занимавший должность русского генерального консула в Сирии и Палестине. Из Иерусалима Гоголь отправляет ряд писем: матери и сестрам, Жуковскому, Матвею Константиновскому, Шереметевой. Последней он пишет: «Молитесь теперь о благополучном моем возвращении в Россию и о деятельном вступлении на поприще с освеженными и обновленными силами» (XIV, 54).

\* \* \*

И вот Гоголь на родине. 16 апреля пароход-фрегат «Херсонес» доставил его в Одессу. Едва вступив на берег и очутившись в карантине по случаю холерной эпидемии, Гоголь просит прислать ему том «Мертвых душ».

Но работа по-прежнему не клеилась. Поездка к святым местам не принесла желаемого освежения. «Скажу вам, что еще

никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима» (XIV, 63),— пишет Гоголь 21 апреля М. Константиновскому.

Немногим далее подвинулось дело и в родной Васильевке, куда Гоголь приехал 9 мая. «О себе скажу то[лько что], что еле-еле *осматриваюсь*. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Многое для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключениям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель» (46, с. 255, 256).

На Украине в это время установилась невиданно жаркая погода. Началась засуха. Распространялась холера. Все это не способствовало работе над поэмой. 8 июня Гоголь пишет Плетневу: «Брался было за перо, но или жар утомляет меня, или я все еще не готов» (XIV, 71). Жуковскому, 15 июня, из Полтавы, куда Гоголь заехал из Васильевки на несколько дней: «Еще не принимался серьезно ни за что...» (XIV, 74). Шевыреву, 15 июня, по возвращении в Васильевку: «...ничего не мыслится и не пишется; голова тупа» (XIV, 75). Плетневу, 7 июля: «Я ничего не в силах ни делать, ни мыслить от жару. Не помню еще такого тяжелого времени» (XIV, 78).

Н. С. Тихонравов, анализируя письма Гоголя этой поры, обоснованно считает: «...по-видимому, во все время пребывания в Васильевке для второго тома ничего не было написано» (1, 553).

Но духовно Гоголь не бездействует, «собирает силы на работу». Ко времени пребывания писателя в Васильевке относится его симптоматичное суждение о драме К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (М., 1848).

Гоголь заинтересовался драмой: «В ней должен заключаться вопрос, решением которого я серьезно теперь занят, не менее самого Константина» (XIV, 70). Прочитав пьесу, отметил: «В драме постигнуто высшее свойство нашего народа— вот ее главное достоинство!» Что это за «высшее свойство», видно из более позднего (30 марта) гоголевского письма: «...семена небесного сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду», но «русская природа» оказалась для них наиболее подходящей; и поэтому, «может быть, одному русскому суждено почувствовать ближе значение жизни» (XIV, 109). Драма понравилась Гоголю потому, что в ней проводилась та же мысль— о «высшем свойстве нашего народа».

Но тут же Гоголь замечает: «Недостаток— что, кроме этого высшего свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела нашего, бестелесен. Зачем Конст[антин]

Серг[еевич] выбрал форму драмы?.. Странное дело: когда я разворачива[ю] историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди, и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор предо мно[ю] тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу. На место действия, я слышу словопрения, и мне кажется все бледно» (XIV, 79). Сложилась любопытная ситуация: К. Аксаков боялся декларативности в последующих томах «Мертвых душ» и упрекал писателя в отходе от искусства. А Гоголь сам остро чувствовал и осуждал эту декларативность в художественном творчестве Аксакова...

Но, конечно же, отзыв о драме К. Аксакова заключал в себе собственную животрепещущую проблему автора «Мертвых душ». Как сделать так, чтобы представить «высшее свойство» русской жизни и в то же время не свести произведение к «доказанию любимой своей мысли», удержать всю «полноту жизни», «запах свежести»? В этом теперь — главный творческий вопрос.

К середине сентября Гоголь приезжает в Москву, но никого из близких знакомых в городе не застает («все еще сидит по дачам и деревням») и вскоре едет в Петербург.

Впечатление от Петербурга — смутное, тяжелое. «Все так странно, так дико. Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и бог пустил это ослепление» (XIV, 89). Это отклик на ту гнетущую атмосферу, которая установилась в столице во второй половине 1848 года в связи с реакцией на февральскую революцию во Франции, а также в связи с эпидемией холеры (69, с. 119—120). Петербургские впечатления наслаивались на тревожные известия из Западной Европы. Анненков, только что приехавший из-за границы, рассказывал о парижском восстании. Гоголь записывает: «Все, что рассказывает он, как очевидец... просто страх: совершенное разложение общества» (XIV, 87). Революционные события 1848 года, свидетелем которых Гоголь был и сам, в бытность свою в Неаполе, он воспринимал в резком трагическом свете. Тем больше надежд возлагал на свой труд: революция, казалось ему, разъединяет людей и разрушает; сочинение его объединит их и обратит «к тому, что должно быть вечно и незыблемо».

В Петербурге же Гоголь, вновь встретившись со Смирновой, вел с ней разговор о том, «в чем именно состоит наше истинно

русское добро». Живя в Калуге, «она много увидела и узнала из того, что делается внутри России». И Гоголь настойчиво выспрашивает ее, запасаясь материалами для работы. Но за писание еще не принимается.

Изменение наметилось с приездом Гоголя в Москву. 14 октября он уже в Москве, живет в доме Погодина на Девичьем поле. В конце месяца сообщает А. Вьельгорской: «Я еще не тружусь так, как бы хотел... Но душа кое-что чувствует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени» (XIV, 91). Гоголь собирается прочитать Анне Михайловне (которая ему нравилась и которой позднее он сделал безуспешное предложение) ряд лекций—и вот что интересно: эти лекции должны начаться чтением второго тома «Мертвых душ»: «После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом».

В ноябре Гоголь, по-видимому, еще только обдумывал, но не писал. «...Принимаюсь серьезно обдумывать тот труд...» (Смирновой—XIV, 97). «О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том «М[ертвых] д[уш]» (Плетневу—XIV, 98—99).

Но в конце декабря Гоголь переезжает от Погодина к А. П. Толстому, в дом Талызина на Никитском бульваре. И тут, судя по всему, берется за перо.

Если исходить из собственных слов Гоголя, то писание проходило вяло, еле-еле: «...хотя и медленно, но движется труд и занятия» (XIV, 100); «...работа моя шла как-то вяло, туго и мало оживлялась благодатным огнем вдохновения» (XIV, 111) и т. д. Но у С. Т. Аксакова сложилось другое впечатление, и он позднее, познакомясь с письмами Гоголя, отмечал различие: «Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно... Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел... Я в этом, как вижу теперь, ошибался, но вот что верно: я никогда не видал Гоголя так здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, т. е. в декабре 1848-го и в январе и феврале 1849 года» (1, с. 553—554).

Нет, Аксаков не ошибался, доверяясь своим непосредственным впечатлениям. Гоголь был суверен, поэтому знакомым не раскрывал всего хода дела, преуменьшал результаты. Но весной 1849 г. задним числом он сделал следующее признание: «Приехал я в Москву с тем, чтобы засесть за «Мерт[вые] души», с окончанием которых у меня соединено было все и даже средства моего существования. Сначала работа шла хорошо, часть зимы провела отлично...» (XIV, 126). Вот как работалось Гоголю зимою 1848/49 года: «Хорошо», порою «отлично», как со стороны и показалось Сергею Тимофеевичу<sup>52</sup>.

Работа настолько продвинулась вперед, что Гоголь подумывает о чтении Жуковскому и С. М. Соллогуб, урожденной Вьельгорской, жене писателя В. Соллогуба. «...Когда я воображу себе только, как мы снова увидимся все вместе и я прочту вам мои «Мертвые души», дух захватывает у меня в груди от радости» (XIV, 127),— пишет он Софье Соллогуб.

В воображении писателя рисуется и будущая доработка первого тома, которую он не успел осуществить при подготовке второго издания. Отвечая своему одесскому корреспонденту Василию Ивановичу Белому, Гоголь 16 мая писал: «О детстве Чичикова я думал уже сам, предполагая напереть особенно на эту сторону при третьем (исправленном) издании» (XIV, 292).

К лету, однако, вновь наступил спад, вызванный «сильным нервическим расстройством». И как всегда в период застоя, Гоголь, откладывая рукопись, берется за чтение, чтобы запастись «материалами для будущей работы». Своего черниговского знакомого, большого знатока истории и быта Украины А. М. Марковича он просит составить «маленький сельский календарь годовых работ, как они производятся... в Черниговской губернии» (XIV, 136). Подумывает Гоголь и о путешествии. «Располагаю посетить губернии в окружности Москвы, повидаться с некоторыми знакомыми и поглядеть на Русь, сколько ее можно увидеть на большой дороге» (XIV, 138),— сообщает он 1 июля Данилевскому.

Через несколько дней Гоголь действительно выехал из Москвы. Вместе с Л. И. Арнольди, сводным братом А. О. Смирновой, он направил путь в имение последней Бегичево, расположенное в Медынском уезде Калужской губернии. Потом Гоголь вместе со Смирновой и Арнольди переехал в загородный дом калужского губернатора. Здесь состоялось важное для дальнейшей судьбы «Мертвых душ» событие—чтение второго тома.

## ГЛАВА XVII

---

# «СЛАВА БОГУ, ГОГОЛЬ ВСЕ ТОТ ЖЕ...»

---

Но вначале — небольшая предыстория.

Упомянутое чтение считается «первым авторским чтением» новой редакции второго тома (VII, 410). Но в действительности это было, по крайней мере, второе чтение.

Вспомним, что в конце декабря 1848 года Гоголь живет у А. П. Толстого на Никитском бульваре, где возобновляет писание поэмы. Из более позднего письма Гоголя к Толстому видно, что он прочел ему «две главы» (XIV, 202). Есть основания считать, что это произошло зимою или весною 1849 года, еще до поездки Гоголя к Смирновой. Д. А. Оболенский, ставший попутчиком Гоголя при его возвращении в Москву, к этому времени уже «несколько знал» содержание второго тома. Знал от своего родственника А. П. Толстого, которому, по словам Оболенского, «Гоголь читал еще вчерне отрывки из второй части «Мертвых душ» (4, с. 546).

Тем не менее чтения в Калуге занимают особое место в истории поэмы.

К этому событию относятся следующие документы. 1) Рассказ Смирновой, записанный вскоре после смерти писателя П. А. Кулишом и включенный во II том его «Записок». 2) Рассказ Смирновой, включенный в ее воспоминания, опубликованные посмертно (1931). 3) Рассказ другого очевидца, Л. И. Арнольди, который один или два раза была «допущена к слушанию»: этот рассказ включен в его воспоминания о Гоголе (опубликованы в «Русском вестнике», 1862, № 1, с. 74—79; см. также: 4, с. 482—488). 4) Письмо Гоголя к Смирновой от 29 июля 1849 г. 5) Ответ Смирновой от 1 августа. 6) Письмо И. С. Аксакова к отцу от 30 августа, в котором тот пересказывает известия, полученные от Смирновой. Сопоставляя эти документы, мы получаем более или менее полную картину.

Понятно, прежде всего, почему Гоголь решил вначале прочитать главы из второго тома Смирновой. Ведь Смирнова была далека как от круга московских литераторов — Аксаковых, Шевырева, Погодина, так и от петербургского круга Белинского. И она не разделяла опасений ни тех ни других — опасений, вызванных появлением «Выбранных мест...». В ее лице Гоголь рассчитывал встретить доброжелательного, сочувствующего слушателя, чье расположение не надо было заново завоевывать и упрочивать. Вспомним также, что Смирнова была давним свидетелем труда Гоголя — ей в 1837 году он читал еще главы первого тома. Только после одобрения Смирновой Гоголь мог решиться — и действительно решился — на дальнейшие чтения второго тома. Писатель стоял перед суровым испытанием, и ему нужны были постепенность и черед.

Как и чтения первого тома, новое чтение было окружено строгой секретностью. Гоголь потребовал от Смирновой, «чтоб об этом не было никому ни писано, ни говорено» (54, с. 227). Читал Гоголь до обеда, примерно с 12 до 2 часов.

Как соотносится прочитанный текст с сохранившимися и опубликованными впоследствии главами? Прежде всего остановимся на проблеме первой главы. Из рассказа Л. И. Арнольди следует, что она оканчивалась «хохотом генерала Бетрищева» (4, с. 483). Если это так, то должны измениться все наши представления о начале второго тома, о первой главе: она обнимала собою описание не только Тентетникова, но и генерала Бетрищева, то есть материал не одной, а *двух* глав сохранившейся редакции (вторая глава в ней также оканчивается «хохотом генерала Бетрищева»). Свидетельство Арнольди как будто бы находит подтверждение в словах С. Т. Аксакова. Прослушав эту главу несколько позднее, в августе того же года (об этом — ниже), Аксаков обратил особенное внимание на ее объем: «Глава огромнейшая. Чтение продолжалось час с четвертью» (ЛН, т. 58, с. 719).

Тем не менее совокупность всех данных заставляет усомниться в правоте Арнольди. Во-первых, трудно представить себе объединение в одной главе столь разнородного материала, как подробная предыстория Тентетникова, встреча с ним Чичикова, затем переезд Чичикова к Бетрищеву и пребывание в доме генерала, появление Улиньки и т. д. Скорее всего, этот материал должен был быть разбит на две главы, концентрирующиеся вокруг двух помещиков, с которыми судьба сталкивала главного героя, что соответствовало определенному еще в первом томе монографизму композиции. Далее: К. Аксаков, слышавший чтение «Мертвых душ» несколько позднее, упоминает Улиньку и генерала как персонажей новых именно для второй главы. Трудно предположить, что Гоголь за это время изменил разбивку глав, тем более что и другие лица, слушавшие первые главы (и порою — в повторном чтении), никак не фиксируют такой перемены. Что же касается длительности чтения, то примитивный эксперимент показывает: чтение первых двух глав сохранившейся редакции длится примерно полтора часа, а чтение первой главы — час с небольшим. Если учесть, что в ней есть пропуски, что своим слушателям (как отметила Смирнова) Гоголь читал более полный текст, то получится тот «час с четвертью», который зафиксировал С. Т. Аксаков. Первая глава действительно большая, она превышает средний объем глав в первом томе, и это различие бросилось в глаза Аксакову. При чтении же у Смирновой Гоголь, видимо, не зафиксировал границу между первой и второй главой, и поэтому у Арнольди создалось превратное представление.

Что же касается второй главы, то окончание ее не сохранилось (в следующей тетрадке, содержащей конец I главы и всю

вторую, последние полулисты вырваны — см. описание рукописи в примечаниях к VII т. академического издания, с. 394). После просьбы Чичикова к Бетрищеву передать ему мертвые души, вызвавшей неудержимый приступ «генеральского смеха», следовали события, о которых рассказали Арнольди и Шевырев (познакомившийся с этой главой несколько позднее).

К Шевыреву восходит сообщение в первом издании второго тома, где к окончанию главы, к фразе о «генеральском смехе» относилось примечание: «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о двенадцатом годе; помолвка Улиньки за Тентетниковым; молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его, для извещения о помолвке дочери, и едет к одному из этих родственников, полковнику Кошкареву»<sup>53</sup>.

Рассказ Арнольди значительнее, подробнее, он как бы претворяет набросанную Шевыревым схему в ряд довольно ярких описаний и картин.

Мы узнаем, что в тот же день Чичиков остался у Бетрищева обедать. К столу, помимо Улиньки, явились еще англичанка, исполнявшая роль гувернантки, и какой-то португалец или испанец, который «назывался Экспантон, Хситендон или что-то в этом роде», но которого вся дворня упорно величала Эскадромом (обоих персонажей, с некоторыми вариациями, упоминала и Смирнова: «...в домашнем быту генерала пропущены лица — пленный французский капитан Эскадрон и гувернантка англичанка» (54, с. 227)). В обязанности Эскадрона входило то, что он должен был играть с Бетрищевым в шахматы, и после обеда действительно состоялась партия, в продолжение которой генерал постоянно возвращался мысленно к анекдоту о черненьких и беленьких, незадолго перед тем рассказанному ему Чичиковым (по версии Смирновой, этот анекдот Чичиков поведал ему *во время игры*). Далее в игру включается Чичиков, нарочно проигрывает генералу, чем покупает его расположение (это совпадает и с рассказом Смирновой: за шахматами «Чичиков овладевает совершенно благосклонностью Бетрищева»). Затем Чичиков возвращается к Тентетникову, всячески стараясь примирить его с Бетрищевым (ссора, описанная еще в первой главе, возникла из-за того, что генерал несколько фамильярно обратился к Тентетникову на ты). При этом Чичиков сознается, что, стараясь расположить Бетрищева в пользу Тентетникова, он сболтнул, будто бы последний пишет истории генералов, участвовавших (подобно Бетрищеву) в кампании 1812 года (эпизод этот действительно содержится в начале второй главы). Стара-

ния Чичикова увенчались успехом, и Тентетников, подхлестываемый любовью к Улиньке, едет с Чичиковым в имение генерала. Следует «встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Улинькой и наконец обед», описание которого Арнольди считает «лучшим местом второго тома» (напомню, что свои воспоминания он писал уже после опубликования сохранившихся глав). Юмор сливался в этой сцене с патетикой, партии различных персонажей образовывали единое сложное звучание. «Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников — тем, что почти против него сидела Улинька, с которою он по временам встречался взглядами; Улинька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними и что отец опять с ним в хороших отношениях, и, наконец, Чичиков был доволен своим положением примирителя в этой знатной и богатой семье. Англичанка свободно вращала глазами, испанец глядел в тарелку и поднимал свои глаза только тогда, как вносили новое блюдо».

За обедом же возникает разговор о войне 1812 года, в продолжение которого вновь звучат различные партии, составляющие контрапункт. Тентетников с воодушевлением говорит о патриотическом единстве всех сословий, когда «каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела»; Бетрищев слушал его восторженно, уронив слезу на свой седой ус. Что же говорить об Улиньке? — «Она вся впиалась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила с жадностью каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им!» И все это оттенялось полным бесчувствием или непониманием таких людей, как англичанка и Эскадрон: первая «с глупым видом оглядывала всех», а последний не сводил взгляда с тарелки. Вставил в разговор свое словечко и Чичиков. «Да,— сказал он,— страшные холода были в 12-м году!» «Не о холодах тут речь», — заметил генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился».

После описанных событий, видимо на второй день, Улинька решила просить отца о согласии на брак с Тентетниковым. Перед этим важным разговором она ходила на могилу матери, чтобы в молитве найти «подкрепление своей решимости» (Шевырев: «Плач на гробе матери»). Генерал, поколебавшись, согласился, и об его решении объявили Тентетникову. Тут следует замечательная сцена — Тентетников в саду (по версии Шевырева, «беседа помолвленных в саду»): получив согласие, он оставил Улиньку, чтобы побыть наедине со своими переживаниями. «В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников — в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою

кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомье, и, наконец, все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый!» «Я живо помню,—добавляет Арнольди,— что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно!»

Уединение Тентетникова нарушил Чичиков, появившийся внезапно в конце аллеи. Тентетников бросился к нему с излияниями благодарности, и Чичиков тотчас решил извлечь из нее свою выгоду. В ход была пущена уже знакомая читателю (по разговору Чичикова с Бетрищевым) версия о мнимом дяде, которому необходимо хотя бы на бумаге предъявить триста душ. Не подозревавший ничего плохого Тентетников согласился снабдить Чичикова купчей не на мертвые, а на настоящие души.

На другой день в генеральском доме совещались о том, как объявить о помолвке родным—княгине Зюзюкиной (очевидно, это княжна Юзякина, фигурирующая в I главе) и другим знатым лицам,—и тут опять вспомнили о Чичикове как о возможном эмиссаре. Чичиков на эту роль охотно согласился, ибо имел в предмете свою идею—все ту же идею приобретения мертвых душ. Вернувшись к Тентетникову, он стал готовиться к отъезду, и вскоре, вместе с Селифаном и Петрушкой, отправился в дорогу, но не в своей бричке, а в легкой, почти новой коляске, специально присланной для этого случая Бетрищевым.

Все это вполне согласуется с примечанием Шевырева. Вместе с тем окончание главы, как оно рассказано мемуаристами, вплотную примыкает к экспозиции главы следующей (третьей), не только начинающейся поездкой Чичикова, но и обыгрывающей некоторые намеченные перед тем детали (например, Селифан замечает, что «в коляске... хорошо-с ехать, получше-с, как в бричке—не трясет»).

Первые две главы Арнольди слышал сам. О дальнейшем мы можем судить лишь по рассказу Смирновой, к сожалению, очень скупому, и по столь же кратким ее замечаниям, переданным Арнольди. Смирнова берет за основу текст опубликованных в 1855 году сохранившихся глав, фиксируя недостающие места и пробелы. Так, она отмечает, что после главы о Бетрищеве в «развитии поэмы недостает описания деревни Вороного-Дрянного, из которой Чичиков переезжает к Костанжогло» (54, с. 227). Вороной-Дрянной, как мы знаем, упоминался в уцелевшей главе первоначальной редакции (сожженной в 1845 г.) как некое злонамеренное лицо, сыгравшее роковую роль в жизни Дерпенникова (будущего Тентетникова). Как видим, Гоголь

сохранил этого персонажа в новой редакции, очевидно, ради какого-то аналогичного участия его в судьбе Тентетникова; причем оба лица должны были встретиться в настоящем временном плане поэмы. Поэтому Гоголь собирает персонажей на одной «сцене», в пределах одной губернии или, может быть, даже уезда («Тремалаханского уезда»). Упомянутый Смирновой эпизод поездки к Вороному-Дрянному должен был находиться в третьей главе. В сохранившемся тексте этой главы Чичиков проезжает к Костанжогло от Петуха, в той редакции, которую слышала Смирнова,—от Вороного-Дрянного.

Смирнова отмечает и второй пробел: «...ни слова об имени Чагранова, управляемом молодым человеком, недавно выпущенным из университета. Тут Платонов, спутник Чичикова, ко всему равнодушный, заглядывается на портрет, а потом они встречаются, у брата генерала Бетрищева, живой подлинник этого портрета, и начинается роман, из которого Чичиков, как и из всех других обстоятельств, каковы бы они ни были, извлекает свои выгоды» (54, с. 227).

Особенно запомнилась Смирновой сцена в доме Чаграновых, когда произошло заочное знакомство Чичикова с «петербургской львицей»: оказывается, был устроен обед, с роскошной сервировкой: «хрусталь, серебро, фарфор саксонский». «Бедный студент (очевидно, управляющий имением.— Ю.М.) запил и тут высказал то, что тайно подрывало его энергию и жизнь. Сцена была так трагически жива, что дух занимало» (86, с. 304)<sup>54</sup>.

Арнольди, со слов сестры, добавил подробности, относящиеся к роману Платонова и Чаграновой: «Она рассказывала мне после, что удивительно хорошо отделано было одно лицо в одной из глав; это лицо: эманципированная женщина—красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей. Судьба привела ее в провинцию; ей уже за тридцать пять лет, она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. В это время она встречается с везде и всегда скучающим Платоновым, который также израсходовал всего себя, таскаясь по светским гостиным... Они начинают привязываться друг к другу, и это новое чувство, им неизвестное, оживляет их; они думают, что любят друг друга, и с восторгом предаются этому чувству». Но они обманулись: любви здесь не было, «была только вспышка, каприз», сменившиеся привычной скукою. «Сестра уверяла меня,—добавляет Арнольди,—а С. П. Шевырев подтвердил, что характер этой женщины и вообще вся ее связь с Платоновым изображены были у Гоголя с таким мастерством, что ежели это правда, то особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас...»

Из сказанного видно, что описанные события занимали немалое место в поэме и, видимо, как выразился Арнольди, составляли «главу». Располагалась она уже после сохранившихся четырех первых глав.

Арнольди говорит, что Гоголь прочитал Смирновой, «кажется, девять глав». Это скорее всего преувеличение; но большую часть писатель действительно прочитал — глав около пяти-шести. Об этом свидетельствует знакомство Смирновой со многими персонажами сохранившихся четырех глав и некоторых последующих. И. С. Аксаков в письме от 30 августа 1849 года, со слов Смирновой, пишет о «Муратове, Элабуеве, Улиньке, Чаграповой, генерале Быстрищеве... и еще какая-то фамилия, которую я не мог разобрать» (47а, с. 216). Муратов — это, конечно, Муразов (в письме к Гоголю от 1 августа того же года Смирнова говорит: «...часто я думаю о Костанжогло и Муразове» (81, 1890, декабрь, с. 656); Элабуев — Хлобуев; Чаграпова — Чагранова; Быстрищев — генерал Бетрищев; что касается неразобранной фамилии — то это или Костанжогло или Тентетников. В записках Смирновой, опубликованных посмертно, упоминается еще Платонов, Вороной-Дрянной («Вороново-Дряново»), Петух, а также «какой-то помещик, у которого было все на министерскую ногу, причем он убивал драгоценное время для посева, жнитвы и косьбы и все писал об агрикультуре» (86, с. 304). Это, конечно, полковник Кошкарев.

Особенное впечатление произвел на Смирнову Тентетников. Она «говорила, что влюблена в Тентетникова», — писал Д. А. Оболенский (4, с. 545). Этим объясняется фраза из письма Гоголя, отправленного Смирновой 29 июля, вскоре после возвращения из Калуги: «Кланяется вам Тентетников» (XIV, 140). В ответ, в упомянутом письме от 1 августа, Смирнова писала: «Как жаль, что Вы так мало пишете о Тентетникове».

Помолвкой с Улинькой не заканчивалась сюжетная линия Тентетникова во втором томе. Со слов Шевырева, Оболенский сообщает: «...в то время когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Улиньки, блаженствует, будучи еженехом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Улинька следует за Тентетниковым в Сибирь, — там они венчаются и проч.» (4, с. 556)<sup>55</sup>. Отсюда можно заключить, что Гоголь и в новую редакцию перенес пассаж об аресте Тентетникова

(прежде Дерпенникова), сохранив и политические мотивы этого ареста.

Существует еще одно совершенно непонятное свидетельство современника, а между тем оно проливает дополнительный свет на образ Улиньки. Г. П. Данилевский в «Письмах из степной деревни», опубликованных вскоре после смерти Гоголя в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1852, 9 июля), делился своими размышлениями, вызванными посещением могилы писателя. «Долго я стоял над этой могилой в Даниловом монастыре, в Москве... Мне чудилось, что я все еще слушаю рассказ автора «Бульбы» о «Мертвых душах», рассказ, который мне было суждено услышать за несколько месяцев до смерти Гоголя. Нет, Гоголь не забывал тебя, русская женщина, сестра нашего современного и мать будущих поколений! Он любил тебя, любил, как и все прекрасное русской земли...»

Откуда взялась в этом контексте похвала «русской женщине»? Е. В. Свиясов, перепечатавший и прокомментировавший указанный документ (что должно быть поставлено в заслугу исследователю), объясняет это место так: «Обращение к читательницам...— попытка усыпить цензуру, которая в ином случае, при ориентации на широкий круг читателей, могла бы не пропустить столь проникновенные строки, посвященные Гоголю» (85, с. 129). Объяснение довольно наивное.

Конечно же, строки о русской женщине связаны с характером того разговора, который вел Данилевский с Гоголем осенью 1851 года. Гоголь рассказывал Данилевскому о «Мертвых душах» и упомянул, видимо, о судьбе Улиньки.

Не случайна мелькнувшая у Данилевского ассоциация «Мертвых душ» с «Тарасом Бульбой» — и там и здесь речь шла о самоотверженности, терпении и страданиях женщины. Много говорил Данилевскому, украинцу по происхождению, и само имя *Улинька*. Если для русского читателя оно необъяснимо «в применении к генеральской дочке», «то для украинского слуха и обихода оно звучит иначе и обладает иной популярностью: это одно из очень популярных фольклорных имен, встречающихся в бытовых и обрядовых песнях» (37, с. 89—90).

Возвращаясь к калужским чтениям второго тома, заметим еще, что Смирнова, при всем ее интересе к Тентетникову, не фиксирует пробела, как в других случаях, ибо, по-видимому, упомянутый эпизод (арест и ссылка), завершающие биографию персонажа, остались ей неизвестны. О них рассказал только один Шевырев, который позднее прослушал семь глав — больше всех других. Очевидно, арест Тентетникова описывался в одной из последних прочитанных Гоголем глав (может быть, в седь-

мой), и этим подтверждается тот факт, что Смирнова знала меньше глав, чем Шевырев,—около пяти или шести.

После окончания чтения Гоголь, по словам Смирновой, сказал ей: «...погодите, будет у меня еще лучшие вещи: будет у меня священник, будет откупщик, будет генерал-губернатор» (54, с. 227). Генерал-губернатор—это персонаж первой, сожженной редакции, как видим, перешедший и в редакцию новую. Священник—лицо новое, задуманное Гоголем около 1846 года, после знакомства с ржевским протоиереем Матвеем Константиновским. Все эти персонажи должны были появиться в последних главах, оставшихся Смирновой неизвестными. Нелогично лишь упоминание «откупщика», то есть Муразова, с которым Смирнова уже познакомилась. Но, возможно, Гоголь упомянул Муразова потому, что перспектива активного действия представлялась ему именно в последних главах, как это было и в первой редакции: в сохранившейся заключительной главе Муразов играет важную роль посредника между генерал-губернатором и арестованным Чичиковым, устраивает судьбу Хлобуева и т. д.

Остается еще сказать о хронологии сохранившихся первых четырех глав в связи с чтениями в загородном доме калужского губернатора.

А. Л. Слонимский указал на ту роль, которую играет в датировке текста написание фамилий—Тентетникова и Костанжогло. Впервые фамилия Тентетникова появляется в записной книжке Гоголя, подаренной ему в октябре 1846 года: «Дрягил. Поддончников. Тентетников. Баранчиков...» (VII, 381), причем расположение этой записи позволяет отнести ее к пребыванию Гоголя в Москве осенью 1848 года. С другой стороны, Костанжогло фигурирует в первоначальном слое новой редакции еще как Скудронжогло. Между тем Смирновой он уже известен под именем Костанжогло, о чем свидетельствует ее письмо к Гоголю от 1 августа 1849 года. Отсюда следует, что «сохранившиеся четыре тетради предшествуют калужским чтениям 1849 года и должны датироваться... осенними и зимними месяцами 1848 и 1849 годов» (3, с. 449).

Собственно, к такому выводу уже пришли комментаторы академического издания, а еще раньше—В. В. Гиппиус; однако А. Л. Слонимский в одном пункте с ними не согласен. Те полагали, что рукопись, читанная Гоголем, была не что иное, как первый, наиболее полный слой сохранившейся редакции. Слонимский же считает, что «в Калуге читался *новый* текст, выработанный на основе сохранившегося» (3, с. 449, курсив мой.—Ю.М.).

Обратимся к аргументации, которой подкреплялась первая точка зрения. Гиппиус, приведя слова Смирновой из упомянутого письма от 1 августа: «Улиньку немного сведите с пьедестала и дайте работу жене Констанжогло: она уже слишком жалка»,— обратил внимание на то, что этот совет явно отразился в работе над рукописью, в результате чего был создан новый слой. Если некоторые изменения в обрисовке Улиньки и могут показаться недостаточным аргументом (в конце концов она все равно осталась на «пьедестале»), то трансформация второго персонажа, жены Констанжогло, настолько выразительна и конкретна, что с этим фактом невозможно не считаться. В первом слое она действительно «жалка»: выражение лица у нее «полусонное», «кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботятся...» (VII, 187). Во втором слое все меняется: «Свежа она была, как кровь с молоком»; «походила, как две капли, на Платонова», своего брата, «с той разницей только, что не была вяла как он, но разговорчива и весела» (VII, 58). И «работа» ей находится: заготавливает она какие-то «варенья» и «настойки», лечит мужиков, учит восьмилетнюю дочку и т. д. Все это полностью отвечало совету Смирновой (33, с. 214)<sup>56</sup>.

Поэтому предположение о том, что Гоголь читал Смирновой первый (полный) слой сохранившегося текста, весьма вероятно. Ведь если бы чтение проходило по другой, беловой, несохранившейся рукописи, то и исправления, отвечающие совету Смирновой, писатель внес бы в эту рукопись. Править текст не по последней рукописи, а по предшествующему черновику было бы весьма нелогично.

Остается, однако, еще одно возражение: оба участника чтений, и Арнольди и Смирнова, отмечали большее совершенство прочитанного текста по сравнению с опубликованным. «...Все читанное Гоголем было несравненно выше, нежели в оставшемся брульоне. В нем очень много недостает даже в тех сценах, которые остались без перерывов» (54, с. 227). Это и заставляло думать, что Гоголь читал несохранившуюся беловую редакцию<sup>57</sup>. Однако возможно и другое, так сказать, дифференцированное решение: часть текста, например, сцену в доме Констанжогло<sup>58</sup>, Гоголь читал по сохранившейся редакции (по ее первому наиболее полному слою), часть по какой-то неизвестной, не дошедшей до нас рукописи. Переписка отдельных фрагментов и страниц, вставки, добавления (подчас даже не зафиксированные письменно)—все это было у Гоголя в порядке вещей, и нет никаких оснований считать, что он строго и неуклонно должен был держаться сохранившейся рукописи.

Возвращаясь же к замечаниям Смирновой, высказанным

после чтения, надо сказать, что они были довольно разумны; во всяком случае, никакой тенденции к идеализации они не содержали, скорее наоборот. Смирнова задала тон, и Арнольди тоже заметил Гоголю, что Улинька является «лицом немного идеальным, бледным, неоконченным» и что в поэме не раскрыты причины, сформировавшие ее характер,— «каково было ее воспитание, кому она этим обязана»<sup>59</sup>. Гоголь ответил на это, что «в последующих главах она выйдет... рельефнее», подразумевая, видимо, те испытания, которые предстояло пережить Улиньке: арест и ссылка Тентетникова, поездка за ним в Сибирь, венчание.

В целом же слушатели Гоголя высоко оценили новое его творение. «Первый том, по словам А. О. Смирновой, совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух» (54, с. 227). Гоголь был доволен, ибо устроенное самому себе испытание выдержал.

Возвращавшийся вместе с Гоголем в конце июля из Калуги в Москву Д. А. Оболенский подметил, что писатель находился «в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу». Он вез с собою драгоценную ношу—портфель с рукописью поэмы. Своему спутнику Гоголь сказал, «что много еще ему предстоит труда, но что черная работа готова и что к концу года надеется кончить» (4, с. 545, 546).

То, что второй том был к этому времени вчерне закончен, подтвердил и И. Киреевский, очевидно со слов Гоголя. «...Гоголя мы видели вчера,—писал он матери 8 августа 1849 года,—второй том Мертвых душ написан, но еще не приведен в порядок, для чего ему нужно будет употребить еще год» (82, 1909, № 5, с. 114).

Тем временем Смирнова, вопреки строжайшему запрету, распространила известие о чтении поэмы среди своих калужских друзей; сообщила она важную новость и И. С. Аксакову в Рыбинск, а тот, в свою очередь, писал 30 августа Сергею Тимофеевичу: «Я получил на днях письмо от А. О. [Смирновой], которой до смерти хочется разболтать свой секрет, но говорит, что не велено, однако же кое-что сообщает. Гоголь читал ей второй том «Мертвых душ», не весь, но то, что написано. Она в восторге, хоть в этом отношении она не совсем судья... Может быть Констангин и махнет рукой, но я просто освежился этим известием; нужно давно обществу блистание божьих талантов на этом сером, мутном горизонте... Я прошу С<мирно>ву проболтаться совсем. Только Вы чур молчите. Если это дойдет до Гоголя, то он рассердится на С<мирно>ву и на меня» (47а,

с. 215—216). Так второй том «Мертвых душ» начал свою жизнь в литературном и общественном сознании...

Весть о калужском визите Гоголя дошла и до Петербурга. 23 декабря П. А. Плетнев осведомлялся у Гоголя: «Правда ли, что осенью гостил ты у Смирновых в Калуге? Разве ты не знаешь, как мне интересно все слышать, что до нее касается? Уж о литературных делах твоих я и не спрашиваю...» Когда же Плетнев некоторое время спустя получил подробные сведения, его обида возросла еще больше. «Смирнова рассказала мне, как ты с нею читал вторую часть «Мертвых душ»,—пишет он 23 марта 1851 года.—Она в восхищении от нее. Со мною ты и речи не заводишь о том, сколько и как у тебя идет литературная работа», (82 а, с. с. 60, 65). Плетнев хорошо помнит, что в свое время только он да еще Пушкин и Жуковский знали о начавшейся работе над «Мертвыми душами».

Между тем приведенное письмо И. С. Аксакова выразительно характеризует и те причины, которые заставили Гоголя избегать московских друзей и начать чтение у Смирновой: «Нельзя сердиться на Гоголя, что он Вам не читал «Мертвых душ». Он видит в настоящее время, что Вы и Константин мало заботитесь о его производительности и не ждете от него ничего; даже не видит уважения к прежним проявлениям своего таланта. Впрочем, я уверен, что Вы, милый Отесенька, обрадуетесь этому известию, да и Константин тоже».

И Аксаковы—Сергей Тимофеевич и Константин—действительно обрадовались. Преодолевая недоверие, сомнения—приговор Смирновой в деле художественного творчества не казался им достаточно компетентным,—они с нетерпением стали ждать дальнейших событий.

По приезде в Москву, в начале августа Гоголь поселяется на даче у Шевырева и «с необыкновенной таинственностью» читает ему первые главы второго тома (14, т. X, с. 324). Одновременно идет доработка и шлифовка текста. А к середине августа Гоголь переезжает в Абрамцево, и здесь происходит то, чего давно ждали в семье Аксаковых.

\* \* \*

Было это 19 августа, вечером, после чая. Все собрались в гостиной. Константин дремал. Вдруг Гоголь подошел к нему, стал будить, подталкивая: «Прочтемте что-нибудь, хоть бы «Мертвые души». Константин, думая, что речь идет о первом томе, собрался было уже идти на второй этаж за книгой, но Гоголь остановил его. «Да уж лучше я сам вам прочту...»,—сказал он и вытащил из кармана тетрадь.

Все обомлели, едва переводя дыхание от нетерпения. Гоголь начал читать первую главу второго тома.

В письме к М. Г. Карташевой от 29 августа В. С. Аксакова, свидетельница этого события, рассказывает: «...первые минуты прошли еще в смутном состоянии и радости, и опасения, что то, что услышим, не будет иметь достоинства прежних сочинений Гоголя. Но вскоре мы убедились, что опасения наши были напрасны; слава богу, Гоголь все тот же, и еще выше и глубже во втором томе...» (ЛН, т. 58, с. 718—719).

В тот же день о происшедшем событии С. Т. Аксаков сообщил сыну Ивану: «Не могу больше скрывать от тебя нашу общую радость: Гоголь читал нам первую главу 2-го тома «Мертвых душ». Слава богу! Талант его стал выше и глубже; мы обещали ему не писать даже к тебе, но нет сил молчать...» (ЛН, т. 58, с. 719).

20 августа Гоголь уехал в Москву, и вдогонку С. Т. Аксаков отправил ему письмо, «в котором сделал несколько замечаний и указал на особенные... красоты». Гоголь был доволен письмом, настолько доволен, что вскоре вернулся в Абрамцево в светлом расположении духа и сказал Сергею Тимофеевичу: «Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, пристрастный ко мне» (8, с. 186).

Гоголь считал Аксакова «пристрастным» человеком, так как хорошо знал об его опасениях,—и тем важнее была его реакция, его одобрение.

Но прочитать Аксаковым последующие главы, уже знакомые к тому времени Смирновой и Шевыреву, Гоголь отказался. Он сказал Сергею Тимофеевичу, что «много надо переделать и что прочтет... их непременно, когда они будут готовы» (там же). Тут же в Абрамцево Гоголь принимается за переделку текста.

Работе над поэмой были отданы последние месяцы года, проведенные Гоголем в Москве. «Труда своего никак не оставляю, и хоть не всегда бывают свежие минуты, но не унываю»,—пишет он А. М. Вельгорской 26 декабря (XIV, 158).

Правда, Жуковскому Гоголь сообщил, что «скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования» (XIV, 152), из чего следовало, что было написано примерно 5—6 глав. Однако, по-видимому, Гоголь имел в виду лишь доработанный, исправленный текст.

Около ноября 1849 года Гоголь получил еще одно письмо в ответ на свою просьбу сообщить ему замечания о «Мертвых душах». Уже известный нам К. И. Марков, отставной поручик,

помещик Лебединского уезда Харьковской губернии, писал: «Если вы хотите представить общество русское, как оно есть, то хорошая сторона его существует и изображение его в вашем романе неизбежно; но если вы выставите героя добродетели, то роман ваш станет нарядю с произведениями старой школы. Не пересолите добродетели. Изобразите нам русского человека, но в каждодневном его быту, а не исключительное лицо, которые встречаются у всех народов. Изобразите нам хорошего русского человека так, как вы изобразили пошлого в первой части, т. е. без преувеличения, а такого, каким мы его встречаем на каждом шагу, не героя пошлостей, а просто пошлого человека, ибо вы согласитесь, что ни Манилов, ни Собакевич и др. не суть исключения, но представители масс. Кто знает Россию только по столичным гостиным, тот найдет их уродами, а кто жил в России, тот назовет их русскими». «...Вы задумали план громадный и опасный. Из превосходного творения может выйти избитая история, а может быть, еще более превосходное творение» (102, IV, 551—552). Совет Маркова перекликался с замечаниями первых слушателей второго тома, Смирновой и Арнольди, предостерегавших против идеализации.

Все это было близко и собственным раздумьям Гоголя, который отвечал Маркову, что во втором томе он отнюдь не намерен изображать «героя добродетелей». «Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры *значительнее* прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с *одной* какой-либо стороны» (XIV, 152). Гоголь хотел избежать идеализации (поэтому он со вниманием прислушивался к советам, подобным совету Маркова). Он стремился найти другой и, надо сказать, очень трудный, рискованный путь — минуя идеализацию, к полноте и многосторонности.

В начале января нового, 1850 года Гоголь вторично прочитал Аксаковым первую главу в переработанном виде. Было это в первых числах января, вероятно 7-го, как можно заключить из письма Ивана Аксакова. Последний гостил в Москве, присутствовал на чтении, а 9 января, после ночной поездки, писал родным из Ярославля слова восхищения и благодарности: «Спасибо Гоголю! Все читанное им выступало передо мною отдельными частями, во всей своей могучей красоте... Если бы я имел больше претензий, я бы бросил писать: до такой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним пигмеи» (47а, с. 267). Так Гоголю удалось преодолеть недоверие еще одного члена аксаковского семейства.

Сестра Ивана, Вера Сергеевна, писала брату по его отъезде: «Вчера Гоголь спрашивал о тебе и улыбался, когда мы говорили, что ты уехал, полный впечатления после чтения его, и сказал про тебя: „У него всегда есть средство примирить себя, он поэт“» (ЛН, т. 58, с. 725). Гоголь не смог удержаться от снисходительной иронии...

Что же касается Сергея Тимофеевича и Константина, то и они были в восторге; при вторичном чтении глава показалась им «еще лучше и как будто написана вновь» (8, с. 188). После чтения Гоголь говорил Сергею Тимофеевичу, «как он трудно пишет, как много переменяет, так что иногда из целой главы не остается ни одного прежнего слова». Потом он спросил: «Ну, а заметили вы, как я все переправил, по вашему письму (речь шла о письме, отосланном Гоголю после первого чтения главы.— Ю. М.)? Теперь вы должны сделать мне замечания на второе чтение». Аксаков «напряг память» и вспомнил, что в описании Улиньки «ему показалось слишком обыкновенным, даже избыточным то, что *когда надобно дать что-нибудь, она отдает все, что у нее есть*». «И потом,—прибавил Аксаков,—выражение, что, казалось, она *готова* была сама улететь вслед за *своими словами*, мне не нравился своей идеальностью. На оба замечания Гоголь сказал: *точно так* весьма проворно и таким тоном, что, вероятно, он и прежде это думал» (письмо С. Т. Аксакова к Ивану Аксакову от 10 января 1850 г.—5, с. 184—185).

Заметим, что упреки слушателя вновь развивались в знакомом уже нам направлении—против «идеальности» и выпренности—и что Гоголь охотно принял эти упреки, так как они отвечали настроению, овладевшему им после неудачи «Выбранных мест...». Характерна вообще реакция Гоголя на отзывы слушателей: он ждал не столько новых суждений, сколько подтверждения своих мыслей, ибо сам в своем художническом сознании испытывал различные, подчас противоположные ощущения, и внешний толчок нужен был ему для их кристаллизации и выделения главного.

«Я заставил его признаться,—продолжает С. Т. Аксаков,—что все наши замечания бесполезны и что он сам это видит лучше других, но в то же время он сказал, что для него важно совпадение моих замечаний с его собственными, и добавил, что при третьем чтении я, может быть, больше замечу». Когда же Аксаков высказал опасения, что это будет продолжаться бесконечно, «Гоголь улыбнулся и сказал: успокойтесь; этому есть мера, художник почувствует гармонию своего создания и ни за что на свете ничего не переменит, кроме каких-нибудь ошибочных слов или сведений» (там же).

Иван Аксаков, согласившись с замечаниями отца, высказал, со своей стороны, и свое: «...не довольно ясно обозначено, почему, под каким предлогом Чичиков расположился жить у Тентетникова»,—писал он Сергею Тимофеевичу 12 января из Ярославля. В целом же его восхищение от прочитанного еще более возросло: «Я теперь точно стал в отдалении и смотрю на картину, развернувшуюся в «Мертвых душах», и еще лучше понимаю и чувствую ее, нежели стоявши слишком близко к ней. Так все глубоко, могуче и огромно, что дух захватывает!» (47а, с. 268). Иван Аксаков рад, что сбываются его ожидания всемирно значительного труда.

Замечание Ивана о мотивировке пребывания Чичикова у Тентетникова было сообщено автору. По словам Сергея Тимофеевича, Гоголь ничего не сказал в ответ—«но конечно без внимания его не оставит» (5, с. 187) (действительно, в напечатанной редакции нет такой мотивировки; об изменениях же судить нельзя, так как последующий текст не сохранился).

Надо отметить еще, что к январскому чтению восходит одна реминисценция из более позднего письма Ивана Аксакова—он упоминает «ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках». Соответствующее описание действительно содержится в сохранившемся тексте первой главы (см. VII, 32, 155). Есть в этом тексте и фраза, обратившая на себя внимание С. Т. Аксакова—об устремленности Улиньки («казалось, как бы она сама вот улетит вслед за собственными ее словами»), и пассаж об ее самоотверженности (см. VII, 146). Все это косвенно подтверждает указанное выше хронологическое приурочение сохранившегося текста.

\* \* \*

Через несколько дней, 19 января, Гоголь познакомил Аксаковых со второй главой.

Утром он был у Погодина и читал «Мертвые души» ему и Максимовичу (14, т. XI, с. 133). А потом отправился обедать к Аксаковым, и тут состоялось новое чтение.

На другой день Сергей Тимофеевич сообщил Ивану: «До сих пор не могу прийти в себя: Гоголь прочел нам с Константином 2-ю главу... скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез». Вспомни хотя бы главные события, описанные во второй главе: примирение Тентетникова с генералом Бетрищевым, разговор о двенадцатом годе, помолвка влюбленных, плач Улиньки на могиле матери,—и мы поймем, почему Аксаков «не мог удержаться от слез». Содержание поэмы открылось ему теперь с

новой стороны—со стороны высоких, поэтических движений, обнаруживающихся и в тех людях, которые подобно Тентетникову или Бетрищеву погрязли в повседневной прозе и мелочности. «Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера,—продолжает Аксаков.—Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность».

Сильное впечатление произвело на Аксакова и описание природы (вспомним, что во второй главе содержалась восхитившая Арнольди сцена в саду). Писатель, работавший в это время над «Записками ружейного охотника», делает для себя практические выводы: «Что за образы, что за картина природы без малейшей картинности... Нет, я уже не стану описывать вод так, как хотел было, а расскажу их просто словами охотника, не поэта». (Такой принцип пейзажной живописи Аксаков и воплотил в своей книге.)

Чтение второй главы окончательно убедило Сергея Тимофеевича, что «Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самоуверенно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе...» (47 а, с. 273).

Своими впечатлениями от второй главы поделился с Иваном и Константин Аксаков: «Она для меня несравненно выше первой. Уленька, генерал, жизненные отношения и столкновения этих и других лиц не выходят у меня из головы. Чем дальше, тем лучше». Особенно поразила Константина Уленька: «О, как трудно выставить прекрасную девушку и как хороша она! Ну, если бы ты был здесь, я не знаю, что бы с тобою было! Глубоко захвачен человек! Гоголь поймал его и заставил все высказывать, во всем признаваться». Понравился и генерал Бетрищев: «Хорош, хорош Быстрищев со всем, что в нем есть!» Это прямой отклик на подчеркнутые Гоголем смешанность, спутанность характера его героя: «Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке» (VII, 160).

Гоголь был очень доволен тем впечатлением, которое произвела вторая глава на Сергея Тимофеевича и Константина (остальные члены семейства Аксаковых не присутствовали при чтении), и тотчас решил прочитать третью главу. Но у него не достало сил.

Ивану Аксакову, который в Ярославле узнавал обо всем происходящем из писем, ничего не оставалось, как завидовать

своим родным. Те соглашались рассказать ему содержание прочитанных глав, но Иван просил этого не делать: «Анекдотический интерес для меня, как и для Вас, в произведениях Гоголя не важен. Придется рассказывать или почти ничего или слишком много, т. е. его же речами, из которых мудро выкинуть слово: так каждая нота состоит в соотношении с общим аккордом» (47 а, с. 271—272).

Иван Аксаков высказал предположение, что «у Гоголя все написано, что он уже дал полежать своей рукописи и потом вновь обратился к ней для исправления и оценки, словом, поступает так, как сам советует другим». Имеется в виду совет Гоголя, который он, видимо, не раз повторял: «...сначала нужно набросать *все*», чтобы «забыть об этой тетради» и лишь позднее возвратиться к ней для переделок, дополнений, шлифовки и переписки (4, с. 506). «В противном случае,— продолжает Иван Аксаков,— он не стал бы читать и заниматься отделкою подробностей и частных» (там же). Сергей Тимофеевич полностью согласился с предположением сына (ЛН, т. 58, с. 723).

Кстати, сам Гоголь через два дня после чтения второй главы, 21 января, писал Плетневу, что «все почти главы сообразены и даже набросаны, но именно не больше, как *набросаны*: собственно написанных две-три и только» (XIV, 160). «Две-три» — это ровно столько, сколько Гоголь прочитал или хотел прочитать (если говорить о третьей главе) Аксаковым. Очевидно, под написанным подразумевалось то, что претерпело новую и, как казалось Гоголю, окончательную отделку.

В конце января Гоголь несколько раз заходил к Аксаковым с видимым намерением прочитать третью главу, «но всегда что-нибудь мешало», как выразился Сергей Тимофеевич. Однако по хорошему расположению духа Гоголя он заключал, что тот «пишет много и доволен тем, что написал» (ЛН, т. 58, с. 724).

В конце февраля — начале марта Сергей Тимофеевич виделся со Смирновой, остановившейся в Москве проездом в Петербург. Главной темой разговора, естественно, стал Гоголь. Аксаков не скрывал своих опасений, которые вызвали в нем «Выбранные места...», но «слава богу, прибавил он, талант Гоголя жив и... он здраво смотрит на предметы». Смирнова стала защищать «Выбранные места...», заметив, что «Гоголь точно так же смотрит на все, как смотрел в своих письмах, что без них он никогда бы не написал второго тома «Мертвых душ», что он не отступился ни от одного слова, в них написанного, и что он решил меня (то есть С. Т. Аксакова.— Ю. М.) обманывать в этом отношении со всеми другими». Так вновь скрестились вокруг Гоголя разные точки зрения.

А. О. Смирнова была права в том отношении, что «Выбранные места...» составили веху на пути к новой редакции, что изъять их из творческой истории поэмы невозможно. Но утверждение, что автор «Выбранных мест...» ни на йоту не отступил от своих позиций, не соответствовало действительности. Суровые уроки «Выбранных мест...» вернули Гоголю уважение к языку образов, заставляли чуждаться идеализации и стремиться к многосторонности, хотя превалирующее над всем авторское задание изобразить «высшее свойство нашего народа», незнакомое другим «народам и государствам», делало весь этот процесс достаточно драматичным...

Разговор со Смирновой, которая была больше посвящена в планы Гоголя, навел на Аксакова тень белой тревоги. Зашла речь о напечатании поэмы. В свое время Сергей Тимофеевич, предвидя цензурные препятствия, советовал Гоголю представить рукопись царю. Теперь он узнал от Смирновой о твердом решении Гоголя, не добываясь высочайшего разрешения, до тех пор исправлять рукопись, «пока всякий глупый, привязчивый цензор не пропустит ее без затруднения». На это Аксаков сказал Смирновой: «Как жаль, какая ложная мысль!..» (ЛН, т. 58, с. 730).

Проблема цензуры имела свою историю. Еще в 1846 году, говоря о Карамзине, Гоголь отстаивал мысль, что писатель в России «может быть вполне независим»; «цензуры для него не существует, и нет вещи, о которой бы он не мог сказать» (XIII, 61). Даже Шевырева, не отличавшегося политическим вольномыслием, удивило это утверждение: «Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина, которого «Записка о Древней Руси» до сих пор не напечатана...» (71, с. 42—43). Гоголь и сам немало вытерпел от цензуры, в том числе и как автор «Выбранных мест...», и порою его отношение к «взбалмошно-неразумной цензуре», к «цензурному ножу» или, как однажды он выразился в сердцах, к «цензурному убийству» становилось не таким спокойным и примирительным. Каждую купюру, каждую вынужденную поправку писатель ощущал как кровоточащую рану.

Но Гоголь убеждал себя, ломал свою строптивость, преодолевал обиду. Дело в том, что вопрос о цензуре поднимался общему мирозерцанию автора «Мертвых душ», тем новым отношениям, которые устанавливались в его сознании, между писателем и читателями. Если душа воспитана, опрятна и достигла высшего разумения, то все можно сказать. Отвращает и шокирует не правда, но способ выражения и односторонность взгляда, проистекающие из невоспитанности души.

«Мертвые души» должны открыть тайну русской жизни, доступную и приемлемую всем, они должны явиться откровением. Следовательно, придирки цензора есть уже свидетельство того, что необходимый уровень истинности, многосторонности и доступности еще не достигнут, и писатель обязан продолжать работу. Так примерно рисовались теперь Гоголю его взаимоотношения с цензурой. Кстати, и Оболенский, сопровождавший Гоголя в поездке из Калуги в Москву в конце июля 1849 года, запомнил разговор о цензуре: Оболенский предупреждал его о будущих трудностях, но Гоголь «не разделял» этих опасений (4, с. 546).

Все это огорчало С. Т. Аксакова, понимавшего, что такая перспектива нереальна и никакой пользы поэме не принесет. В лучшем случае Гоголь обрекал себя на бесконечный процесс переработки текста.

В первых числах марта состоялось еще одно чтение «Мертвых душ». 7 марта С. Т. Аксаков сообщил Ивану, что «третьего дня» Гоголь прочел А. С. Хомякову и Ю. Ф. Самарину первую главу (по более позднему свидетельству Самарина — две главы). «Разумеется, Самарин вполне оценил это великое произведение. Хомякова еще не видал: он сделал два замечания, по-моему, неосновательные и пустые» (ЛН, т. 58, с. 734).

К упомянутому событию относится недатированное письмо Самарина к Гоголю. Писатель, по своему обыкновению, требовал, чтобы слушатели отметили промахи и недостатки. И Самарин отвечает автору «Мертвых душ»: «...если бы я собрался слушать вас, с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется, и тогда, после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был вполне так увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержал бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений, скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее» (81, 1889, № VII, с. 174). Далее Самарин все же высказывает ряд критических замечаний, относящихся к изображению Тентетникова. Замечания эти, как мы увидим, Гоголь позднее учел, и поэтому целесообразно остановиться на них несколько ниже (в главе XIX).

\* \* \*

В конце мая 1850 года Гоголь прочел Аксаковым третью главу. Вначале одному Сергею Тимофеевичу, а на другой день — заново Аксакову-старшему и Константину.

В. Аксакова сообщала 25 мая М. Карташевской: «...Отесенька и Константин никогда еще не были, кажется, в таком

восхищении» (ЛН, т. 58, с. 732). Сергей Тимофеевич писал сыну Ивану: «...до того хорошо, что нет слов. Константин говорит, что это лучше всего; но что бы он сказал, если б услышал в другой раз то же? Я утверждаю, что нет человека, который мог бы вполне все почувствовать и все обнять с первого раза» (ЛН, т. 58, с. 734).

Напомню, что в III главе содержалось описание Петуха, впервые появились Костанжогло, Платонов, следовала сцена у Кошкарева...

Гоголь, ободренный успехом, собирался прочесть и четвертую главу, но потом передумал. Сергей Тимофеевич еще не оправился от недавней болезни; глава же, по его словам, была «так чувствительна, что меня должна расстроить... Как это досадно!» (ЛН, т. 58, с. 734). Какие именно события и описания имелись в виду, сказать трудно, но напомним, что четвертая глава (в сохранившейся редакции) повествует о Хлобуеве и его разоренном хозяйстве, о замышленной Чичиковым новой афере («улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег, взятых у него взаймы» — для покупки имени Хлобуева), вводит новых персонажей — брата Платона Платоновича, Василия, находящегося в ссоре с вновь приехавшим из Петербурга помещиком Леницыным, и самого Леницына с семейством (нетрудно заметить, что это тот самый Федор Федорович Леницын, который фигурировал в первой главе как начальник отделения, где служил Тентетников).

На третьей главе кончился первый тур чтений «Мертвых душ» семейству Аксаковых<sup>60</sup>.

Кроме того, известно еще чтение поэмы московскому гражданскому губернатору Ивану Васильевичу Капнисту, сыну знаменитого писателя, земляка Гоголя, Василия Капниста.

Л. И. Арнольди, по возвращении из Калуги, летом 1849 года, встретился с Гоголем на Тверском бульваре и спросил его, действительно ли он читал недавно «несколько глав из второго тома И. В. Капнисту». Когда Гоголь ответил утвердительно, Арнольди сказал, что, «несмотря на свой обширный ум, И. В. ничего не смыслит в изящной литературе и поэзии» и у него устаревшие вкусы, но это не смутило писателя: «Я читал ему мои сочинения именно потому,—сказал он,— что он их не любит и предубежден против них... Вы редко, очень редко сделаете мне дельное, строгое замечание, а И. В., слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно» (4, 490). То, что Гоголь читал «Мертвые души» Капнисту, подтверждается и свидетельством Смирновой, переданным в письме П. А. Плетнева (75, с. 734)<sup>61</sup>.

Первый тур чтений «Мертвых душ», особенно чтений Аксаковым, имел большое значение, прежде всего для русской общественности, так как восстановил веру в Гоголя-художника, подорванную было «Выбранными местами...». Получилось так, что эта книга даже создала выгодный фон, на котором воспринималось новое произведение. Ожидалось, что Гоголь отныне будет лишь говорить языком проповеди и поучения, но явились главы, в которых образность, живописность, характерология, словом, художественная мысль, выступали во всей своей силе. Ожидалось, что Гоголь увлечется представлением несбыточных и натянутых сцен, прекраснотушных чувств; между тем явились главы, в которых «герои недостатков» по-прежнему занимали ведущее место: вспомним Петуха и Кошкарева. И персонажи, подобные Тентетникову, Бетрищеву, Платонову или Хлобуеву, представляли собою характеры более крупные и значительные, но вовсе не характеры, лишённые недостатков; наоборот, фиксирование противоречий намечалось в качестве ведущего принципа их описания.

Следует учесть, что в этом контексте и Костанжогло выглядел как персонаж достаточно сложный и противоречивый — не так, как он воспринимался позднее, в свете таких лиц, как Муразов или священник, которых Аксаковы еще не знали<sup>62</sup>. Костанжогло — идеальный хозяин, заботящийся о своих мужиках; в то же время он желчен и озлоблен («примесь чего-то желчного и озлобленного», «желчь в нем пробудилась» — такие детали постоянно отмечают в его облике); а фраза Костанжогло (из второго слоя новой редакции): «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет» (VII, 69) — едва ли не намеренно соотнесена с памятной репликой Собакевича: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет».

Смирнова запомнила характерный эпизод: когда она посоветовала Гоголю дать жене Костанжогло какую-то работу, а то она очень «жалка», писатель сказал: «Вы заметили, что он [Костанжогло] обо всем заботится, но о главном не заботится» (86, с. 304). «О главном» — значит о жене, об ее душевном состоянии и развитии. Ситуация эта перекликается с той, которая около того же времени была описана Гончаровым в «Обыкновенной истории» (опубликована в 1847 г.), где Адуев-старший, предавшись своим прозаическим заботам, остается глух к духовному миру жены: «...жена была необходима ему, — это правда, но наравне с прочими необходимостями жизни...»

Что же касается Улиньки, восхитившей даже такого порицателя гоголевской декларативности, как Константин Аксаков, то

позитивное освещение — в виду так сказать личного, «женского» статуса этого персонажа, — никак не было сопряжено с общественной идеализацией. Настораживало и пугало ведь Аксаковых не изображение позитивных начал русской жизни, тем более не ее многосторонность, а лишь тенденция к идеализации. Но такую тенденцию в услышанных главах они могли еще не заметить. Да и не хотели, видимо, замечать... Самое сложное было впереди.

Во время упомянутой встречи Сергея Тимофеевича со Смирновой зашла речь и о последующих главах поэмы. «Она рассказывала мне кое-что о дальнейшем развитии «Мертвых душ», и по слабости моего ума на все легла тень ложных их убеждений» (ЛН, т. 58, с. 730). Смирнова прослушала больше глав, чем Аксаковы: она знала уже о Муравове, а по рассказам Гоголя еще о некоем «священнике», прототипом которого был Матвей Константиновский. Об этом, видимо, и поведала она Сергею Тимофеевичу, воскресив в нем былые опасения и даже заставив говорить о «ложных убеждениях» поэмы... Но пока еще над всем преобладало радостное, оптимистическое настроение, вызванное прочитанными Гоголем главами.

Но упомянутые чтения были очень важны и для самого писателя, так как укрепили его веру в свои силы, внушили надежду на скорое окончание труда. «Мне нужно всю эту зиму поработать хорошо, чтобы приготовить 2 том к печати, приведя его окончательно к концу, — писал он 20 августа 1850 года А. П. Толстому. — Покуда, слава богу, дело идет еще недурно. Когда я перед отъездом из Москвы прочел некоторым из тех, которым знакомы были, как и вам, две первые главы, оказалось, что последующие сильнее первых и жизнь раскрывается, чем дале, глубже. Стало быть, несмотря на то, что старею и хирею телом, силы умственные, слава богу, еще свежи» (XIV, 202).

## ГЛАВА XVIII

---

# СНОВА В ДОРОГЕ

---

Приведенное письмо отправлено из Васильевки.

13 июня 1850 года Гоголь вновь оставил Москву. Тотчас после обеда у Аксаковых, вместе с Максимовичем, он направился на долгих в дальнее путешествие — на юг, в родную Украину.

Гоголь опасался холодной московской зимы, ему нужно было ненатопленное тепло юга, благорастворенный воздух, благодатное освежение, чтобы продолжить работу. Особенно

теперь, когда написание второго тома вступило в завершающую стадию.

С. Т. Аксаков, проводивший Гоголя в путь из своего дома, с удовольствием сообщал Ивану: «В последнее время я заметил в Гоголе необыкновенное ко мне чувство: или записки ему мои очень понравились (речь идет о «Записках ружейного охотника...», которые Аксаков читал Гоголю 16 января 1850 г.), а также и замечания на его второй том...» (ЛН, т. 58, с. 734). В то же время Сергей Тимофеевич высказывал опасения: «Если Гоголь в эту зиму ничего не сделает, то я крепко буду бояться за окончание его великого подвига» (там же).

Путешественники направили путь в Подольск, потом в Калугу, где Гоголь вновь встретился со Смирновой, потом в имение Ивана Киреевского Долбино и в Оптину пустынь. По отъезде из Оптиной пустыни монах Порфирий (Григоров), интереснейший человек, бывший артиллерийский офицер, в свое время подвергнутый аресту за то, что произвел артиллерийский салют в честь Пушкина, напутствовал Гоголя письмом: «Пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России, не уподобляйтесь оному ленивому рабу, скрывавшему свой талант...» (102, IV, 826).

24 июня Гоголь и Максимович, заночевав в Севске, слушают плач дочерей по умершей матери, и плач этот, говорит Максимович, напомнил ему «Ярославну, плакавшую рано Путивлю городу на забороле...» Гоголь же «так был поражен поэтичностью этого явления», что «выразил желание воспользоваться им при случае в „Мертвых душах“» (55, с. 180).

Первоначально Гоголь намеревался вновь провести зиму за границей, но не в Италии, а в Греции — в Афинах или, скорее, на Афоне, чтобы близ знаменитого монастыря закончить второй том. Узнав об этом от Смирновой, Иван Аксаков писал отцу: «Как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелепость по-моему: среди строгих подвигов аскетов он будет изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и проч.» (47а, с. 334—335). Это письмо показывает, что несмотря на отрадное чувство, пробужденное чтением «Мертвых душ», И. Аксаков продолжал опасаться за их судьбу. Да и Сергей Тимофеевич, как мы видели, не мог унять невольной тревоги. Все-таки когда Гоголь жил рядом, на душе было спокойнее.

Между тем в русском читающем мире усилились слухи о скором выходе второго тома. Жертвой слухов сделалась и Мария Ивановна, мать писателя. Еще весной 1850 г. из Москвы Гоголь отправил домой посылку и Мария Ивановна, при одной весте об

этом, решила, что послана только что вышедшая книга. А была эта посылка с огородными семенами для сестер... Так повторилась невольная мистификация С. Т. Аксакова, принявшего сообщение о «подарке» Гоголя — «Подражании Христу» Фомы Кемпийского — за известие о втором томе поэмы.

«В народе ходит молва,— писал Гоголю 25 июля 1850 года его петербургский знакомый Михаил Сергеевич Скурыдин,— что вы и вторую часть «Мертвых душ» кончили. Нетерпеливо ждут выпуска в свет, и я равномерно... Потешьте, душенька, повернитесь попроворнее!» (102, IV, 833). По обыкновению, Гоголя сердили и раздражали такие напоминания, но к совету Скурыдина он отнесся спокойно и миролюбиво. Видимо, дела шли неплохо, и берег вырисовывался уже отчетливо.

«...Если только милосердный бог приведет мои силы в состояние полного вдохновения, то второй том эту же зиму будет готов», — пишет Гоголь Смирновой из Васильевки 20 августа. Планы его таковы: раннею весною следующего 1851 года посетить Смирнову в Калуге, в мае — в Москве, а летние месяцы провести где-нибудь на водах близ Ревеля или Риги вместе с Жуковским и Плетневым. «Там прочитали бы совокупно написанное, а сентябрь и октябрь — в Петербурге для печатанья и окончательного устроенья дел» (XIV, 200). Следовательно, к концу 1851 — началу 1852 года Гоголь намечает выход второго тома.

К периоду пребывания Гоголя в Васильевке относится дневниковая запись его сестры Елизаветы Васильевны: «1 октября именины матери. Брат вместо подарка читал нам из второго тома „Мертвых душ“» (102, IV, 705).

К этому времени Гоголь отказывается от намерения ехать за границу и решает провести зиму в Одессе. 24 октября он приезжает в Одессу и останавливается в доме своего дальнего родственника Андрея Трощинского, племянника известного вельможи и бывшего министра Дмитрия Петровича Трощинского.

Чувствует себя Гоголь хорошо и спокойно. Его окружают приятные ему люди: «добрейший» Александр Скарлатович Стурдза, писатель, бывший чиновник; семейство Репниных, профессора Ришельевского лицея; местные литераторы и актеры... Актерам одесской труппы Гоголь читает мольеровскую «Школу жен» («По совести могу сказать — такого чтения я до тех пор не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски...», — отметил актер А. П. Толченев. (4, с. 420). Одесский литератор Николай Дмитриевич Мизко преподносит ему свой учебник «Столетие русской словесности» (Одесса, 1849) и книгу об

отце — «Памятную записку о жизни Дмитрия Тимофеевича Мизко» (Одесса, 1849), отвечавшую интересу автора «Мертвых душ» к документальному материалу. «Я описываю жизнь людскую,— сказал он Мизко,— поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии и записки действительно жившего человека» (54, с. 246).

Беседа с Мизко, Гоголь спросил, не он ли написал статью «Голос из провинции...», посвященную «Мертвым душам» и обратившую на себя в свое время внимание писателя (см. об этом выше, в главе десятой). И когда Мизко ответил утвердительно, Гоголь добавил: «Меня интересовали мнения провинциальные. Истинно русская жизнь сосредоточена преимущественно в провинции» (54, с. 247).

Среди тех, с кем встречался Гоголь, был и Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Вяземскому Л. С. Пушкин сообщил 5 декабря, что здоровье Гоголя «поправилось» и что «он очень весел» (102, IV, 734). Веселое, ровное настроение не покидало Гоголя в Одессе. Этому немало способствовала и мягкая, теплая зима, которая выдалась в тот год на юге России, напомнив Гоголю благословенный воздух Италии.

По утрам Гоголь работает. «Работа идет с прежним постоянством и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию» (В. А. Жуковскому, 16 декабря—XIV, 215). «О себе покуда скажу, что бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное сознанье и в слове то же, что и в живописи, то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нарушается ли нестройным криком всеобщего согласия» (А. О. Смирновой, 23 декабря—XIV, 218).

Гоголь подтверждает свое намерение — летом 1851 года встретиться где-нибудь в Риге или в Ревеле с Жуковским, Плетневым и Смирновой, с тем чтобы прочитать все написанное. «Вероятнее всего, в зависимости от оценки друзей находилось и самое предположение о печатании» (102, IV, 789). Гоголь хотел подвергнуть второй том последней и решающей проверке.

Чтобы стимулировать работу, Гоголь устанавливает нечто вроде перекрестных обязательств. По приезде в Москву он должен читать Аксаковым завершенные «Мертвые души», а Сергей Тимофеевич — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». Отправляется письмо и в Рим, где А. А. Иванов уже второе десятилетие трудился над «Явлением Христа народу»: «Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» (XIV, 217).

В то же время Гоголь поручает Шевыреву готовить новое (второе) собрание своих сочинений. Издание должно поспеть «к выходу II-го тома» «Мертвых душ» — и в большом количестве, ибо писатель убежден, что появление тома еще больше оживит интерес к его творчеству в целом. Гоголь уже не склонен отказываться от своих прежних творений и рассматривает второй том «Мертвых душ» как их естественное продолжение. Но продолжение более глубокое и «умное»: «Что второй том «М[ертвых] д[уш]» умнее первого — это могу сказать, как человек, имеющий вкус и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека...» (XIV, 229).

## ГЛАВА XIX

---

# ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

---

В конце марта Гоголь покинул Одессу. В начале апреля — он у А. А. Трошинского, в Кагорлыке, где гостила в это время Мария Ивановна со старшими дочерьми. Гоголь читает родным первую главу второго тома (14, кн. XI, 541).

Возвратившись 5 июня в Москву, Гоголь вскоре появляется у Аксаковых. «Кажется, он имел намерение прочесть им что-нибудь свое» (ЛН, т. 58, с. 735), — сообщила Вера Сергеевна 23 июня М. Карташевской.

Чтение состоялось через день-два (25 июня Гоголь уже уехал в село Спасское, к Смирновой). Предыдущий тур завершился на третьей главе. Теперь Гоголь прочел главу четвертую. Присутствовал «Отесенька и братья», то есть Сергей Тимофеевич, Константин и Иван. Внизу удерживали приехавшего в дом Д. А. Оболенского, чтоб тот ненароком не поднялся на второй этаж и не расстроил чтения.

В. С. Аксакова (в письме к Карташевской от 26 июня) передавала впечатление слушателей: «Они все в восхищении, только эта глава далеко не так окончена, как предыдущие. Со стороны Гоголя это была маленькая жертва — прочесть то, что он думает потом сам изменить» (ЛН, т. 58, с. 736).

Как примирить замечание о недоработанности главы с тем, что Гоголь, как мы знаем, вчерне завершил всю работу и многие главы отделал и отшлифовал? Дело в том, что Гоголь вновь и вновь возвращался к написанному. Во время совместного путешествия на юг он говорил Максимовичу о бесконечном процессе

совершенствования поэмы: «Беспрестанно поправляю... и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные строки читаю еще ненаписанные. Только вот с первой главы туман сошел»<sup>63</sup>.

В. С. Аксакова передает впечатление отца и братьев о IV главе: «Несмотря на неоконченность главы, говорят, Гоголь захватывает такие разнообразные стороны жизни в среде, уже более высокой, так глубоко зачерпывает с самого дна, что даже слишком полны по впечатлению выходят его главы...» (ЛН, т. 58, с. 736)<sup>64</sup>.

С 25 июня Гоголь живет в селе Спасском, в подмосковном имении Смирновой. По утрам, как обычно, работает.

Смирнова «видала перед ним мелко исписанную тетрадь в лист, на которую он всякий раз набрасывал платок; но однажды ей удалось прочитать, что дело идет о генерал-губернаторе и о Никите» (102, IV, 795). Упоминание генерал-губернатора свидетельствует о том, что Гоголь работал над одной из последних или последней главой. Кто же такой был Никита — неизвестно; подобного персонажа в сохранившихся текстах мы не встречаем.

Однажды произошел мелкий эпизод, огорчивший Гоголя.

Читая Четьи-Миней, Гоголь «предлагал это чтение хозяйке». Но Смирнова, страдая расстройством нервов, отклонила предложение. «Тогда Гоголь хотел повеселить ее и предложил прочитать ей первую главу второго тома «Мертвых душ».

Видимо, Гоголь внес новую правку в текст главы (ср. только что приведенные свидетельства Максимовича: «...с первой главы туман сошел»), о которой еще не знала хозяйка. Кроме того, было известно о симпатии Смирновой к Тентетникову и Гоголь думал, что новая встреча с этим персонажем «живо займет ее».

Но произошло неожиданное. «...Болезненное состояние не позволило ей увлечься и этим чтением. Она почувствовала скуку и призналась в этом автору «Мертвых душ».

— Да, вы правы, сказал он: это все-таки дребедень, а вашей душе не того нужно.

Но после этого он казался очень печальным» (102, IV, 795).

Несколько иначе запомнился этот эпизод Арнольди: Гоголь намередвался прочесть не первую главу, а «окончание второго тома». Но результат был тот же: «...сестра откровенно сказала, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений». «Мне показалось,—добавляет Арнольди,—что он немного обиделся этим отказом» (4, с. 494).

Но дело было не в обиде, а в другом, более сложном переживании: Гоголь верил в целительную силу своего сочинения, думал, что оно есть дело души и потребно душе. И реакция Смирновой показалась ему тревожным симптомом...

Гоголь пробыл в Спасском около двадцати дней. К середине июля он вернулся в Москву. «Поспешил сюда с тем,—пишет он Плетневу 15 июля,—чтобы заняться делами по части приготовления к печати «М[ертвых] д[уш]» второго тома, и до того изнемог, что едва в силах водить пером, чтобы написать несколько строчек записки...» (XIV, 240).

Во второй половине июля Гоголь приезжает к Шевыреву на подмосковную дачу и в атмосфере величайшей секретности читает ему «Мертвые души». В письме к Шевыреву, написанном около 25—26 июля, он убедительно просит «не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев». Секретность вызвана тем, что последние главы—пятую и шестую—Гоголь еще никому в Москве не читал и, видимо, в совершенстве их не был уверен. «Очень рад, что две последние главы, кроме тебя, никому не известны. Ради бога никому» (XIV, 241—242),—заканчивает Гоголь письмо.

В ответной записке от 27 июля Шевырев заверяет: «Успокойся, даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии. Только раз при тебе же назвал штабс-капитана Ильина и только. Твоя тайна для меня дорога, поверь. С нетерпением жду седьмой и восьмой главы» (71, с. 68).

Седьмую главу Гоголь вскоре ему прочел.

После смерти писателя, 2 апреля 1852 года, Шевырев писал его родственнице М. Н. Синельниковой: «Из второго тома он читал мне летом, живучи у меня на даче, около Москвы, семь глав. Он читал их, можно сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей» (81, 1902, т. 110, с. 442—443). Из этих слов видно, что при всей завершенности текста Гоголь продолжал вносить изменения, и некоторые из них еще даже не были письменно зафиксированы.

Приведенное свидетельство подкрепляется рядом других. Н. П. Трушковский, явно со слов Шевырева, сообщал в предисловии к первому изданию второго тома: «В августе 1851 г. Гоголь прочел С. П. Ш[евыреву] шесть глав, совершенно окончанных к печати, и седьмую почти готовую» (6, с. VII). В некрологе, написанном Погодиным, также отмечено, что Гоголь «летом... читал многим главы (до семи) из второго тома...» (64, 1852, № 5, с. 47). «До семи» глав Гоголь прочел только Шевыреву. Это было ровно на три главы больше, чем Аксаковым.

Очевидно, в одной из этих глав (скорее всего в шестой или седьмой) содержался рассказ об аресте и ссылке Тентетникова и поездке к нему Улиньки, поскольку об этих событиях мы узнаем только от Шевырева и их не упоминает даже Смирнова (слышавшая, по-видимому, пять или шесть глав). Возможно, как-то

связан с описываемыми событиями и штабс-капитан Ильин, хотя с определенностью судить о характере и месте этого персонажа мы не можем (ср. комментарий VII, 422).

К этому времени Гоголь считал работу над вторым томом в основном законченной. М. Погодин в упомянутом некрологе вспоминает, что после чтения II тома Шевыреву писатель «сам попросил напечатать известие в журнале о скором его издании вместе с умноженным первым».

Сведения о скором появлении второго тома стали распространяться все шире и шире. Проникли они и за границу. 18 августа 1851 года Ф. И. Иордан сообщал живущему в Италии А. А. Иванову, что Гоголь «кончил свои «Мертвые души» и готовит пустить их в цензуру» (ЛН, т. 58, с. 737).

Как-то в сентябре с Гоголем встретился Анненков. Не удержался и спросил о втором томе поэмы, и вопрос этот, обычно вызывавший у Гоголя раздражение, был встречен им спокойно. «По крайней мере на мое замечание о нетерпении всей публики видеть законченным наконец его жизненный и литературный подвиг вполне, он мне отвечал довольным и многозначительным голосом: „Да... вот попробуем!“» (10, с. 545).

\* \* \*

Осенью 1851 г. Гоголь читал первую главу Д. А. Оболенскому и А. О. Россету, младшему брату А. О. Смирновой.

Двумя годами раньше, во время совместной поездки из Калуги в Москву, Оболенскому не удалось уговорить писателя раскрыть свой заветный портфель и прочитать что-нибудь из поэмы. «Еще теперь нечего читать,— отговаривался Гоголь,— когда придет время, я вам скажу».

Теперь Гоголь предложил прочитать первую главу сам. Свидетельство Оболенского об этом событии (см.: 4, с. 548—552) очень ценно, так как проливает свет на окончательную редакцию первой главы, явившуюся после многих переделок, доработок («...с первой главы туман сошел»), ту редакцию, которая в составе всей рукописи была Гоголем уничтожена. Какие изменения претерпел текст с середины 1849 года? Как соотносятся эти изменения с сохранившимися фрагментами? Собственно, только о первой главе, благодаря упомянутым воспоминаниям, мы и можем судить с большей или меньшей определенностью.

Оболенский зафиксировал тождество начала услышанной редакции с напечатанным текстом: «Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: „Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни...“» и т. д. Тот текст, который слышали Смирнова и Арнольди, начинался

иначе. «Читатель помнит торжественный тон окончания первого тома. В таком тоне начинался, по ее [Смирновой] словам, и второй. Слушатель с первых строк был поставлен в виду обширной картины, соответствовавшей словам: «Русь! куда несешься ты? дай ответ!» и пр.; потом эта картина суживалась и наконец входила в рамки деревни Тентетникова» (54, с. 226). Следовательно, к осени 1851 года Гоголь переработал зачин, и опубликованный текст отражает более позднюю, а не первоначальную редакцию. Это подтверждается и состоянием рукописи тетрадки, содержащей первую главу; первые две страницы в ней (от слов «Зачем же изображать...» до «...освещало их вечное солнце») представляют собой более позднюю вставку<sup>65</sup>.

(Этим, кстати, снова подтверждается, что часть текста, в том числе начало первой главы, Гоголь читал Смирновой именно по сохранившемуся списку, а не по какому-то другому беловику. Ведь в противном случае изменения были бы внесены в этот беловик. Нелогично при наличии белой редакции править предшествовавший черновой текст.)

Что же касается таких событий, как «приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года»,—говорит Оболенский. Тем самым мемуарист фиксирует тождество окончания главы в обеих редакциях—сохранившейся и той, которую он услышал.

Существенные изменения отметил Оболенский в предыстории Тентетникова: если рассказ о его воспитании, «сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года», то «причина... выхода в отставку Тентетникова была гораздо более развита, чем в вариантах, которые до нас дошли».

И тут нам откроется неизвестная сторона истории второго тома, если свидетельство Оболенского сопоставить с другим документом—письмом Самарина к Гоголю.

Мы помним, что годом раньше, в марте 1850 года, Гоголь читал первую главу Самарину и Хомякову. От Самарина, имевшего опыт государственной службы, Гоголь ждал конкретных и дельных замечаний, и тот, высказав свою высокую оценку главы, написал и «несколько придирчивых строк, касательно не художественной стороны, а исторической верности». Замечания Самарина целиком относились к служебной деятельности Тентетникова и причинам его выхода в отставку.

По наблюдениям Самарина, молодые чиновники делятся на три разряда. Одни «втягиваются в служебный формализм», находя в чиновничьей карьере свое призвание. Другие получают

отращение к службе, но не оставляют ее, находя отраду в том, что смотрят на службу «как на предлог, достойный во всей его мерзости изучения». Но есть еще третья группа молодых чиновников, впадающих «в тоску». «Их мучит именно эта отрешенность от жизни, эта отвлеченность их деятельности. Им совестно решать дела на бумаге, из которых ничего не видно, на бумаге, которая в жизнь не перейдет. Чем значительнее обязанность, на них налагаемая, тем совестнее. Их сокрушает не ничтожность предмета занятий, а ничтожность, ограниченность взгляда на предмет, преступная легкость, с которою оно обдывается. В этом случае страждет не самолюбие, а другая, лучшая потребность. Эти люди или бросают службу или — как Тентетников — приучаются смотреть на нее как на дело второстепенное». «В характере Тентетникова, — заключает Самарин, — эта тема, конечно, не главная, и вы должны были коснуться ее слегка, поэтому все, что я сказал, может быть вовсе некстати; но все же мне хотелось указать на предмет, знакомый мне и который, может быть, вы когда-нибудь разработаете» (81, 1889, т. 63, с. 176). Предмет, как видим, исполненный самого глубоко смысла.

Теперь прочитаем у Оболенского, что думал, переживал и делал Тентетников, поступив на службу. «С рвением принимается за работу. Прежде всего его смущает механизм занятий... Но он с этим примиряется в надежде все-таки добраться до сути дела, где найдет пищу своим благородным стремлениям и где, может быть, его ожидают подвиги... Он пишет, пишет новые законы, пишет распоряжения о благоустройстве отдаленнейших мест, о которых не имеет ни малейшего понятия. Пишет заочно наказания, разрешающие участь целого народонаселения, о действительных нуждах которого он ничего хорошенько не знает. Решает на бумаге дела людей, живущих за три тысячи верст... Он чувствовал, что не так следовало бы идти делам, а как — не знал. И он утратил веру в службу. Вот разгадка, почему Тентетников «свыкнулся с службой...». «...При первом случае он выходит в отставку».

Как видим, Гоголь действительно «разработал» тему, подсказанную ему Самариним. Он принял и развил мотивировку разочарования Тентетникова, обусловленную формализацией службы, заочным, чисто бумажным и легким решением дел, содержание которых никому не известно. Тут совпадает сама суть проблемы.

Однако есть и более частные переключки. Самарин отмечал, что начало карьеры Тентетникова представлено неточно в чисто служебном отношении. «Получивший ученое образование» и не

лишенный протекции, Тентетников был бы определен «прямо в столоначальники» или в «помощники», от него бы не требовали «изящного почерка» (Тентетников определился лишь на должность «списывателя бумаг», и о дальнейшем продвижении его по службе в сохранившемся тексте не сообщается). Должность же столоначальника весьма важная, так как именно он составляет решение, которое вышестоящие начальники лишь обрабатывают. «Поэтому мне кажется,— пишет Самарин Гоголю,— что впечатление, произведенное на Тентетникова его служебной деятельностью, не также совсем верно, именно потому, что самая эта деятельность представлена у вас слишком ничтожною и ограниченной» (там же, с. 175).

А вот как запомнилось соответствующее место Оболенскому: Тентетников «принимается за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким. Действительно, уже в *должности столоначальника* у него в руках дела, направление которых уже много от него зависит» (курсив мой.— Ю. М.). Гоголь «укрупнил» полномочия и должность своего героя, даже «произвел» его в столоначальники, как советовал Самарин,— с тем, чтобы создать почву для мотивировки разочарования—разочарования в своей деятельности, в служебном делопроизводстве.

Оболенскому запомнилось, что «рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок». Все это совпадает с другими свидетельствами о том, что Гоголь вновь и, как ему казалось, уже окончательно переработал первую главу.

Тем не менее когда Оболенский заметил, что директор училища Александр Петрович «представляется каким-то лицом идеальным, что он «безжизнен», Гоголь сказал: «Это справедливо—...и, подумав немного, прибавил:—Но он у меня оживет потом». «Что разумел под этим Гоголь—я не знаю». Но разуметь Гоголь мог только одно: что он еще будет работать над текстом, внесет новые поправки. И это после всех переписок и перделок главы!..

Дело в том, что замечание Оболенского совпало с теми упреками, которые ранее высказывали Смирнова и Арнольди—в идеальности и ходульности некоторых фигур. Этого-то Гоголь больше всего боялся, и суждение Оболенского могло натолкнуть его на мысль, что глава все же еще не готова<sup>66</sup>.

\* \* \*

В последние месяцы жизни настроение Гоголя менялось необыкновенно часто, уверенность в своих силах уступала место разочарованию и тоске. 2 сентября он пишет матери, что, желая



---

Н. В. Гоголь незадолго до смерти.  
Художник Э. Дмитриев-Мамонов.

---

ускорить дело, он перенапрягся и оттого отдалил его «года, может быть, на два» (XIV, 245). Хотя Гоголь, «по-видимому, с умыслом, преувеличивал препятствия» (Н. Тихонравов), намеренно удлинял сроки, но состояние его было трудным. «Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно. Чувствую, что нужно развлечение, а какое — не найду сил придумать», — пишет он Шевыреву 30 сентября.

В тот же день Гоголь отправляется в Абрамцево. Это «было последнее посещение Абрамцева и последнее свидание со мною» — говорит С. Т. Аксаков (102, IV, 814).

1 октября, в день рождения своей матери, Гоголь ездил к обедне в Сергиеву лавру. К этому дню следует отнести встречу Гоголя с Бухаревым, то есть архимандритом Сергиевой лавры Феодором<sup>67</sup>, о чем мы еще будем говорить. Бухареву Гоголь показался грустным и одиноким.

На обратном пути Гоголь заехал в Хотьков монастырь, за Ольгой Семеновной Аксаковой. «Поутру Гоголь был невесел; «развеселился» лишь по возвращеньи,— заметил С. Т. Аксаков.

О глубине отчаяния, которое напало на Гоголя, свидетельствует такой факт. Во время встречи с Ольгой Семеновной «Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома, что в нем *все нигуда не годится и что надо все переделать*» (82, 1878, кн. 2, с. 54). Такого признания Гоголь еще не делал!..

Но по возвращении в Москву, 3 октября, Гоголь снова — в который уже раз — почувствовал облегчение. «Здоровье мое идет понемногу, нервы еще успокоились не совсем, но, кажется, как будто покрепче» (XIV, 257). Работа, хотя и «туго», но сдвинулась с места. «Может быть, оно и лучше, если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь» (XIV, 257), — пишет он С. Т. Аксакову.

Значит, в Абрамцеве Гоголь ничего не читал; не до того ему было. Да и помимо болезненного состояния, существовал какой-то психологический порог, который не мог переступить Гоголь. Не мог решиться прочесть Аксаковым следующие главы<sup>68</sup>. Ведь Аксаковы — Сергей Тимофеевич и Константин — были самыми строгими среди близких Гоголю ревнителями его художественности, теми, кто больше всех предостерегал против опасности идеальности и декларативности. Гоголь преодолел эти опасения, завоевал их расположение, одобрение, даже восторг первыми четырьмя главами. Но выдержат ли этот суд главы последующие? Вот что, видимо, беспокоило писателя.

Между тем в литературных кругах все с большим нетерпением ожидали появления второго тома. 6 октября петербуржец Плетнев спрашивает Погодина: «Печатается ли второй том «Мертвых душ?» (ЛН, т. 58, с. 738).

В Москве же знали, что до печатанья еще не дошло, что дело обстоит не так просто. 20 октября Гоголя, в его квартире на Никитском бульваре, посещают И. С. Тургенев и М. С. Щепкин. «Помнится, мы с Михаилом Семеновичем... ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения.

Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ»... что он этого разговора не любит» (94а, с. 65).

Но в ноябре Гоголь неожиданно почувствовал некоторый прилив сил. 12 ноября проездом в Москве побывал Андрей Божко, одноклассник Гоголя по Нежинской гимназии. Повстречавшись с Гоголем, он написал о своих впечатлениях неизвестному нам лицу: «Я нашел его таким же, как он и прежде был, но только похудевшим и посерьезнее... На вопрос: оживают ли его «Мертвые души» — «Как же иначе? И даже почти ожили», — с улыбкою, известною Вам, отвечал он мне» (ЛН, т. 58, с. 766—767). Спустя четыре дня Е. И. Якушкин, юрист и этнограф, сын декабриста И. Якушкина, сообщил из Москвы И. К. Бабсту, что «Гоголь собирается печатать 2-й том «Мертвых душ», который окончен совершенно и который уже он читал у Назимова<sup>69</sup>. Шевырев уже покупает, по его поручению, бумагу для печати...» (ЛН, т. 58, с. 748). 30 ноября Гоголь пишет Плетневу, что он торопится воспользоваться «свежими минутами», чтобы «скорее привести к окончанию» свою работу (XIV, 260).

В следующем месяце Гоголь сохранил спокойствие и расположение к труду. На письмо А. С. Данилевского, спрашивавшего «когда же 2-я часть „Мертвых душ“?» (102, IV, 839), Гоголь отвечал 16 декабря — отвечал без раздражения, с указанием примерного срока: «Если не будет помешательств и бог подарит больше свежих расположений, то, может быть, я тебе его привезу летом сам, а может быть и в начале весны» (XIV, 261). Речь шла, разумеется, не о рукописи, а о готовой книжке. К весне Гоголь рассчитывал издать ее в свет.

В свое время, как писал Н. П. Трушковский, «Гоголь и С. Т. Аксаков сделали между собою условие, чтобы Гоголь приготовил осенью 1851 года к печати 2-й том «Мертвых душ», а Г. А[ксаков] — свои «Записки ружейного охотника» и чтобы зимою вместе начать их печатание. Г. А[ксаков] кончил свою работу и, желая подстрекнуть Гоголя, уведомил его об этом немедленно...» (6, с. IV. См. также 102, IV, с. 81). В ответ Гоголь писал: «Поздравляю вас от всей души, что же до меня, то хотя и не могу похвалить[ся] тем же, но если бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь» (XIV, 264). Выражение «несколько деньков» едва ли следует понимать буквально; однако ясно то, что Гоголю потребно было уже немного времени для завершения второго тома.

Во время посещения Троице-Сергиевой лавры 1 октября 1851 года Гоголь, как мы уже упоминали, встречался с Бухаревым. Состоялся разговор о «Мертвых душах», судя по всему, немногословный—ведь Гоголь находился в тяжелом состоянии духа,—но важный тем, что он имел свою историю.

А. М. Бухарев, он же архимандрит Феодор, в 40-е годы магистр Московской духовной академии, один из примечательнейших людей своего времени, живо интересовался произведениями Гоголя. В связи с появлением «Выбранных мест...» и завязавшейся вокруг них полемики, он составил книгу «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году», увидевшую свет, правда, значительно позднее—в 1861 году. (Эти письма фактически послужили причиной ссылки Феодора в Казань, в качестве инспектора академии.) Считая, что нужно соединить различные идейные течения, Бухарев говорил о пользе синтеза «гоголева изображения» с «делом» хоть того же Белинского, возвышавшегося часто до одушевления поэзии и глубоко (хотя и односторонне) постигавшего и одушевлявшего истину» (19, с. 259; в дальнейшем страницы этого издания указываются в тексте). Но особенно важно то, что Бухарев делится своими мыслями о продолжении поэмы, об ее третьем томе. Все это носит характер предположений, но для нас существенно то, что они исходят от вдумчивого читателя «Мертвых душ», неоднократно беседовавшего с автором.

Нет сомнения, что к концу работы над вторым томом Гоголь уже имел определенную перспективу развития содержания в третьем томе, а может быть уже и сделал некоторые заготовки.

По мнению Бухарева, Чичикова должно было постигнуть наказание. «Дело о мертвых душах в этом губернском городе... рано или поздно вскроется... и Павла Ивановича найдут, куда бы он ни заехал в беспредельном русском царстве» (134). Кара, обрушившаяся на Чичикова, послужит началом его исправления, чему будет содействовать и встречи с другими людьми, разнообразными воздействия внешнего мира. «Может быть, чудная русская девица, какой еще не сыскать нигде в мире», «вся из великодушного стремления и самоотвержения», которая «уже затронула в его душе это затаенное живое сочувствие»,—на «небывалое страдание ответит неслыханным, необыкновенным состраданием и на чувство и сознание своей вины, не дающей и места надежде и бодрости, загорится любовью, готовую понести с ним вместе всю эту невыносимую тяжесть... Но и этого не совсем достаточно для оживления такой души, какова у Павла

Ивановича. Надо еще при всем сказанном подействовать на главную духовную пружину, на эту его житейскую положительность, упорно стойкую в своих стремлениях: надо, чтобы душе его открылась возможность высшего, разумного, высокохристианского и в житейском хозяйстве, чтобы (разумеется, вместе с неожиданным прощением от узнавшего все эти человеческие глупости верховного на земле человеколюбия) увидел он у себя и частные к такому хозяйству средства и помощницу, какой он и не воображал в своих прежних мечтах о детской...» (135).

Нетрудно видеть, что в приведенных рассуждениях автор опирается на некоторые мотивы гоголевского текста. Роль чудесной русской девицы в исправлении Чичикова вытекает из его способности отзываться на женскую красоту, пусть еще способность ограниченную и приглушаемую разными меркантильными соображениями и пошлым вкусом. На эту способность есть указания не только в первом томе, но и во втором: при появлении Улиньки (в доме Бетрищева) Чичиков был поражен ее красотой, «смотрел на нее, как оторопелый, и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток, именно—недостаток толщины». Будет ли этой женщиной та самая Улинька, с которой еще доведется встретиться Чичикову, или другой, неизвестный нам персонаж,— сказать невозможно.

Но Бухарев считает необходимым участие и иного, чисто практического мотива исправления Чичикова. К словам о высокохристианском применении «житейской положительности» автор делает позднейшее примечание, что эту способность «раскрывал ему» Костанжогло— «так живительно и освежительно подействовали на душу Чичикова возвышенно-разумные хозяйственные речи» (135). Можно добавить еще, что в том же духе воздействовал на Чичикова и Муразов, пытавшийся обратить его практическую сметку во благо и добро: «...я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпением, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей [цели]!» Говоря же о «частных к такому хозяйству средствах и помощнице», Бухарев подразумевал мечту Чичикова о домашнем очаге, о спутнице жизни, о детях— Чичонках,— которые продолжали бы род его. Все это должно было содействовать исправлению героя.

Бухарев полагает, что ставший на новый путь Чичиков окажет благотворное воздействие на других. «...И подвигнется он взять на себя вину гибнущего Плюшкина, и сумеет исторгнуть из его души живые звуки»; скажет «сраженной скорбью Коробочке доброе и живительное слово»; укажет Ноздреву «достойное поприще его удали» и «Маниловой укажет средства

укрепнуть в духе самой и мужа укрепить»,— «и все городское общество подвигнет к лучшему»,— и в этом скажется «многосторонняя и энергическая натура» Чичикова (136).

И станет финал поэмы апофеозом всеобщего воскрешения и воскресения. Сам царь окажет милосердие погибшим душам, «узнав о них или о главной из них (т.е. о Чичикове.— Ю. М.), может быть при посредстве той же прекрасной души» (т. е. девушки). «И Селифан всегдашний зритель всех этих событий, проснется от усыпления со своей прекрасной натурой» и Петрушка «освежеет» и т. д.

Но не зашел Бухарев уж слишком далеко, не переборщил ли по части конкретных событий и деталей? По крайней мере видно, что здесь он уже перестает опираться на реальные мотивы текста, как это было при начертании судьбы Чичикова.

Интересна реакция Гоголя на размышления его интерпретатора. «Помните,—сообщал Бухарев в позднейшем примечании,—когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора «Мертвых душ», желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович? Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам царь и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В разъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих речах.— А прочие спутники Чичикова в Мертвых душах?—спросил я Гоголя: и они тоже воскреснут?—«Если захотят, ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев в столкновение с истинно хорошими людьми и проч. и проч.» (138—139).

Обращает на себя внимание сдержанность Гоголя: он утвердительно говорит лишь об оживлении Чичикова, отказываясь называть других персонажей. Во всяком случае, набросанный Бухаревым целый каскад воскрешений автором не подтверждается. Есть и прямое противоречие: по Гоголю, на «первом вздохе» Чичикова «для истинной прочной жизни» поэма завершается; у Бухарева же Чичиков еще успевает совершить пропасть добрых дел.

Все это говорил Гоголь Бухареву раньше. В последнее же свидание, 1 октября 1851 года, беседа была скупой, и собеседнику виделся в Гоголе «мученик нравственного одиночества—

одной из самых тяжелых пыток для душ симпатичных...» (139).

Помимо слов, переданных Бухаревым, известно еще *только одно* свидетельство самого Гоголя, касающееся содержания III тома. В статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» из «Выбранных мест...» (датирована 1844 г.), призывая Языкова выставить читателю «ведьму старость... которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно», Гоголь прибавлял: «О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома „Мертв[ых] душ“!».

Значит, помимо Чичикова с определенностью можно говорить еще только об одном персонаже, которого Гоголь намеревался привести к возрождению или, по крайней мере, осознанию своей греховности. При этом Плюшкин должен был предостеречь других, сказать что-то проникновенное на основе своего горького опыта, причем его слова перекликались бы с известным авторским отступлением о неумолимой старости, образовав между первым и третьим томом живую перекличку. Что же касается возрождения других персонажей, то оно пока остается предположительным.

С большей вероятностью можно говорить и о месте действия третьего тома. Во втором томе Тентетникова ссылают в Сибирь, куда вслед за ним едет Улинька. Упоминание о Сибири несколько раз возникает в заключительной главе первоначальной редакции: один раз в связи с хозяйственными распоряжениями генерал-губернатора («У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут») и дважды в связи с преступлениями Чичикова («Вот как схватят, да ... прямо в Сибирь», — думает Чичиков, и генерал-губернатор говорит ему, что он заслужил «кнут и Сибирь»). Вполне вероятно поэтому предположение Бухарева, что в конце концов разоблаченного Чичикова сошлют в Сибирь. В заключительной главе II тома в дальнее странствие «по городам и деревням», на «богоугодное дело» сбора денег для церкви собирается Хлобуев. «...Вы отправитесь по тем местам, где я еще не был...», — говорит ему Муразов; как знать, не приведет ли Хлобуева дорога в Сибирь? По предположению Алексея Веселовского, поддержанного В. В. Гиппиусом, «Плюшкин должен был превратиться в бессребреника, раздающего имущество нищим» (33, с. 233). Если это так, то путь скитальца, странника с нищенским посохом мог и его привести в края Сибири.

Словом, одни персонажи (Тентетников, Улинька) определенно оказываются в Сибири, а другие (Чичиков, Хлобуев, Плюшкин) — вполне вероятно, что свидетельствует о явном авторском расчете. Расчете, пристекающем из особенностей его поэтики.

Гоголю было свойственно ограничивать художественное пространство каждого тома определенным регионом: первого тома — губернским городом NN; второго тома — городом Тыфуславль (название, данное в первоначальной редакции) и прилегающими к этим городам землями<sup>70</sup>. Не намеревался ли Гоголь в третьем томе перенести действие в Сибирь, собирая для этой цели своих героев на одной сценической площадке?

Об этом свидетельствует и интерес Гоголя в последние месяцы жизни к сибирскому материалу, пришедший на смену его интересу к средневропейской полосе. Возвращая Шевыреву книгу И. Г. Гмелина «Путешествие по Сибири в 1733—1743 гг.» и испрашивая у него же пять томов «Путешествия по разным провинциям Российского государства...» П. С. Палласа (Спб., 1773—1778), Гоголь поясняет: «Мне нужно побольше прочесть о Сибири и северо-восточной России» (XIV, 264—265)<sup>71</sup>.

Около того же времени, 31 октября 1851 года, И. С. Аксаков сказал Данилевскому, что Чичиков «вероятно, попадает за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России; хочет на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою речью и затем уже снова выступить на литературной сцене, с своими новыми образами» (4, с. 441).

К этому времени — к весне будущего 1852 года — второй том должен был уже выйти, и Гоголь, открытый новым впечатлениям, встал бы вплотную перед завершением своей гигантской эпопеи. Но все сложилось иначе.

## ГЛАВА XX.

---

# КАТАСТРОФА

---

Наступил 1852 год. Вопреки своему обыкновению, Гоголь остался зимовать в Москве, не подавшись в южные теплые края. Думалось: «...и здесь соберутся во мне силы и я буду здоров и годен для труда и работы» (XIV, 254).

Последний раз он зимовал на севере, в Петербурге, шестнадцать лет назад, перед долгой поездкой за границу, а в Москве в 1849—1850 годах.

В первый день Нового года Гоголя навещил Арнольди. «Он был немного грустен, расспрашивал меня очень долго о здоровье сестры, говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окончится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет

второй том «Мертвых душ», который, по его словам, был совершенно окончен» (4, с. 496).

Впечатление, сложившееся у Арнольди, подтверждает и скульптор Н. А. Рамазанов. Тот встретился с Гоголем 9 января в Большом театре на бенефисе Щепкина: «...Николай Васильевич здоров, но крайне задумчив и скучен» (ЛН, т. 58, с. 742).

Как часто у Гоголя, спад настроения был, видимо, вызван замедлением работы. С. Т. Аксакову он жалуется на «медленно движущееся вдохновение», на то, что «дело... идет крайне тупо» (XIV, 267).

Но к концу месяца Гоголь взял себя в руки. О. М. Бодянский, посетивший писателя 24 января, нашел его «полным энергической деятельности». Гоголь держал корректуры сочинений и еще, говорил он, «мараю все свое», подразумевая, видимо, «Мертвые души» (55, с. 190).

Но через день происходит событие, имевшее сильное воздействие на душевное состояние Гоголя: умирает жена Хомякова Екатерина Михайловна, сестра Языкова, близкого Гоголю человека, скончавшегося несколькими годами раньше. Смерть Хомяковой до того потрясла Гоголя, что он не имел силы пойти на похороны. Слышали, как Гоголь произнес: «Все для меня кончено». «С тех пор,—рассказывает Хомяков,—он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве» (14, т. XI, с. 536). На Гоголя «нашел страх смерти»—болезнь, от которой, по его словам, умер его отец.

К февралю, однако, Гоголь внешне успокоился, вернулся к работе. 1 февраля его видела В. С. Аксакова. Он был «весел или, скорее, светел как-то и душой и лицом» (39, с. 167). Вера Сергеевна спросила, работал ли он сегодня.—Нет.—Ну,—сказала я,—вы погуляли, вам надобно поработать. Он так светло улыбнулся на эти слова.—Да, надобно, но не знаю, как удастся...» (там же). На другой день Гоголь писал Жуковскому: «Сию по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же. Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной» (XIV, 269). На третий день Гоголь вновь зашел к Аксаковым. «Я пришел к вам пешком прямо от обедни,—сказал он,—и устал.» «В его лице точно было видно утомление хотя и светлое, почти веселое выражение» (39, с. 167).

Но на следующий день, 4 февраля, состояние Гоголя вновь ухудшилось. Трудно точно определить, что послужило причиной... Но одно событие сыграло несомненно большую роль.

В конце января в Москву из Ржева приехал Матвей Константиновский.

Протоиерей ржевского Успенского собора (с 1849 г.), он не получил хорошего образования, плохо разбирался даже в догматах богословия, не говоря уже о науках, но зато обладал даром проповедника. Характером он был строг и нетерпим и к другим и к себе. Биограф Константиновского рассказывает, что, едва получив чин диаконский, он навсегда оставил мясную пищу. Рыбную пищу употреблял редко, а в среду и пятницу — никогда. Особенно строго соблюдал посты. Время же свое проводил так: «Встав в 3 часа утра, он отправлялся к утрени и с первым ударом колокола был уже в церкви. Оттуда возвращался в 10, в 11 или даже в 12 часов, отслужив или отслушав утрению и литургию. Если дома не было посетителей, он на несколько минут засыпал сидя. Спустя час после литургии садился за скромный обед. После обеда читал книгу или чем-нибудь другим занимался, потом отправлялся к вечерне. Вечером опять что-нибудь читал или занимался с посетителями либо с домашними: в 6 часов немного закусывал; в 9 часов становился на молитву, а в 10 часов ложился спать. В 12 часов просыпался и опять становился на молитву, и потом до 3 часов спал» (36, с. 276).

В конце января — первых числах февраля Гоголь виделся с Матвеем Константиновским несколько раз. Во время одной из встреч Гоголь попросил его прочитать рукопись второго тома. «Дело было так, — рассказывал Константиновский Т. И. Филиппову. — Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: «Глава», как обыкновенно писал он главами. Помню на некоторых было написано: глава I, II, III, потом должно быть 7, а другие без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет; да и к тому же еще с католическими оттенками, и выходит не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями...» (92, с. 137—141).<sup>72</sup>

Рассказ Константиновского подтверждает слова Смирновой, что в последних главах (одной или двух) фигурировал священник

и также генерал-губернатор, перешедший в окончательный текст из первоначальной редакции. Подтверждается и то, что прототипом священника послужил сам Матвей Константиновский, причем образ оказался достаточно узнаваемым.

Константиновский видел пронумерованными семь глав — ровно столько, сколько Гоголь счел возможным прочитать Шевыреву. Остальные были пронумерованными и, вероятно, менее обработанными. Из скольких глав состоял второй том, в точности неизвестно. Окружающие Гоголя называли цифру одиннадцать (4, с. 508, 509), то есть столько же глав, сколько в первом томе. Версия вполне вероятная, учитывая стремление Гоголя к симметрии.

Во время беседы Константиновский попрекал Гоголя в недостаточном благочестии. Так следует понимать его требование: «Отрекись от Пушкина... Он был грешник и язычник» (там же).

К воспоминаниям Константиновского мы еще вернемся. Пока же отметим, что беседа проходила не гладко; Гоголь возражал, оскорбив тем самым отца Матвея. Проводив его 5 февраля на станцию железной дороги, Гоголь на следующий день пишет ему извинительное письмо. Константиновский ответил 12 февраля. Упомянув о «скуке и душевном смущении» Гоголя, советует: «Как можно если не сердце, то по крайней мере ум ваш держите поближе к Иисусу Христу... естественно с условием уклоняться от мира и всего яже в нем». Это наставление продолжает прежний совет Константиновского уклоняться от Пушкина ради вящего смирения и благочестия. О «Мертвых душах», о писательстве отец Матвей не говорит ни слова. Зато недвусмысленно намекает на близящуюся смерть Гоголя: «...чувствую вместе с тем какую-то надежду и вы не посрамитесь пред Господом в день явления славы Его» (23, с. 65).

Но продолжим краткую хронику событий.

Еще за день до отъезда Константиновского, 4 февраля, Гоголь оставляет работу над корректурой. По-прежнему посещает некоторых своих знакомых — Аксаковых, Шевырева, Погодина, но от других встреч уклоняется. «Я к нему заезжал два раза, в последний раз с [А. М.] Языковым, — сообщал Д. Н. Свербеев. — Он никого не пускал. Слышу, что после свидания с каким-то аскетом, священником из Тверской губ. (т. е. с Матвеем Константиновским. — Ю. М.), Гоголь вдруг говееет на масле и держит... самый строжайший пост» (ЛН, т. 58, с. 747). Свербеев и многие другие не знали, что Гоголь не только постился и говел, но самым жестоким образом голодал, питаясь одною просфорой и отказываясь от другой пищи.

В четверг, 7 февраля, еще до начала заутрени Гоголь появился в церкви Саввы Освященного, в отдаленной части Москвы, чтобы исповедаться у своего духовника. «...Перед принятием святых даров, у обедни, пал ниц и долго плакал. В движениях его заметна была чрезвычайная слабость; он едва держался на ногах. Несмотря на то, вечером, он опять приехал к тому же священнику и просил отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что забыл исполнить это поутру» (55, с. 192—193).

В субботу, 9 февраля, посещает Хомякова, чтобы утешить его в потере жены, Екатерины Михайловны, и ласкает своего маленького крестника, сына Хомякова.

В воскресенье, 10 февраля, Гоголь призвал к себе графа Толстого и попросил передать его рукописи митрополиту Филарету— пусть тот решит, что следует после смерти Гоголя напечатать, а что оставить неопубликованным. Но Толстой «отказался принять бумаги, чтобы не показать больному, что и другие считают его положение безнадежным...» (55, с. 194). И тогда Гоголь решил распорядиться своими рукописями сам.

Произошло это в ночь с 11 на 12 февраля, с понедельника на вторник. Единственным свидетелем события был слуга Гоголя Семен, который впоследствии рассказал обо всем другим лицам— Н. В. Бергу, лечившему Гоголя врачу А. Т. Тарасенкову, М. П. Погодину. Их сообщения в главном совпадают. Приведем рассказ Погодина.

«Ночью на вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо»,— отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел, с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку... Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!»— «Не твое дело»,— отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал...

Поутру он сказал гр. Т[олстому]: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные,

а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти» (64, 1852, № 5, с. 49).

Когда А. П. Толстой впоследствии прочитал в статье Погодина об обстоятельствах сожжения рукописи, он написал автору: «Думаю, что последние строки о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить. Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому... Публика не духовник и что поймет она о такой душе, которую и мы, близкие, не разгадали. Вот и еще замечание: последние строки портят всю трогательность рассказа о сожжении бумаг» (14, т. XI, с. 534).

Погодин не согласился с таким мнением: «Я сам долго думал, почтеннейший граф Александр Петрович, о тех строках, кои остановили на себе Ваше внимание. Но имеем ли мы право умолчать их? Они заключают черту важную, без коей историческое изображение неполно, следовательно, не верно» (там же).

Через десять дней после сожжения рукописей, утром 21 февраля, Гоголь скончался.

\* \* \*

В. В. Гиппиус склонялся к мысли, что «Гоголь не хотел сжигать «Мертвые души» и сжег их случайно», вместо тех бумаг, которые были определены им на уничтожение (33, с. 221). Подкрепленная авторитетом видного ученого, эта мысль до сих пор имеет хождение в литературе. Но вдумаясь в то, что произошло. Гоголь среди глубокой ночи, вдребезь и крадучись, пробирается к месту совершения задуманного дела; слуга, в предчувствии недоброго, пытается его отговорить, но Гоголь остается непоколебим; потом, когда все уже было кончено, в изнеможении опускается на диван и плачет... Нет, ненужные рукописи так не сжигают.

Гоголь работал над вторым томом с огромным, нечеловеческим напряжением, переходя от веры в свое дело к неверию и от энтузиазма к отчаянию. Чем дальше, тем резче и чаще менялось настроение.

Гоголь любил слова «живой», «оживать», употребляя их в двойном значении. Ожить — значит воскреснуть к новой жизни, исправиться, измениться, как должны были измениться Чичиков или Плюшкин. Но ожить — значит и стать живым в художественном смысле, заставить поверить в свою подлинность, правдивость, всамделишность. «...Готовьте своих птиц,— писал Гоголь С. Т. Аксакову как автору «Записок ружейного охотника...»,— а я приготовлю вам душ, пожелайте только, чтоб они были живые, так же, как живы ваши птицы» (XIV, 250). И когда



---

Последние дни Гоголя.  
С литографии Солоницына.

---

корреспонденты и собеседники Гоголя, со своей стороны, спрашивали, оживут ли его мертвые души, они—вольно или невольно—касались не только проблемы будущего исправления героев, но и сегодняшнего их бытования на страницах создаваемого второго тома. В этом вопросе отчетливо звучала альтернатива: предстанут ли персонажи второго тома условными идеальными фигурами или полнокровными, живыми людьми? Более личного, важного и страшного вопроса для писателя не существовало.

Настроение Гоголя последних лет его жизни, подчас необъяснимые колебания, резкие переходы, помимо чисто физиологических причин, имели глубокую душевную подкладку. На самом дне сознания они неотвратимо пересекались с главным его жизненным вопросом: получилось или не получилось. Вся длинная череда чтений — устроенный Гоголем самому себе долгий экзамен — казалось, решительно склоняла к утвердительному ответу: Гоголь видел единодушное одобрение, нелицемерное выражение восторга и восхищения. Но он был не такой человек, который позволил бы себе поддаться этой волне и заглушить внутренние вопросы. Все снова и снова устроивал он себе экзамен, вглядывался в лица слушателей, искал тревожные симптомы... И находил.

Вот цитата из более позднего (от 3 октября 1862 г.) письма Самарина к Смирновой: «Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинает подрумьянивать действительность.

Никогда не забуду и того глубокого и тяжелого впечатления, которое он произвел на Хомякова и на меня раз вечером, когда он прочел нам первым две главы второго тома. По прочтении, он обратился к нам с вопросом: «Скажите по совести только одно — не хуже первой части?» Мы переглянулись и ни у него, ни у меня не доставало духа сказать ему, что мы оба думали и чувствовали...»<sup>73</sup>

Очевидно, это было то самое совместное чтение Самарину и Хомякову в первых числах марта 1850 года, о котором уже говорилось выше (см. гл. XVII). Но тогда, мы видели, Самарин высоко оценил услышанное (упоминая, правда, только первую главу) и даже написал Гоголю весьма одобрительное письмо. Теперь картина вырисовывается в другом свете. Очень может быть — и так скорее всего и было, — что Самарин не сказал Гоголю всей правды, отделавшись дежурными похвалами (Хомяков же, по словам С. Т. Аксакова, «сделал два замечания, по-моему неосновательные и пустые» — ЛН, т. 58, с. 734). Возможно и то, что ретроспективно Самарин преувеличивал свое и Хомякова негативное впечатление, что в свое время оно не было столь отчетливым и мелькнуло в виде слабого душевного движения, намека. Пусть так. Но едва ли этот намек укрывался от взгляда Гоголя.

А потом к этому симптому прибавились другие, и, как они ни были редки и мимолетны, на Гоголя все это оказывало сильное и даже преувеличенное воздействие. После сказанного ясно, почему Гоголя так расстроил отказ Смирновой летом 1851 года

послушать I главу; ясно также и то, что неслучайным было его решение — осенью того же года — не печатать второго тома, так как он никуда не годится. Собственно, решением это назвать нельзя: Гоголь колебался, его бросало то в одну, то в другую сторону; и через несколько дней после сделанного признания он вновь принялся за доработку и шлифовку рукописи.

В ряду этих симптомов, вероятно, одним из самых тревожных для Гоголя оказалась его беседа с Константиновским.

После рассказа отца Матвея об этой беседе произошел обмен репликами между ним и Т. И. Филипповым.

«— Говорят даже, что Гоголь сжег свои творения, потому что считал их греховными?»

— Едва ли, — в недоумении сказал о. Матвей, — едва ли... Он как будто в первый раз слышал такое предположение. — Гоголь сожег, но не все тетради, какие были под руками, и сожег потому, что считал их слабыми» (92, с. 137—141).

Матвея Константиновского не раз пытались уличить в противоречиях и неискренности (103, с. 160). Между тем он вовсе не скрывает, что советовал Гоголю уничтожить ряд тетрадок, что находил их содержание неверным и даже вредным; он лишь говорит о том, что Гоголь сжег их по другим мотивам — оттого «что считал их слабыми». И это различие мотивов в душевном состоянии обоих участников диалога вполне вероятно, и оно придавало особое, трагическое напряжение всей сцене.

В самом деле: Матвей Константиновский, «не ценитель», да и не поклонник «светских произведений», напирал на нравственную сторону, говоря, что изображение священника нарушает православный канон («с католическими оттенками»), искажает реальность и оттого будет иметь вредные последствия; отсюда вполне логично следовала мысль и о греховности светской писательской деятельности вообще. Все это производило сильнейшее впечатление на Гоголя, но потому, что он извлекал из всего услышанного свои выводы. Показалось неправдой, даже вредной неправдой — значит не сумел убедить. Не сумел убедить — значит «мертвые души» его не ожили. Но «не оживет, аще не умрет» (VIII, 297) — напоминал Гоголь слова апостола Павла еще после первого сожжения поэмы...

Отец Матвей во время встречи якобы напомнил Гоголю «Выбранные места...»: «Осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями». Тем самым он коснулся большой и еще не зажившей раны: ведь Гоголь расценивал историю с этой книгой как свое поражение. Тем самым продолжился и спор писателя со своим «исповедником», начавшийся после выхода книги.

В свое время, в конце 1847 года, Матвей Константиновский отправил Гоголю письмо о «Выбранных местах...». Письмо не сохранилось, но косвенно об его содержании можно судить по ответу Гоголя: «Я, точно, моей опрометчивой книгой (которую вы читали) показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства» (XIV, 40). Вопрос об учительстве был центральным в споре; понятие это ввел отец Матвей, упрекая, видимо, Гоголя в неправомерном учительстве и гордыне. Но что отвечал Гоголь? Он готов допустить, что погрешил «вселенским учительством», но погрешил потому, что уклонился от своей дороги: «...книга эта (то есть «Выбранные места...») есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния...» За переходным состоянием наступает другое, настоящее, прочное; состояние, в котором созидаются «Мертвые души» (их продолжение) и которое уже не сводится к учительству. «Я не хотел даже выводить нравоучения; мне казалось (если я сам сделаюсь лучше) все это нечувствительно, мимо меня, выведет сам читатель» (XIV, 41). К вопросу об отсутствии нравоучения, о жизненности изображения Гоголь возвращается и в других письмах к Константиновскому. «Хотелось бы *живо*, в *живых примерах*, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнью, как игрушкой, что жизнь — не игрушка» (XIV, 179; курсив мой.— Ю. М.).

«Хотелось бы» — да не вышло. Так отозвалось в сознании Гоголя злополучное сравнение «Мертвых душ» с «Перепиской».

Мы не знаем, какие еще разочарования испытывал Гоголь после отъезда Матвея Константиновского, не знаем, какие процессы протекали в этом глубоко потревоженном, больном сознании, но вполне возможно, что разговор с ржевским протоиереем оказался тем последним толчком, который привел к уничтожению поэмы.

В сказанной на другой день фразе Гоголя о действии «злого духа» видят доказательство случайного и непреднамеренного уничтожения рукописи. Но фраза, вероятнее всего, имела другой смысл, а именно тот, что он, Гоголь, под влиянием «злого духа» поддался слабости, совершил то, что не должен был, да и не хотел совершать. Фраза эта была симптомом раскаяния, глубокого сожаления, брезжащего сознания того, что он, Гоголь, хотел бы подняться, продолжить исполинский труд своей жизни. Так ведь неоднократно бывало в прошлом, после кратких или долгих остановок, после колебаний, депрессии и отчаяния, даже после трагического сожжения 1845 года... но на этот раз сил уже не доставало да и жертва была слишком велика.<sup>76а</sup>

Современники сохранили одно-два свидетельства о том, как Гоголь отнесся к мысли о восстановлении сожженной рукописи. А. Т. Тарасенков, очевидно со слов графа Толстого, писал, что тот, желая отстранить от Гоголя «мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак — и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» — «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу: у меня все это в голове». После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать» (4, с. 516). Но в состоянии ли он был поверить, убедить себя в возможности начать все сначала? В. С. Аксакова в 20-х числах февраля писала М. Карташевской, что «он жалел потом и, может быть, это еще усилило его болезнь» (ЛН, т. 58, с. 746).

Свой анализ творческой истории поэмы Н. Тихонравов завершает выводом: «Последнее сожжение второго тома «Мертвых душ» вызвано было тем же строгим отношением художника к своему труду, каким и первое; в основе того и другого приговора лежало справедливое недовольство «выдуманностями» образами и особенно тою «идеальностью», неестественностью образов, которая ненавистна была Гоголю в произведениях Кукольника и Полевого. Предсмертное сожжение многолетнего труда не было у Гоголя следствием болезненного порыва, нервного расстройства; всего менее можно в нем видеть «жертву, принесенную смиренным христианином»: оно было сознательным делом художника, убедившегося в несовершенстве всего, что было выработано многолетним мучительным трудом» (1, 576).

После всего сказанного можно отметить, в чем прав, а в чем неточен исследователь. Это верно, что уничтожение рукописи не было делом случая, а представляло собою результат психической и душевной деятельности художника. Но Тихонравов представляет эту деятельность в виде *однаправленной единственной* тенденции; между тем в сознании Гоголя сталкивались противоположные импульсы, и роковое решение явилось результатом борьбы. Окончательность гоголевского «приговора» проблематична, по крайней мере недоказуема; в истории поэмы уже бывали случаи, когда писатель отменял собственный приговор. И хотя итог — негативный итог — был неминуем, никто не мог предсказать, когда бы он наступил; точку в этом процессе поставила смерть.

Н. С. Тихонравов далее несколько чрезмерно рационализирует этот процесс: при всей сознательности гоголевского разочарования, осознанности его поступка участие «болезненных порыв-

вов» или «нервного» или, точнее, даже психического расстройства нельзя исключать — одно было связано с другим.

Наконец, требует конкретизации и мысль о «выдуманных» образах и идеальности. Трагедию второго тома нельзя сводить к неудаче в изображении позитивной стороны русской жизни и позитивных характеров, хотя бы потому, что поставленная Гоголем задача была значительно шире. Конечно, позитивное во все времена — и особенно в новые — являло собою достаточно сложный и рискованный предмет для художника. Шиллер по поводу неудачи позитивной части «Ксений» (совместного произведения его с Гете) писал: «Осуждение — всегда более допустимый материал, чем похвала, обретенный рай не столь удачен, как рай потерянный, и небо Данте намного скучнее, чем его ад»<sup>74</sup>. Гоголь не властен был отстранить от себя эти трудности, однако его положение было намного сложнее, чем, скажем, авторов «Ксений».

Ведь Гоголь отважился на большее, чем только воспроизведение положительных русских характеров и положительного начала русской действительности. «Мертвые души» должны были раскрыть *тайну* русской жизни, *предназначение* русского народа и государства. Ту великую тайну, которая осияет своим светом существование других народов, и то великое предназначение, которое укажет путь всему человечеству. Изображение позитивных сторон — производное от этого колоссального замысла, к которому трудно подобрать аналогии не только в русской, но и в новой западной литературе. Это был замысел провиденциальный, с вытекающей отсюда тенденцией к абсолютности во всем — в понимании правды, в художественных решениях, в творческих силах писателя, не говоря уже о совершенстве в самом первоисточнике — в самой русской жизни.

Гоголевский замысел, далее, заключал тенденцию к абсолютности и в своей обращенности к читателю. Предполагалось достигнуть такого уровня мыслительной и идейной содержательности, заключить ее в такую рельефную и неосязаемую форму, чтобы найденное обладало неотразимой и неопровержимой очевидностью. Гоголь хотел убедить всех — и высокообразованного интеллигента, и неискушенного читателя, и цензора, и чиновника, и государственного деятеля, и обывателя; хотел завоевать расположение каждого — и друга, и врага, и человека безразличного. Нет, он, конечно, не стал бы приспосабливать текст к любому близорукому суждению и к любой оценке неискушенного вкуса (художническая твердость и непоколебимость сохранились в нем до конца). Но выражения критики или недоумения воспринимались им как сигналы о том, что искомый идеал еще

не достигнут. Гоголь заведомо обрекал себя на неутолимость творческого беспокойства, на бесконечность художнического совершенствования, которое обращалось в столь же бесконечный процесс совершенствования нравственного. Ведь дело писательское неразрывно связывалось в его представлении с «делом души», и недостатки произведения воспринимались как свидетельство недостаточного внутреннего самовоспитания... Но не только убедить,—Гоголь хотел еще всех примирить, внести своим произведением дух согласия и взаимопонимания в ожесточившийся и распавшийся век. И тут, понятно, он обрекал себя на не менее сложный и бесконечный процесс.

Трагедия второго тома и вместе с ним всего замысла не может быть понята в рамках имманентного развития текста. Это был результат всей ситуации, в которую поставил себя творец «Мертвых душ». Помимо максимализма во всем—в художественном задании, в напряжении сил, в обращенности к читателям—эта ситуация была еще отяжелена тем, что в ней примирялось и объединялось заведомо непримиримое и несоединимое.

А. О. Смирнова подметила: «...Гоголь тщательно скрывал от других значение своей бессмертной поэмы и в то же время негодовал, что никто из читателей, и особенно из друзей, не догадался, что он замышлял сделать из своих «Мертвых душ», какое должно было быть влияние их на Россию. Он так и говорил: на Россию, на судьбу России, на развитие русского общества или на развитие русского человека». (81, 1902, декабрь, с. 490).

Гоголь в величайшей тайне вынашивал свой великий замысел, однако хотел, чтобы другие не только догадывались, но и знали об его масштабе и значении. Гоголь был исполнен сознания индивидуальности своих творческих усилий, и в то же время он превратил процесс создания поэмы чуть ли не в публичное действо, в которое с каждым новым чтением и по мере опубликования сопутствующих документов, вроде предисловия «К читателю от сочинителя» или «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», втягивалось все больше и больше лиц. Гоголь, как никто, понимал и оберегал интимность художнического дела, однако создал такую ситуацию, когда чужие взоры стремились проникнуть через «покров тайны», одно прикосновение к которому причиняло писателю мучительную боль.

Подобно одному из своих персонажей, Гоголь заставлял идти себя все выше и выше и наконец достиг той точки, откуда «вдруг стало видимо далеко во все концы света»,— значит, и его видели все и вся. Гоголевские смятения, неудачи, поражения

совершались на виду у всего «света», что многократно усиливало их разрушительное действие на душу писателя. Развязать весь тугой узел противоречий — творческих, идейных, психологических — не была в состоянии никакая сила, и когда они достигли крайней степени, разразилась катастрофа.

## ГЛАВА XXI

# ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Смерть Гоголя и сожжение рукописи потрясли современников. Многие годы Россия жила ожиданием второго тома — и вот он уничтожен. Страшная весть казалась невероятной, призрачной. «Всем хотелось разувериться, что погиб великий русский художник вместе со своим творением» (91, с. 21), — писал А. Т. Тарасенков.

Но реальность брала свое, и усиливалась боль, и возрастала мучительная тоска. «...Маменька очень плачет, — писала в начале марта В. С. Аксакова М. Карташевской, — да и не одна маменька и не одни женщины, плачут и тоскуют мужчины. Мне кажется, мысль о Гоголе завладевает чем дальше, тем сильнее... Отовсюду получаются письма, полные тоски и сожаления, от людей, едва его знавших...» (ЛН, т. 58, с. 751).

Через три дня после смерти Гоголя, 24 февраля, печальная весть пришла в Петербург. Стали известны и подробности случившегося. О. М. Бодянский писал в Петербург Г. П. Данилевскому: «Всем нам едино — умереть. Но вот беда: он в ночь, часу во втором-третьем, сжег все свои бумаги до тла» (4, с. 448). Под первым впечатлением от полученного известия И. С. Тургенев писал в «Письме из Петербурга», опубликованном в марте в «Московских ведомостях» (№ 32 за 1852 г.): «...невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно — и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...» (94а, с. 73). Тургенев говорит в сослагательном наклонении, словно еще надеется, что слухи не подтвердятся.

Вскоре «жестокие слухи» проникли и за границу. 14 апреля Мериме запрашивал из Парижа своего русского корреспондента С. А. Соболевского: «Напишите, пожалуйста, правда ли, что Гоголь сжег вторую часть «Мертвые души» (так!) перед смертью. Де Сен-При написал мне из Москвы, что Гоголь проводил свое время в посте и молитве. Я не знаю, как можно согласовать эту жизнь с его произведениями. Мне кажется, что



---

Дом в Москве на Никитском бульваре.  
Здесь Гоголь жил и умер.

---

над Вашими лучшими гениями всегда нависает страшная судьба» (24, с. 140—141)<sup>75</sup>.

Первые объяснения факта уничтожения рукописи были кратки и сводились к одному: приступ безумия. «Он сжег в минуту безумия все, что написал»,—говорил А. С. Хомяков А. Н. Попову (102, IV, с. 871). «...Гоголь... в припадке хандры, доходившей почти до сумасшествия, сжег свои бумаги, в том числе готовый к печати 2-й том „Мертвых душ“» (35, с. 297),—писал Т. Н. Грановский 26 февраля из Москвы к Е. К. Станкевичу, жене Александра Владимировича Станкевича.

Повсеместно осуждали графа А. П. Толстого, отказавшегося взять у Гоголя его рукописи (факт этот получил широкую огласку еще до напечатания некролога в «Москвитянине»).

«...Последнее наше сокровище отнял у нас Толстой своим ханжеством. Зачем лишил он нас еще одной части Мертвых душ?» (102, IV, 869),—писала М. Карташевская С. Т. Аксакову. Таково же было мнение Бодянского: «Премного провинились окружающие его, из коих одному он отдавал весь свой портфель, туго набитый; а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел дух рассказывать» (4 с. 448). П. А. Бессонов, ученик

Бодянского, впоследствии известный фольклорист, оценил свершившееся более широко — как проявление губительного воздействия на Гоголя «московской партии». «Толстой, имея дух рассказывать, что Гоголь отдавал ему 2-й том «Мертвых душ» и он не взял, прибавляет, что, «впрочем, в псалтыре заключается все нужное для спасения». Поступок Толстого соответствовал увещаниям Матвея Константиновского, «который говорил ему [Гоголю] о необходимости самоизнурения, т. е. подвигов, поста и т. п.» (ЛН, т. 58, с. 755).

Вихрь суждений, вызванных катастрофой, интенсивность и острота переживаний — все это производное от той ситуации, которую создали «Мертвые души» и которая так резко и трагически разрешилась. Ибо уничтожение второго тома было не только утратой великого произведения, но и тех надежд — отнюдь не только эстетических, которые с ним связывались. «Мертвые души» несли в себе обещание великой тайны и ее открытия, и пламя, истребившее последние листы рукописи, унесло и откровение тайны. Теперь тайной сделалась сама катастрофа и ее мотивы; напряженно-экзистенциальный эпитет — «таинственный» — был перенесен с ожидаемого произведения на совершившийся акт его уничтожения или, если говорить шире, на факт его ненаписания. Именно в этом свете открывается смысл горьких слов И. С. Тургенева: «...скажу Вам без преувеличения, с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя... Эта страшная смерть — историческое событие — понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны» (946, с. 49).

И современники принялись разгадывать «грозную тайну».

А. С. Хомяков, сообщая о том, что «Мертвые души» уничтожены «в минуту безумия», прибавлял: «Я мог бы написать об этом психологическую студию; да кто поймет, или кто захочет понять?.. Эти сожженные произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим только об эффектах, и серьезным направлением, которому Гоголь посвящал себя... Мягкая душа художника... строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь!» (102, IV, 879). Трагедия писателя проистекает из его безграничной требовательности к себе, из напряженности духовной творческой деятельности, превышавшей физические возможности. У этой трагедии есть и общественная подкладка: недаром же говорится о суете «пустого общества», которому чуждо серьезное направление художника; однако ближе в рассмотрение этого противоречия Хомяков не входит.

Не говорит он еще и о том, что понуждало Гоголя к безграничной требовательности, вновь и вновь порождая в нем недовольство собою и разочарование. Ведь «душа убила тело» не только потому, что тело оказалось слабым, но и потому, что в самой душе шел мучительный болезненный процесс.

Подробнее и красноречивее суждения С. Т. Аксакова.

В его «Письме к друзьям Гоголя», датированном 6 марта 1852 года и опубликованном в том же номере «Московских ведомостей», что и тургеневское «Письмо из Петербурга», говорилось: «...Гоголь сжег «Мертвые души»... вот страшные слова! Безотрадная грусть обнимает сердце при мысли, что Гоголь не досказал своего слова, что погиб плод десятилетних вдохновенных трудов... Это ужасно, это невыносимо горько». Под влиянием всего произошедшего Аксаков перечитал «Выбранные места...» и многое увидел в них в новом свете. «Больно и тяжело вспоминать неумеренность порицаний, возбужденных ими во мне и других... Но теперь, когда он смертью запечатлел искренность своих нравственных и религиозных убеждений, кажется, наступило время дать полную веру его христианской любви к людям» (63, 1852, № 32).

В другом документе, письме «Одним сыновьям», написанном 23 февраля (то есть на третий день после кончины писателя) Аксаков подробнее говорит о своей «вере» в христианство Гоголя: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значение этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал и еще в 1844-м году, когда он прислал нам подарки, написав прежде такое письмо, что я ждал второго тома «Мертвых душ», я писал к обоим этим Петровичам (то есть к Степану Петровичу Шевыреву и Михаилу Петровичу Погодину.— Ю. М.) о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною *эти умные*... прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава богу, не сбылось последнее; но зато он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде услышать первые главы «Мертвых душ» II-го тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривал себя. Притом, ведь это было написано *прежде* и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет» (82, 1890, № 8, с. 199—200).

Письма Аксакова знаменуют поворот в его взглядах на

Гоголя и на его последнее творение, на второй том «Мертвых душ». В основе этого поворота — две взаимосвязанные тенденции. Как человека Гоголя оправдывают и всемерно возвышают — вплоть до признания его современным «святым» и «мучеником»; то что прежде казалось в нем неискренним, наигранным, притворным, получило оправдание и смысл, было «запечатлено» в своей подлинности самой смертью. Но как художник, вернее как творец второй части «Мертвых душ», Гоголь вызывает к себе уже более сложное, настороженное отношение. И как ни парадоксально, «запечатлен» и удостоверен этот вывод тем же трагическим событием. «Гоголь-художник не умер!» — радостно восклицал Аксаков после прослушания первых глав второго тома. Теперь сама смерть Гоголя в ее прямом, физическом смысле, а также физическое истребление рукописи заставили произнести приговор и Гоголю-художнику. Ведь гибель писателя и неопубликование книги стали фактом творческой истории поэмы, ее заключительной, решающей точкой.

С. Т. Аксаков делает любопытное признание: при слушании глав второго тома он «подшпоривал себя». Признание не отменяет прежнюю реакцию на «Мертвые души», но освещает ее новым светом. Нет сомнения, что высокие похвалы Аксакова были совершенно искренни, что все услышанное ему очень нравилось, восхищало его: однако его впечатление складывалось под воздействием различных причин.

Аксаков упоминает, что он со страхом приступал к слушанию. Действительно, после «Выбранных мест...» у него возникли опасения, что язык художественных образов уже неподвластен Гоголю. Можно представить себе радость Аксакова, когда, прослушав первые главы, он убедился, что это не так... Теперь же началась обратная реакция, и Аксаков словно отбирал у художника ту фору, которую он, не ведая того, ему предоставил. Мы помним, что и Самарин иначе, чем при жизни Гоголя, оценивает теперь знакомые ему главы второго тома — более критично и строго. Не сказался ли и тут факт «подшпоривания» и форсирование первого впечатления?

С. Т. Аксаков упоминает о «подарке» Гоголя, то есть о том, как вместо ожидаемой II части «Мертвых душ» московские друзья писателя должны были довольствоваться «Подражанием Христу» Фомы Кемпийского. Мы знаем, что этот эпизод, случившийся в начале 1844 года, действительно пробудил в С. Т. Аксакове самые недобрые предчувствия («художник погиб»). Потом знакомство с первыми главами развеяло опасения; но теперь, после свершившейся трагедии, он невольно вспомнил о них, чтобы сказать: горькое его пророчество оправдалось.

Говоря о причине трагедии, Аксаков углубляется во внутреннюю конфликтность гоголевской деятельности. Фраза: «Нельзя исповедовать две религии безнаказанно» — подразумевает непримиримое столкновение двух способов выражения, двух языков — языка поучения, проповеди и языка образов. Но в этом противоречии заключено и другое, столь же непримиримое: между огромной, абсолютной в своем значении «задачей» и ограниченными возможностями художника.

На этом противоречии остановился Иван Аксаков. 26 февраля, через день после похорон Гоголя, он писал Тургеневу: «Теперь все лопнуло. Надо начать жить *без Гоголя!* Он изнемог под тяжестью неразрешимой задачи, от тщетных усилий найти примирение и светлую сторону там, где ни то, ни другое невозможно,— в обществе... Вся мученическая художественная деятельность Гоголя, все его существование, писание «Мертвых душ», сожжение и смерть — все это составляет такое огромное историческое событие, с таким необъятным значением, от которого дух захватывает» (74, с. 18—19).

Задача Гоголя неразрешима принципиально, ибо она абсолютна; общество же — в перспективе абсолютного — не может дать ни примирения, ни «светлой стороны». Хотя речь идет о России, И. С. Аксаков говорит просто об «обществе», не прибавляя, что это *русское* общество; ибо задача Гоголя неразрешима вообще, среди любого народа и в любое время. Да, вероятно, и Гоголь — последний во всемирной литературе, кто решился поставить перед собою такую задачу. «...Мы похоронили не только последнюю свою славу, но, кажется, и последнего художника, не только для России, но и для целого мира» (там же). И. С. Аксаков видит в истории «Мертвых душ» всемирную проблему, а в их уничтожении — всемирную трагедию, хотя, конечно, для России все это исполнено особого смысла.

Письмо И. Аксакова к Тургеневу и еще другое его письмо к Г. П. Данилевскому (см. 4, с. 449) послужили наброском его статьи — некролога «Несколько слов о Гоголе» (Московский сборник. М., 1852, т. 1, с. VII—XII)<sup>76</sup>. Как справедливо говорит Б. Ф. Егоров, «вместе с известным некрологом И. С. Тургенева «Письмо из Петербурга», статья И. С. Аксакова является самым значительным откликом в русской печати на смерть Гоголя» (41, с. 38). Это замечательно яркий документ не только по задушевности, теплоте, выстраданности тона, но и резкости и беспощадности мысли, бьющейся над разрешением гоголевской тайны.

«Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета-юмориста, этого мученика возвы-

шенной мысли и неразрешимой задачи!». Все определения здесь внутренне конфликтны, воспроизводя антитезу, сформулированную еще Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Нельзя одновременно быть монахом и художником, христианином и сатириком, аскетом и юмористом, ибо один ставит абсолютные задания, которые второй выполнить не может.

Иван Аксаков почувствовал это противоречие давно, под влиянием развития замысла гоголевской поэмы. Вначале ему казалось, что оно разрешимо, но уже в середине 40-х годов Иван Аксаков, с его замечательным чувством реальности и богатым практическим опытом, столь отличавшими его от брата Константина, не скрывает беспокойства и тоски: «Меня все это время,— пишет он К. Аксакову 28 сентября 1846 года из Калуги,— ужасно тревожил и мучил вопрос о примирении искусства с религиею и наводил тоску, тягостную и невероятную... Этот вопрос есть вопрос о примирении язычества с христианством, религии с жизнью, словом, завлекает далеко» (47, с. 384—385). И здесь же Аксаков высказывает сомнение, сможет ли Гоголь, едущий в Афон, собирающийся проводить время близ аскетов и праведников, совместить все это с полнокровной живописью «Мертвых душ». Теперь, после уничтожения поэмы, сама жизнь, считает И. Аксаков, подтвердила его сомнения.

В статье-некрологе по-прежнему совмещены и общечеловеческий и, собственно русский аспект трагедии, но, пожалуй, последний подчеркнут сильнее. Ведь материал, с которым имел дело художник,— отечественный, и вопрос, который он задавал, обращен к России. «Вспомним то место, в конце 1-го тома «Мертвых душ», когда из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества современного общества, вырываются мучительные стоны, и охваченный предчувствием великих судеб, ожидавших Русь, эту непостижимую страну, он восклицает: «Русь! куда несешься ты, дай ответ!..» «И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины».

Таким образом, вся история второго тома есть история поисков и ненахождения ответа на главный «вопрос». «Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался... уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 году (1845 г.— Ю. М.) сжег он 2-й том «Мертвых душ»; опять искал и мучился, снова написал второй том и сжег его снова!..» Мотивы второго сожжения, по И. Аксакову, совпадают с мотивами первого сожжения: пробудившееся художническое сознание того

факта, что задача не выполнена. И не могла быть выполнена,— следует из всех рассуждений Аксакова.

Вывод критика звучал смело, чтоб не сказать крамольно. Это хорошо видно из опубликованного недавно В. И. Кулешовым документа—цензурского отзыва о статье-некрологе: «Если он [Гоголь] охвачен был предчувствием великих судеб, ожидающих Русь, то для чего же было ему страдать и каким образом он мог сделаться мучеником возвышенной мысли о Руси? Как согласить неразрешимую задачу, которая положила Гоголя в гроб, с предчувствием великих судеб, ожидающих Русь?» (53, с. 210). С официальной точки зрения предосудительны всякие колебания и сомнения, которые испытывает писатель при ответе на «вопрос». Тем более предосудителен отказ от ответа.

Но вернемся к позиции И. С. Аксакова.

И. С. Аксаков дважды вспоминает, как он слушал второй том. В указанном письме к Тургеневу: «Когда я присутствовал при чтении второй главы из 2-го тома «Мертвых душ», то мне делалось страшно: так каждая строка казалась написанною кровью и плотью. Казалось, он принял в свою душу всю скорбь России» (74, с. 18—19). И в статье-некрологе: «Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из 2-го тома «Мертвых душ»), и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью испытанного впечатления: так ощутителен был для нас этот изнурительный процесс творчества... такою глубокою и полнотою жизни веяло от самого содержания, так много, казалось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки». Создание второго тома поневоле стало процессом самоизнурения и самоистребления.

Но не по одному только конечному результату следует мерить этот процесс. В нем имеет значение все: и поставленная задача, и весь путь, по которому прошел художник. «Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, наконец... эта страшная, торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть,— все это вместе носит характер такого события, представляет такую великую грозную поэму, смысл которой еще долго останется неразгаданным» (курсив мой.— Ю. М.).

Мы уже заметили любопытное явление—перенос понятий «тайна», «таинственный» на самую творческую историю «Мертвых душ». И. Аксаков переносит на эту историю и понятие «поэма». Пусть задуманное произведение не осуществилось, но «великой» и «грозной» поэмой стало само его создание и... истребление!

В то время как произносились и печатались первые отклики на смерть Гоголя и сожжение рукописи, стали циркулировать

слухи, что второй том сохранился. Очень было трудно смириться с мыслью об его уничтожении. 29 февраля Д. Н. Свербеев писал Е. А. Свербеевой в Петербург: «Пронесся слух, будто Гоголь отдал список великой княгине Ольге Николаевне или Жуковскому; об этом можешь узнать сама» (ЛН, т. 58, с. 748). «Говорят, что список есть у великой княгини Ольги Николаевны» (14, т. XI, 538),— писал 1 марта Н. Ф. Павлов А. В. Веневитинову. 12 марта И. В. Станкевич, младший брат Николая Станкевича, запрашивал из Острогжска Н. М. и А. В. Щепкиных: «Что будет с 2-м томом «Мертвых душ», будут ли его печатать, осталось ли еще что-нибудь и к кому перешло? Это очень интересно. Неужели он сжег все, что было у него?..» (ЛН, т. 58, с. 754).

Слухи о списке II тома, сохранившемся у великой княгини или Жуковского, не оправдались; не удалось ничего найти и у других лиц. И тогда все внимание сосредоточилось на бумагах, оставшихся в квартире Гоголя.

## ГЛАВА XXII

# «МЕРТВЫЕ ДУШИ» БЕЗ ГОГОЛЯ

В некрологе, опубликованном в мартовском номере «Москвитянина», М. П. Погодин сообщил, что «шкап покойного запечатан и будет разобран по истечении шести недель» (64, 1852, № 5, с. 50). Сам Погодин ни в процедуре запечатывания, ни в похоронах Гоголя не участвовал; он находился в это время в Суздале, разыскивая «по высочайшему повелению» гроб Дмитрия Пожарского (14, кн. XI, с. 532). Не было и Шевырева, который «лежал больной в постели» (64, 1852, № 5, с. 50). Опечатывал граф А. П. Толстой; кто еще присутствовал при этом — неизвестно.

Врач А. Т. Тарасенков, пришедший на квартиру Гоголя 21 февраля в десятом часу утра, то есть менее чем через два часа после кончины писателя, отметил, что «уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег...» (4, с. 525). Тарасенков не знал, что бумаги Гоголя к этому времени были уже перенесены в другое место и опечатаны.

Но в день похорон Гоголя, 24 февраля<sup>77</sup> все уже «единогласно говорили, что у гр. Толстого... остался запечатанный пакет, который откроют через 6 недель» (из письма Е. М. Феофтистова к И. С. Тургеневу от 25 февраля—ЛН, т. 58, с. 743). Что в этом

пакете, не знали. С большей уверенностью предполагали, что в нем содержится сочинение о божественной литургии, над которым Гоголь работал в последние годы жизни; с меньшей уверенностью — что рукописи второго тома. Все с нетерпением ждали условленного дня.

Обстоятельства вскрытия бумаг Гоголя еще недостаточно прояснены. Не определена даже дата этого события. Есть, правда, прямое указание: письмо Шевырева, с сообщением, что «сегодня, в понедельник» будет произведено распечатывание бумаг, помечено им 28 августа («28 авг.»). Публикаторы письма не поставили эту дату под сомнение (см. ЛН, т. 58, с. 756). Между тем Шевырев, как будет показано ниже, ошибся... ровно на четыре месяца.

Шестинедельный срок, установленный при опечатывании, заканчивался в первых числах апреля. Но к вскрытию бумаг приступили не сразу: раздумывали над процедурой дела. В упомянутом письме к Погодину Шевырев сообщал: «Граф Толстой был у меня вчера и сказал, что гражданский губернатор желает сделать вскрытие бумаг Гоголя как можно тише, а потому пригласили только меня, что и будет сделано сегодня, в понедельник. Вот почему Гр. Т[олстой] не дал знать тебе»<sup>78</sup>.

Итак, распечатывание бумаг производили Шевырев, А. П. Толстой и московский гражданский губернатор И. В. Капнист (имена эти подтверждает также приводимое ниже письмо Ивана Аксакова). Не было ни Аксаковых, ни Погодина, ни Хомякова. Произошло это событие 28 апреля. В последующих письмах — от 2 мая, от 4 мая и т. д. — Шевырев уже говорит о нем как о свершившемся факте и сообщает подробности.

Прежде атмосфера таинственности и секретности сопровождала чтение Гоголем глав из второго тома (а до этого — и из первого). Теперь она словно перешла на посмертное существование его наследия. Нетрудно понять, чем все это объяснялось. Власти были встревожены реакцией, вызванной в обществе смертью Гоголя и сожжением рукописей. Как раз за два дня до вскрытия бумаг, 16 апреля, кара постигла И. С. Тургенева, который свое письмо-некролог о Гоголе, не пропущенный в Петербурге, опубликовал в «Московских ведомостях» и был арестован, а позднее выслан в деревню — «заслушание и нарушение цензурных правил».

Вместе с тем причины, побудившие московского гражданского генерал-губернатора Капниста к секретности были не так просты. Земляк Гоголя, сын знаменитого поэта и драматурга, автора «Ябеды», он отличался достаточно архаичным художественным вкусом («остановился на „Водопаде“» Державина, по

словам Арнольди), не понимал произведений Гоголя, но самому автору благоволил. Гоголь, в свою очередь, питал к Капнисту расположение и доверенность, читал ему главы из второго тома. Капнист навещал смертельно больного Гоголя, пытался, как говорит Тарасенков, подействовать на него «своим дружеским влиянием». Мемуарист запомнил их разговор. Капнист, думая, «что больной уже потерял память... сказал: «Верно, ты, Николаша, меня не узнаешь?— «Как не знать?»— отвечал Гоголь и, назвав его по имени, прибавил:— Прошу не оставить вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии» (4, с. 520).

Возможно, Капнист решил устроить дело «как можно тише», чтобы не привлекать к бумагам Гоголя внимания вышестоящих властей. Во всяком случае, у другого участника этого события, А. П. Толстого, определенно были такие намерения, о чем свидетельствует письмо Шевырева к Толстому, датированное 4 мая: «Граф Толстой, которого я спрашивал, думает, что лучше ничего не печатать о том, что найдено в бумагах. Он боится, чтоб через печатные оглашения не потребовали их в Петербург»<sup>79</sup>. В Петербурге бумаги могли попасть в руки председателя столичного цензурного комитета и попечителя учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина, известного своим недоброжелательством к Гоголю, а это повлекло бы за собою проволочки и осложнения. Так в конце концов и получилось...

Самым значительным результатом проведенного вскрытия бумаг было то, что обнаружили рукописи II тома «Мертвых душ». 2 мая Шевырев писал Погодину: «Бумаги открыли. Нашли объяснение на литургию и 4 главы черновых 2-го тома М. Душ. Подробнее при свидании»<sup>80</sup>. В «Списке бумаг, оставшихся после покойного Гоголя», рукописи поэмы обозначены более точно и полно: «Черновые тетради 2-го тома «Мертвых душ»: 1-я глава от 1-й до 35 страницы, 2-я глава от 37 до 48-й страницы, 3-я глава от 47 страницы по 75-ю, 4-я глава от 77 по 99-ю. Еще глава, не обозначенная номером. Еще эскиз, должен быть, из 1-го тома „Мертвых душ“» (80, с. 180).

Приведу еще выдержку из неопубликованного письма Ивана Аксакова. Документ этот интересен не только подробным описанием новонайденных бумаг, но и тем, что подтверждает указанные выше обстоятельства их вскрытия: участие только трех лиц (Шевырева, Толстого и Капниста), нарочитую секретность, продиктованную соображениями осторожности и т. д. Написано письмо (к неустановленному лицу) через полтора-два месяца после совершившегося события, причем о причине задержки говорит сам автор: «После распечатания бумаг Гоголя я было на

другой день написал к Вам о том, что найдено, но мне отсоветовали посылать письмо, потому что тогда боялись делать это открытие гласным. Действительно найдены самые черновые рукописи 4-х первых глав 2-го тома, да еще какой-то главы, никому не читанной (то есть главы, предположительно последней или одной из последних во втором томе.— Ю. М.). Шевырев их сам разбирает и переписывает, найдены еще *объяснения обедни* (то есть «Размышления о божественной литургии».— Ю. М.), *рукопись*—вроде его собственной биографии как писателя, помимо всех видимых событий жизни (то есть «Авторская исповедь».— Ю. М.), завещание—матери и сестрам... последнее слово к друзьям... очевидно писанное за несколько дней до смерти, 12 записных книжек, в которых Гоголь записывал и анекдоты и разные оригинальные выражения и отдельные мысли, целые фолианты выписок из Св. отцов, псалтирь, каллиграфически им самим переписанный, материалы для областного словаря, начертание истории русской литературы для юношества (то есть «Учебная книга словесности для русского юношества».— Ю. М.), полный рукописный экземпляр переписки с друзьями, со всеми ненапечатанными письмами и лоскуток бумаги, содержащий в себе замечательные слова, писанные слабою рукою, вероятно, после сожжения М. душ. Вот они: «Будьте живые, а не мертвые души! Единая дверь в небесное царствие—Иисус Христос! Всяк, прелазяй инуду тать есть и разбойник!..» Вероятно, ему думалось в эту минуту, что искать спасения подвигом писателя, а не прямо молитвой и постом—значит прелазить инуду. Объяснение обедни, завещание, слово к друзьям, этот лоскуток—кажется, найдены в портфеле; очевидно, что он сохранил их с намерением, но главы из М. душ нашлись завалившимися в шкафу за книгами. При распечатании бумаг были Капнист, Толстой и Шевырев; разбор взял на себя Шевырев, который исполняет это дело добросовестно»<sup>81</sup>.

Шевырев написал о находке и Сергею Тимофеевичу Аксакову в Абрамцево. Легко себе представить волнение, которое возбудила эта весть. «Как хотелось бы мне видеть и пересмотреть все его бумаги! Жаль, что мы не в Москве!» (ЛН, т. 58, с. 756)—писала Вера Сергеевна М. Г. Карташевской.

Но вместе с радостным чувством возникло и сомнение, стоит ли найденные рукописи «Мертвых душ» печатать. Сергей Тимофеевич решительно склонялся к отрицательному ответу. Передав уже знакомую нам фразу Гоголя, сказанную им незадолго перед смертью, что «он не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится» (см. выше), С. Т. Аксаков спрашивает Шевырева: «Как же печатать после этого черновую, впоследствии,

может быть, совершенно измененную рукопись? Мы нарушим последнюю волю или художника или христианина... Нам надобно увидаться и поговорить вместе с Мих. Петр. (Погодиным.— Ю. М.). Я подробно изложу вам обоим мои мысли, а вы можете поступить, как заблагорассудится» (82, 1878, кн. 2, с. 54).

Мотивы решения Аксакова вытекают из всего круга его размышлений, вызванных кончиной писателя. Сожжением второго тома Гоголь выразил свою волю художника. Следовательно, печатать эти главы нельзя. Подобных же мыслей придерживалась Вера Сергеевна: «...печатать эти черновые главы «Мертвых душ» не должно, по крайней мере: очевидно, что он не желал их оставить, если сжег набело переписанные... Эти тетради могут возбудить противоречия, недоумения» (ЛН, т. 58, с. 756).

Между тем после вскрытия бумаг Гоголя на повестку дня встала важная задача: перебелить рукописи. Этот огромный, кропотливый труд взял на себя Шевырев. 10 июня он сообщил К. С. Сербиновичу, что все «свободные часы» посвящает гоголевскому архиву. «Все это требует разбора, редакции, переписки. Могу сделать это только я сам. Жду свободных совершенно минут для этого дела» (81, 1904, февр., с. 430). Через два месяца, 13 августа, Шевырев пишет Погодину: «Гоголя оставшиеся бумаги еще не успел переписать» (14, т. XII, с. 10). Работа затянулась до конца года.

Пока шла переписка бумаг, продолжались и споры об их судьбе. Нам неизвестны подробности тех бесед, которые вел С. Т. Аксаков с Шевыревым, пытаясь его отговорить от печатания рукописей, но верх одержало противоположное мнение — в пользу издания.

К годовщине со дня смерти писателя С. Т. Аксаков опубликовал в «Московских ведомостях» заметку «Несколько слов о биографии Гоголя», где, между прочим, говорилось: «Печатанные известия и достоверные слухи пробежали по всей России о тех немногих нравственных сокровищах, которые остались в утешение нам после смерти Гоголя. В почтительном ожидании остаются все, жаждущие этой умственной пищи, известной еще немногим» (63, 1853, № 35). Слова эти свидетельствуют о том, что С. Т. Аксаков отказался от своей неуступчивости и готов вместе с другими «почтительно» ожидать опубликования гоголевских текстов.

Заметка Аксакова, между прочим, вызвала недовольство Шевырева и чуть было не привела к ссоре двух литераторов (14, т. XII, с. 11—13). Шевыреву не понравилась фраза, сказанная в связи с необходимостью новых изданий сочинений Гоголя:

«Ожидание всех обращено на семейство Гоголя или на тех, кому поручены литературные дела покойного». Это могло быть понято так, что издание исключительно зависит от него, Шевырева, как от человека, занимающегося перепиской бумаг. Между тем он давно уже свое дело сделал, и теперь все зависело от цензуры.

\* \* \*

Цензурная история второго тома «Мертвых душ» еще не приведена в ясность. Ни одно собрание сочинений писателя, в том числе и академическое и последующие новейшие, не дает никаких сведений на этот счет, ограничиваясь лишь указанием даты цензурного разрешения: 26 июля 1855 года. Значит, разрешение последовало через два с лишним года после того, как рукопись практически была подготовлена к печати. Одно это свидетельствует о том, что на долю второго тома выпала еще более драматическая судьба, чем на долю первого.

Вначале Шевырев решил действовать через попечителя московского учебного округа и председателя московского цензурного комитета В. И. Назимова. Однако Назимов уже обжег пальцы на Гоголе (он был ответствен за пропуск статьи-некролога Тургенева) и не спешил с разрешением. Фраза из заметки С. Т. Аксакова дала Шевыреву повод снова обратиться к попечителю: дескать, все говорят, что дело упирается исключительно в людей, занимающихся гоголевскими бумагами, то есть в Шевырева, значит, никаких цензурных препятствий уже нет,—так пропустите же рукопись!.. Но рукопись не пропустили.

И тогда было решено обратиться к царю. Мать писателя Мария Ивановна написала Николаю I письмо с просьбой разрешить напечатать его сочинения—речь шла о II издании, подготовку которого начал еще сам Гоголь,—с прибавлением новонайденных работ. Письмо датировано: «Мая дня 1853 г. Полтава»; написано же оно рукою Шевырева, то есть составлено и продумано им и представлено Марии Ивановне на подпись. О новонайденных текстах Гоголя здесь говорилось, что по мнению «людей, заслуживающих доверия», в них «обнаружены такие нравственные истины, которые бросают новый свет на все прежние сочинения моего сына, выставляют образ его мыслей, подвергшийся разным толкованиям, в настоящем виде. Издание их вместе с прежними трудами сына моего, как уверяют многие, могло бы принести некоторую пользу русской словесности, в отношении к нравственному направлению ее произведений» (80, с. 184). В этих словах сформулирована версия, которой предстояло играть решающую роль в тактике лиц, добивающихся

разрешения издания: дескать, ставшие известными произведения особенно обнаруживают приверженность Гоголя к официальной идеологии и явятся хорошим противовесом против либеральных кривотолков. Зная Шевырева, мы поймем, что он не кривил душой, ибо он так и думал, но при этом он мог и намеренно выдвигать вперед такую версию, рассчитывая произвести благоприятное впечатление на власть имущих.

Шевырев решил действовать через великого князя Константина, поскольку было известно об его благожелательном отношении к сочинениям Гоголя; Константин же должен был обратиться к царю через шефа жандармов графа А. Ф. Орлова.

Одновременно с прошением Марии Ивановны на имя царя Шевырев написал графу А. Ф. Орлову письмо (датировано 22 мая), в котором сообщал о найденных текстах Гоголя, в числе которых оказалось «пять глав второго тома „Мертвых душ“», и ходатайствовал об их напечатании пред самим царем, ибо «полное издание сочинений Гоголя без высочайшей воли напечатано быть не может» (80, с. 189, 190). Оба письма — свое и Марии Ивановны — Шевырев переслал великому князю Константину. Письмо Шевырева должно было играть роль сопроводительного документа к прошению матери Гоголя, однако великий князь, ознакомившись с делом, обратился к Орлову от себя, вернув Шевыреву его письмо.

В своем письме — от 25 мая, из Стрельны, близ Петербурга, где находилось его имение, — Константин просил Орлова передать прошение царю с просьбой-вопросом, не изволит ли он «поручить статс-секретарю барону Корфу пересмотреть все сочинения Гоголя для разрешения напечатать оные» (80, с. 187). Был сделан расчет на кратчайший путь: граф М. А. Корф, влиятельный чиновник, статс-секретарь, член комитета по надзору за цензурой, — в прошлом, между прочим, лицейский товарищ Пушкина, получив распоряжение царя, истолкует его как сигнал к благожелательному решению — и дело будет решено. Но расчет этот не оправдался.

Вскоре великий князь получил письмо от 2 июня, подписанное А. Ф. Орловым и управляющим III отделением Л. В. Дубельтом. Здесь сообщалось, что письмо Марии Ивановны Гоголь вместе с просьбой Константина были переданы царю, но «государь император, признавая, что рассмотрение оных (сочинений Гоголя, — Ю. М.) в означенном комитете было бы отступлением от общего порядка, и полагая, что сочинения эти, на основании установленных правил, должны быть рассмотрены в обыкновенной цензуре, не изволил изъявить высочайшего согласия на изъясненное мною представление». Решение царя

обрекало издание на новые проволочки и препятствия. Ведь дело возвращалось к тем самым лицам, которые не осмеливались его решить, например, к попечителю московского учебного округа Назимову.

«Не могу вам сказать ничего убедительного касательно издания сочинений вашего сына,—писал Шевырев 21 февраля 1854 года Марии Ивановне Гоголь.—Попечитель возил их в Петербург и привез оттуда решение пересмотреть их снова в Московском, а потом в Петербургском комитете, где находятся сильные люди, противящиеся изданию» (80, с. 191).

Дело о напечатании нового, дополненного издания Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя начато в Главном управлении цензуры в декабре 1853 года. Значит, именно к этому времени Назимов доставил рукописи в Петербург, о чем сообщил Шевырев Марии Ивановне. Но из того же письма видно, что это был уже вторичный «заход»: рукописи Гоголя уже успели побывать там, в Петербурге, и вернуться в Москву. Очевидно, цензурные ведомства несколько раз перебрасывали рукописи из новой столицы в старую, не решаясь взять на себя ответственность.

Шевырев говорит о «сильных людях» в Петербурге, противящихся изданию. Это в первую очередь уже известный нам попечитель Петербургского учебного округа М. Н. Мусин-Пушкин. Д. А. Оболенский, в ту пору петербургский чиновник, принимавший участие в хлопотах по изданию гоголевских сочинений, называет это имя не обинуясь. Другой же современник, Г. П. Данилевский, так его характеризует: «Мусин-Пушкин... смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной пчелы» и потому не особенно высоко ценил произведения автора „Мертвых душ“ и „Ревизора“» (4, с. 450). Как попечитель Петербургского учебного округа, Мусин-Пушкин исполнял одновременно обязанности председателя столичного цензурного комитета, и его голос имел решающее значение.

Наступил 1855-й год. 29 января великий князь Константин обратился с письмом к министру народного просвещения А. С. Норову с просьбой содействовать прохождению сочинений через Главное управление цензуры, ибо там есть противники, которые «не соглашаются на издание некоторых еще не напечатанных рукописей». Между тем «всемирно известны личные свойства Гоголя, его теплая вера, его любовь к России и преданность престолу служат, кажется, ручательством благонамеренности всего, что он писал...». Усиленно подчеркивается версия о «благонамеренности» сочинений Гоголя, пущенная в ход, как мы помним, еще Шевыревым. «Я тем более желал бы, чтобы они

были напечатаны.— заключает автор письма,— что даже в моей библиотеке нет полного собрания сочинений Гоголя, которые уже не находятся в продаже» (81, 1904, т. 117, с. 436, 437).

В тот же день великий князь написал письмо графу А. Ф. Орлову. Уведомляя его о том, что сочинения Гоголя находятся в Главном управлении цензуры, он поручает «попросить от моего имени» члена этого управления Л. В. Дубельта— содействовать быстрейшему прохождению издания.

Дубельт незамедлительно откликнулся, составив 31 января специальную записку, прочитанную на заседании Главного управления цензуры (опубликована впервые—81, 1880, № 12, с. 999—1006). Упоминая суждения цензоров о сомнительных местах второго тома поэмы (например: Кошкарев завел в своем имении бюрократические порядки; генерал-губернатор пасует перед чиновниками-взяточниками и т. д.), Дубельт говорит, что с точки зрения целого эти места нейтрализуются и выглядят вполне благонамеренными. Так «поступки Кошкарева представлены как действия сумасбродного помещика и применять их к государственному управлению было бы слишком насильственным применением, а при описании чиновничьих интриг в губернии выставлена в ярком и прекрасном виде заботливость генерал-губернатора о прекращении зла и его твердая справедливость». «Общее направление у него [Гоголя] всегда нравственное»,— заключает Дубельт. Версия о благонамеренности сочинений Гоголя оправдала себя.

Но несмотря на заступничество влиятельнейших лиц, к которым присоединились и другие члены Главного управления, например, Пршецлавский, окончательное решение все не принималось.

Развязка наступила лишь после смерти Николая I. 6 мая Главное управление цензуры постановило испросить у Александра II разрешение на напечатание Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя без изменений, и на докладе о том 15 мая была наложена высочайшая резолюция: «Согласен» (81, 1904, т. 117 с. 440).

А 26 июля цензор И. Бессомыкин поставил визу на книге, содержащей второй том «Мертвых душ» и «Авторскую исповедь». Если вспомнить, что цензурная история первого тома длилась около четырех месяцев, то приходишь к выводу, что путь второго тома к читателю оказался примерно в восемь раз длиннее.

Книга печаталась в Москве, в университетской типографии, на Большой Дмитровке (теперь Пушкинская, д. 34)— там же, где и первый том. Титульный лист гласил: «Сочинения Николая

Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав). М. В университетской типографии. 1855».

В открывавшей книгу заметке «От издателя» (датировано: Москва, 20-го июля 1855 г.) Н. П. Трушковский, племянник Гоголя, напоминал читателю, что печатаемые главы «списаны с черновых, давнишних тетрадей, нечаянным образом уцелевших от сожжения», и воздавал должное Шевыреву, который переписал тетрадки «своей рукой и своими советами много способствовал настоящему изданию».

Несмотря на некоторые ошибки и подчас недостаточно мотивированную, произвольную контаминацию различных слоев текста, первое издание проложило дорогу всем последующим изданиям. Важно было и то, что Шевырев, слышавший семь глав второго тома, снабдил текст краткими примечаниями относительно развития событий в утраченных фрагментах рукописи,— эти примечания также воспроизводятся в последующих изданиях, вплоть до самых последних.

Легко себе представить, какой интерес вызвала публикация второго тома у современников. «Эта книга,— читаем мы в «Отечественных записках» за 1856 год,— явилась в сентябре прошедшего года. Она была отпечатана в числе 3600 экземпляров. В начале нынешнего, через какие-нибудь четыре месяца, потребовалось уже новое издание<sup>82</sup>: кажется красноречивый ответ тем господам, которые упрямятся признать Гоголя великим писателем и продолжают величать его человеком, написавшим несколько забавных повестей!» (70, с. 51).

Вольно или невольно эти слова оказались пощечиной и тем «господам» из цензурного ведомства, которые долго и безуспешно сопротивлялись выходу книги.

\* \* \*

Второй том сделался известным читателю еще до опубликования. «...В рукописных копиях с редакции Шевырева вторая часть «Мертвых душ» разошлась по рукам читателей задолго до появления в печати» (1, с. 577),— писал Н. С. Тихонравов.

Двумя путями шло распространение списков второго тома. В Петербург Шевырев переслал рукопись великому князю Константину, тот же передал ее своему подчиненному по службе Д. А. Оболенскому (последний с 1853 г. был чиновником морского министерства, которое возглавлял великий князь). «По этому списку,— говорит Оболенский,— я читал у разных лиц в Петербурге, и, между прочим, многие из петербургских литераторов в первый раз услышали это новое произведение Гоголя при моем

чтении у покойного Николая Алексеевича Милютина» (4, с. 554).

В Москве же сам Шевырев содействовал распространению рукописей, позволяя снимать со своего списка копии. «Таким образом, главы второй части «Мертвых душ» ходили уже по рукам в списках в значительном числе экземпляров...», — заключает Оболенский (4, с. 555).

Слова эти подтверждаются рядом сохранившихся до наших дней списков<sup>83</sup>. Они различны по объему: в одних две-три главы, в других — все пять. На некоторых даты (например «1854 г. Москва»), указывающие на время составления списка. Большинство копий сделано отчетливо — явно писарскою рукою.

Так начался новый круг чтений второго тома «Мертвых душ». Но на этот раз — без Гоголя.

Одно из первых чтений происходило в Петербурге в доме А. Н. Карамзина, которому в 30-е годы Гоголь читал еще главы из первого тома. Присутствовавший на чтении А. В. Никитенко отметил 9 февраля 1853 года в дневнике: «Обедал у [А. Н.] Карамзина. После обеда читаны были неизданные главы «Мертвых душ». Чтение продолжалось ровно пять часов, от семи до двенадцати. Эти пять часов были истинным наслаждением. Читал, и очень хорошо, князь [Д. А.] Оболенский» (68, с. 360).

С этим чтением связан и рассказ Никитенко в одном из его писем к неустановленному лицу: «На днях я слушал оставшиеся, или лучше сказать спасенные от Гоголя главы...» Передавая далее известный нам уже эпизод, как Гоголь предлагал «одному из своих приятелей» (то есть А. П. Толстому) сохранить рукописи, Никитенко пишет: «Приятель, однако же, по неизвестной причине, не хотел этого исполнить, и высокое создание погибло. Да, высокое, судя по тем главам, которые я слышал. Главы эти весьма длинные, и, следовательно, по ним можно судить об остальном. Это решительно одно из тех капитальных творений искусства, которые переживают века. На сцене являются все новые лица, до того типические и живые, что становится страшно, как бы сделалось страшно, когда какая-нибудь античная статуя сдвинулась бы вдруг со своего пьедестала и пошла. Тут являются лица с трагической физиогномией, и между ними тот же Чичиков и множество комических и юмористических изображений мастерской, почти шекспировской отделки. В последних частях идея «Мертвых душ» переменяет свой характер, и это одна из замечательнейших сторон книги. Выходит, что мертвые души не те, которых скупал Чичиков, а души тех, у которых он покупал. Тут сочинение становится колоссально величественным, грозным, не поэмой, как он его называл, а трагедией национальной. И все это пропало! Потеря действитель-

но важная. Такое сочинение именно теперь нужно, и оно принесло бы несчетно много добра» (ЛН, т. 58, с. 750—751)<sup>84</sup>.

А. В. Никитенко, цензуравший еще первый том поэмы и написавший по этому поводу письмо Гоголю, давно предсказывал изменение общего тона произведения (см. выше). В сохранившихся главах второго тома он увидел подтверждение своих слов, хотя не все замечено (или сформулировано) им достаточно точно. Так мысль о том, что мертвые души «не те, которых скупал Чичиков», а те, «у которых он покупал», — подчеркнута еще в первом томе (ср. замечание Герцена: «не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы...»).

Около того же времени главы второго тома слушал А. Ф. Бычков, библиограф и палеограф, хранитель Отделения рукописей и старопечатных славянских книг в петербургской Публичной библиотеке. 25 марта он писал М. Погодину: «Мы все в восторге от «Мертвых душ» Гоголя, и первая глава с началом второй читается всеми с жадностью. Много меня одолжили бы, если можно было бы вам без больших хлопот прислать ко мне список того, что сохранилось от второго тома» (14, кн. XII, с. 260—261).

Среди первых читателей второго тома был и П. В. Анненков. Свое впечатление от первых двух глав он выразил в письме к И. С. Тургеневу: «Это колокол Ивана Великого, заглушающий все наши почтовые колокольчики» (26, 1957, № 2, с. 181). Как и Никитенко, Анненков воспринимает гоголевское произведение на фоне современной текущей литературы, решительно отдавая предпочтение первому перед последней.

Противопоставляет Анненков «посмертный роман» Гоголя и первой части поэмы. В феврале того же года он пишет Тургеневу: «... первая часть «Мертвых душ» кажется перед ним незрелым произведением — впечатление, разделенное всеми слушателями со мной. Вот что сделала сосредоточенная мысль художника. Как природа, так и характеры уже не описываются, а выставляются весьма скудными чертами, но жизненными в такой степени, что глаза прожигают...» (946, с. 476).

Получив первое известие от Анненкова, Тургенев писал ему 24 февраля (8 марта) 1853 года из Орла: «...Ваши слова по поводу «посмертного» романа возбуждают во мне невыразимое желание услышать, наконец, эту гениальную вещь...» (там же, с. 128). И в дальнейшем отношении Тургенева и Анненкова ко второму тому складывается во взаимном обмене впечатлениями и мыслями.

В апреле 1853 года Тургенев сообщил Анненкову из Спасско-го, что ему «довелось слышать отрывки из первых двух глав

продолжения «Мертвых душ» — по-видимому, это произошло в Москве, куда писатель приезжал тайно для встречи с Полиной Виардо. Мнение Тургенева двойственное. Второй том — «вещь удивительная, громадная — но что такое фантастический наставник Тентетникова — Александр Петрович, что за лицо — и какое его значение? Не нравится мне также Улинька: ложью (виноват!) ложью несет от нее — тою особенно неприятною ложью, которая с какой-то небрежной естественностью становится перед Вами в виде самой настоящей истины... Не могу я также переварить Селифана, видящего во сне, что он кружится в хороводе с прекрасными крестьянками, — и не перевариваю я его не вследствие направления — а так — не верится мне что-то. Но все-таки Вы правы — это колокол Ивана Великого — а мы даже не колокольчики, как Вы выразились, — а сверчки запечные...» (там же, с. 141—142). Несмотря на высокую похвалу, на искреннее одобрение, Тургенев сказал очень резкие слова о той тенденции, которую он считал «ложной» и «фантастической». Среди первых читателей сохранившихся глав поэмы это был самый решительный и строгий критик.

Следующее письмо Анненкова к Тургеневу — от 14 (26) октября — посвящено Костанжогло: «Литературная критика (имеются в виду устные суждения. — Ю. М.) раздвоилась по поводу г. Костанжогло. Одни говорят: это подлеjší плантатор, которому автор сообщил идеализацию еще подлеjšíю по намерению. Другие (и я в том числе) говорят: это тип разумного эксплуататора, который любит свое ремесло и знает, что для богатства собственного надобно, чтобы и все окружающие были богаты, — и что в нем нет нисколько пошлой идеализации, а только есть необходимая художественность» (66, с. 157). Суждение важное, свидетельствующее о том, что взгляд на Костанжогло еще не установился и что точка зрения, которую разделяет Анненков, была еще далека от современной — преимущественно негативной. Между тем возможность весьма критического подхода к этому персонажу предопределена манерой его описания и, как мы говорили, сознавалась самим автором. Анненков продолжил здесь традицию первых слушателей поэмы, в частности Аксаковых, не считавших Костанжогло идеальным героем.

Тургенев — в письме от 6 октября из Спасского-Лутовинова разделяет мнение Анненкова о Костанжогло, упоминая это имя среди удачных образов. Но в целом он еще сильнее подчеркнул противоречие двух тенденций текста — жизненной и идеализирующей. «Довелось мне прочесть 1-ю, 2-ю, 3-ю, и 5-ю главы «Мертвых душ» (второго тома). 3-я глава (где Петух, Кошкарев и Костанжогло) — вещь удивительная — совершенство.

Что за гениальная карикатура, что за водопад здоровой веселости—этот Петух. Но 5-я глава с невыносимым Муразовым меня более нежели озадачила—она меня огорчила. Если все остальное было *так* написано—уж не вследствие ли возмущившегося художнического чувства сжег Гоголь свой роман?» (946, с. 184).

Через несколько дней, в письме от 19 октября, Тургенев соглашался с мнением Анненкова о Костанжогло, но заметил, что «повод к недоразумениям» подали «кое-какие» выражения этого героя. Речь шла, разумеется, о тех местах, где Костанжогло обличает западное просвещение, якобы враждебное здоровому началу русской жизни. Для Тургенева все это симптомы «нехорошей струи», бегущей «иногда скрыто, иногда наружи» «в характерах фантастического наставника, Муразова, Улиньки...». Но есть в поэме и другое начало: «Помните прогулку Петуха в лодке—и песни рыбаков—и расшевеленного Чичикова—и безжизненную вялость Платонова. Это удивительное место» (там же, с. 196—197). От Тургенева идет различие и довольно резкое противопоставление двух стихий поэмы, двух ее начал—удавшегося и неудавшегося, истинного и ложного—точка зрения, которая имеет под собой реальную почву, но в то же время как бы подходит к произведению со стороны, не углубляясь в его концепцию. Впоследствии—возможно, не без влияния переписки с Тургеневым—и Анненков стал относиться ко второму тому более критично.

Но задержимся еще на истории распространения списков поэмы.

31 октября 1853 года о чтении сохранившихся глав писал П. Плетнев Вяземскому, отметив в поэме «прекрасные места»<sup>85</sup>.

В декабре же следующего года рукопись побывала в доме Аксаковых. 6 декабря Вера Сергеевна отметила в дневнике, что она и Константин читали привезенную Кулишом первую главу и вспомнили, как ее читал сам Гоголь. «Хотя эта глава далеко не в том виде... но и в этом она так прекрасна, что снова произвела на нас то же впечатление...» (39, с. 21). Через несколько дней Трушковский привез Аксаковым другие главы. 29 декабря Вера Сергеевна записывает: «Главы «Мертвых душ», особенно последняя, в таком неоконченном виде, что скорее их можно назвать заметками, которые автор набрасывает для самого себя. Но все же какие чудные задачи и какие места!» (39, с. 27).

Так в течение двух с лишним лет, с момента окончания Шевыревым переписки гоголевских тетрадей и до выхода книги из печати, шло ее распространение в списках. Это был довольно широкий и интенсивный процесс. Не случайно первые рецензен-

ты (о которых речь впереди) принимали в расчет *давнее* знакомство многих читателей с произведением. «Многие, конечно, из читателей, *прочитав еще в рукописи*, знают, помнят и никогда не забудут генерала Бетрищева...»,—говорил, например, А. Ф. Писемский. Если же учесть, что чтение пробуждало многочисленные устные толки, рассказы и слухи, то картина предстанет еще более сложной. Одна маленькая иллюстрация к сказанному: когда тот же Писемский укорил автора «за анекдот о черненьких и беленьких», считая его неуместным, Некрасов писал: «Не забудем... что анекдот о «черненьких и беленьких» обошел всю Россию прежде, чем вторая часть «Мертвых душ» явилась в печати, возбуждая всюду смех, тысячи забавных применений и служа коротким и резким определением множества однородных с ним фактов...» (67, с. 343—344).

«Мертвые души» начинались под знаком публичности, публичность сопровождала весь творческий процесс, и в заключительной фазе истории книги, предшествующей выходу из печати второго тома, публичность сохранила всю свою силу.

\* \* \*

С опубликованием второго тома—осенью 1855 года—закончился неофициальный, так сказать, скрытый период существования произведения. Книга стала предметом литературной критики, открыто и полно вошла в художественное сознание.

Одна из первых статей, озаглавленных «Николай Васильевич Гоголь и его сочинения», была написана А. И. Рыжовым (Библиотека для чтения, 1855, октябрь, отд. III, с. 1—20; ноябрь, отд. III, с. 1—46; подпись А. Р-в; ценз. разрешение номеров соответственно: 5 октября и 2 ноября). Статья довольно многословная, бледная по изложению—Некрасов впоследствии назвал ее «незначительной»,—тем не менее она обнаружила типичные тенденции в подходе ко второму тому поэмы (о Рыжове см. специальную работу: 42, с. 69—92).

А. И. Рыжов различает в произведении две стороны, удавшуюся и неудавшуюся, продуктивную и непродуктивную—тенденция, наметившаяся, как мы сказали, еще у Тургенева на стадии рукописного бытования текста. Первая сторона—«юмористическая», и она по-прежнему прекрасна. «Талант Гоголя достиг здесь высших своих пределов»; «каждая личность» схвачена «с поразительной силой». Таковы «Самосвистов и подъячий» (очевидно подразумевается «юрисконсульт»), таков Чичиков, который «безупречно верен самому себе во все продолжение поэмы», и, конечно, Петр Петрович Петух: «Такого живого юмора исполнена вся глава пребывания Чичикова у

Петуха, величайшего гастронома околотка». Но «венец гоголевского юмора» — полковник Кошкарев (у Рыжова, как и в тексте первой публикации поэмы, — Кашкарев), к которому, однако, критик относится двойственно: «...странное дело! Чем более станет он [читатель] всматриваться в эту личность, тем более найдет недостатков и утрирования в ее создании. Сам Гоголь чувствовал это и сделал Кошкарева полусумасшедшим. А вместе с тем какая ширина кисти, какая глубина юмора!» Заметим, что «полусумасшествие» для критика не predetermined концепцией образа, но служит вынужденным оправданием, мотивировкой его якобы утрированного, карикатурного изображения. Тем самым Рыжов делает автору «Мертвых душ» упреки художественного, эстетического порядка.

Удачей второго тома критик считает характер Бетрищева (в статье Бедрищева) и особенно Тентетникова. Последний — рангом выше многих других персонажей, в нем, несмотря на все пороки, «на всю комически-грустную косность этого типа новейшего времени», ощутимо авторское сочувствие к его «благородному семени». «Ни в «Ревизоре», ни в «Мертвых душах», вплоть до личности Тентетникова, не встречается нам характера, который бы в такой степени был оплакан горячими слезами Гоголя». В этом смысле близок к Тентетникову Хлобуев — «вместилище всевозможных противоречий».

Интересно, что и Костанжогло критик не склонен считать безусловно позитивным персонажем, продолжая здесь традицию суждений, высказанных еще на стадии рукописного бытования поэмы (Анненков, Тургенев). «...Самая желчная натура Костанжогло и новогреческое прозвище, ему данное, указывают, что Гоголь не слишком сочувствует этому типу и представляет его только как относительную добродетель, состоящую в производительной и полезной для общества деятельности». Суждения Рыжова о Костанжогло, которого он называет воплощением «бездушной положительности», не лишены критической тонкости.

В то же время Рыжов отмечает и несовершенство упомянутого образа, проистекающее оттого, что «автор, стараясь заслонить... ненужные для него стороны этого безотносительно-пошлого лица, влагает в уста его ветхие экономические поучения». Это те самые «поучения», которые претили и Тургеневу в Костанжогло и особенно в Муразове. Рыжов к Муразову снисходительнее, но дидактическую окраску этого образа не принимает: «Болезненный, угловатый лиризм решительно заслонил собою прекрасный, по мысли и естественности, характер Муразова». Достается и Улиньке: «Признаемся, характер этот,

или, скорее, постоянно лирическое превознесение этого характера произвело на нас неприятное впечатление».

Все это составляет уже вторую, слабую сторону произведения Гоголя.

Противоречие двух сторон восходит к авторскому заданию, которое критик, в виду имеющихся глав второго тома, отваживается теперь передать одной формулой. «выводом». Напомнив о практических наставлениях Чичикову Костанжогло и Муразова, Рыжов говорит, что этот «практический ум... строит общественное здание,—и горе тому человеку, который, уклоняясь от здорового народного смысла, предается ничтожным страстишкам и закоснеет в нравственном ничтожестве». «Вот, по мнению нашему,—добавляет критик,—общий вывод второй части, а может быть, и всей поэмы „Мертвых душ“»

Собственно, ничего противоречащего замыслу Гоголя в таких словах, вероятно, не было. Но насколько все выглядит беднее, прагматичнее и заземленнее! Ведь все-таки в произведении должна была разоблачиться высокая божественная тайна, открыться субстанциональное предназначение русского человека...

Но и в том виде, в каком это задание сформулировано критиком, оно, по его мнению, полностью не осуществлено. Причина—в преобладании мысли над художественностью, анализа над синтезом. «Великий мастер в анализе современной действительности, Гоголь не вполне готовым приступил к синтезу». Отсюда—печать неоконченности, половинчатости на всем произведении; причем не только в его, так сказать, мыслительной, но и в эстетической сфере. Тут-то становится ясным, почему критик упрекал творца Кошкарева в карикатурности: современное искусство требует «нормального человека»; у Гоголя же многие герои «являются скорее осуществлением идеи, верной в основе и с замечательным тактом схваченной из жизни, но не вполне воплотившейся в живые формы образа». «Манеру Гоголя» критик называет «переходной».

А. Ф. Писемский в статье «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти...» (Отечественные записки, 1855, октябрь, отд. III, с. 57—76) также различает в рецензируемом произведении две стороны. Одна свидетельствует «о силе и художественной зрелости», другая—«о напряженности труда». Первую сторону—удавшуюся, зрелую, художественную—начинает фигура Тентетникова, продолжает Бетрищев («фигура его до того ясна, что как будто облечена плотью»), затем Петух и его два сына гимназиста, Платонов и особенно Хлобуев: это лицо «по тонкости задачи, по правильности к нему отношений автора, равняется, если не превосходит даже Тентетникова».

Другие же персонажи, собственно, представляют уже вторую, неудавшуюся сторону поэмы. Одни не удались только по художественному исполнению, ибо они карикатурны и утрированы. Другие — еще и по мысли, ложной и фальшивой в своей основе. К последним относится Улинька, та самая обещанная в I томе славянская дева, «за которую, — говорит Писемский, — я тогда еще опасался», и «опасения мои сбылись в самых громадных размерах». Костанжогло же — это «один из обещанных доблестных мужей, к которым должен возгораться любовью читатель». «И посмотрите, сколько приемов употреблено поэтом, чтобы осветить своего любимца приличным светом!» Словом, отношение критика к этому персонажу безоговорочно негативное. Муразов завершает галерею фальшивых, надуманных лиц: «Нельзя не заметить в нем, как и в Костанжогло, идеала и вместе с тем решительного преобладания идеи над формой».

Но помимо неудачи, проистекающей из диктата «идеала», в поэме сказались и пороки утрирования. Уже в изображении Петуха критик нашел «невозможной» и потому карикатурной сцену, «где тащат Петуха в воде неводом». Но верх карикатурности — полковник Кошкарев. «Лицо это совершенно не удалось... и оно мне собой очень напоминает изображения Европы, Азии, Африки, Америки в виде мифологических женщин...» Сравнение с «мифологическими женщинами» намекает на аллегорическую природу Кошкарева, ибо он, по мнению критика, призван обличить уродливые явления западноевропейского администрирования. «С этой целью он, вероятно, введен и в роман; а чтоб придать ему хоть сколько-нибудь человеческую форму, автор называет его сумасшедшим». Вместе с Рыжовым, Писемский видит в «сумасшествии» не внутреннее свойство образа, а лишь внешнее оправдание карикатурности. Опять упрек чисто художественного свойства, и характерно то, что он произнесен молодым прозаиком, представителем нового литературного движения, которое в своем стремлении к натуральности и естественности готово уже было ополчиться на некоторый гиперболизм гоголевской гротескной манеры. И это несмотря на то, что ключевую роль Гоголя в развитии современного комизма Писемский сознает.

Русские писатели до Гоголя — Кантемир, Фонвизин, Грибоедов — «были величайшие сатирики — но и только. Они осмеивали зло, как бы из личного оскорбления». Гоголь же «юморист в полном значении этого слова». «Настолько поэт, настолько философ, настолько сатирик и, если хотите, даже пасквилист, насколько все это входит в область юмора, он первый устремля-

ет свой смех на нравственные недостатки человека, на болезни души». Слово «пасквилист» было, впрочем, не самым уместным в этой характеристике, и не случайно неточность заметил и высмеял Некрасов.

Отклик Некрасова на гоголевское произведение в его «Заметках о журналах за октябрь 1855 года» (Современник, 1855, № 11, отд. V, с. 71—87<sup>43</sup>; ценз, разрешение: 31 октября; см. также: 67, с. 341—345) целиком строится на полемике с Писемским. Некрасов оспаривает или уточняет его выводы, исходя из существа дела и из соображений тактики, продиктованной отношением к гоголевскому творчеству.

Еще 12 августа, только что прочитав второй том, Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Вот честный-то сын своей земли! Больно подумать, что частные уродливости этого характера для многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что могло бы более нравиться и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезным для своего отечества. И погиб в этой борьбе, и талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково самоотвержение!» (67 а, с. 232). Для Некрасова вне сомнения, что во втором томе есть нечто сделанное, натужное, насильственное, вышедшее не из органического творчества, а из априорной цели; но он, критик, полагая это само собою разумеющимся, обращает внимание на другое — на заслуги писателя. Таким подходом к Гоголю отмечены и некрасовские «Заметки о журналах».

Критик присоединяется ко всему сказанному Писемским не только о Тентетникове, Хлобуеве, Бетрищеве, но и о Костанжоголо. Это значит, что и Некрасов видит в нем «резонера, а не живое лицо» (Писемский). Но вот в отношении утрировки Кошкарева он решительно другого мнения. «...Страсть возводить свое частное хозяйство на степень административного учреждения, откуда, как ручьи в широкий бассейн, все притекало бы к личности хозяина, усилие поправить недостаток порядка не отвержением системы, а расширением тех же мер, самое помрачение Кошкарева на этой идее... все это задатки такого характера, который даже и в первоначальном, слабом очерке никак не дает нам права на сравнение его с лубочными картинками...» Некрасов первым указал на художественную мотивированность «помрачения» Кошкарева: бюрократ-помещик хочет исправить дело «не отвержением системы», а доведением ее до предельной степени. Но тем самым обнажился и политический подтекст «приема».

Большое внимание уделяет Некрасов и гоголевскому лиризму. Писемский «почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме»;

«подумал ли критик, на какое бедное значение низводит он одним словом великого писателя и как бы это было прискорбно, если б было справедливо?» Чем же объясняется подобное мнение Писемского? Тем, что лиризм понимался им своеобразно. Об окружающих Гоголя лицах Писемский говорит, что «питая под влиянием очень умно составленных лирических отступлений в первой части «Мертвых душ» полную веру в лиризм юмориста, они ожидали от него идеалов и поучений...». Лиризм здесь сближается с «идеалами» и «поучениями», и такое словоупотребление восходит, кстати, к самому Гоголю, в пору его работы над вторым томом (см. выше). Поэтому-то и Рыжов всегда говорил о лиризме Гоголя с негативной интонацией («болезненный, угловатый лиризм»).

Некрасов же, отталкиваясь от современной критики, да и от самого Гоголя (если иметь в виду его словоупотребление), возвращает понятию «лиризм» более широкий, первоначальный смысл. «Ах, г. Писемский! Да в самом Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая поэзия Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно-слитный с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой — характер, и притом такой русский характер!»

Некрасов с замечательным тактом сумел соединить, казалось бы, непримиримое: неприятие идеальной стороны второго тома с высокой оценкой его достижений, понимание новейших литературных стремлений с осознанием — во всем объеме — вклада Гоголя. Пиетета перед Гоголем — вот чего, пожалуй, начинало недоставать молодым его оценщикам и критикам. Для Некрасова же такое отношение к Гоголю неприемлемо, ненавистно. Пусть Писемский «жаркий поклонник Гоголя и не без основания называет себя учеником его», но взгляд его на гоголевское творчество «неглубок и односторонен, вследствие чего значение Гоголя, его деятельность, самое его влияние — все под пером г. Писемского, так сказать, сужено...». Сужение обусловлено тем, что не находят (или утрачиваются?) особые эстетические «мерки», которые бы подходили к гоголевским творениям. Ведь «Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно новое» в мировой литературе, и «основы суждения о нем должны быть новые».

Последним в 1855 году — в год появления второго тома — высказался о поэме Н. Г. Чернышевский, посвятив ей обширное примечание в первой статье своих «Очерков гоголевского периода русской литературы» (Современник, 1855, № 12, отд. III);

ценз, разрешение 30 ноября, см. также: 99, с. 10—13). Отказываясь от оценки всего «чернового эскиза» в целом, даже считая такую оценку невозможной, ибо сохранившиеся рукописи «есть собрание отрывков», написанных в разное время и под влиянием неодинаковых обстоятельств, Чернышевский сосредоточился на определении «различной степени достоинств различных страниц». Тем самым критик продолжил традицию противопоставления двух сторон поэмы. К первой стороне, выражающей «фальшивую идеализацию», он относит изображение «дивного воспитателя Тентетникова», «многие страницы отрывка о Костанжогло, многие страницы отрывка о Муразове». Счет на «страницы» говорит об осторожности и точности критика, учитывающего предшествующие суждения «за» и «против»: он не собирается, скажем, полностью зачеркивать Костанжогло, видит в его «монологах» «смесь правды и фальши, верных замечаний и узких, фантастических выдумок».

Вторую же сторону поэмы, где талант Гоголя «является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и свежести», представляют, по мнению критика, такие места, «как разговор Чичикова с Бетрищевым о том, что все требуют себе поощрения, даже воры, и анекдот, объясняющий выражение: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», описание мудрых учреждений Кашкарева, судопроизводство над Чичиковым и гениальные поступки опытного юрисконсульта; наконец дивное окончание отрывка — речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы не читали еще на русском языке, даже у Гоголя». Политический подтекст всех приведенных примеров очевиден: особенно красноречиво упоминание бюрократической системы Кошкарева и речи генерал-губернатора, жалующегося на засилье взяточников и казнокрадов, на всеобщую коррупцию и разложение. При прохождении рукописи в цензуре Дубельт, мы помним, наивно полагал, что применение действий Кошкарева и речи генерал-губернатора к государственному управлению в целом было бы «слишком насильственной» затеей, и никто на нее, конечно, не отважится. Демократическая же критика, однако, в лице Некрасова или Чернышевского, прекрасно сумела это сделать...

Сказанное не означает, что критик ценит во втором томе голое обличительство. Наоборот: общественную тенденцию критик признает реализовавшейся постольку, поскольку Гоголь остается художником и юмористом. «Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименее удачная, представляет доказательства, что в этом отношении Гоголь всегда остается прежним, великим Гоголем».

Как и при появлении первого тома «Мертвых душ», завершил дискуссию Н. Д. Мизко, опубликовавший — уже в следующем году — статью «Голос из провинции об отрывках из второй части поэмы Гоголя: „Похождения Чичикова, или Мертвые души“» (Отечественные записки, 1856, кн. 6, отд. Критика, с. 44—66; подпись: Н. М.). Название должно было указать на преемственную связь с первой статьей: та тоже называлась «Голос из провинции...».

Н. Д. Мизко продолжает разбор поэмы в двух ее тенденциях, двух ипостасях, приводя уже устоявшиеся, общепризнанные примеры. Лучшую сторону представляет Тентетников: «Лицо это замечательно как исключительно современный тип. Положа руку на сердце, сознаемся, как много есть между нами Тентетниковых...» Затем ее продолжает Платонов — своего рода «видоизменение» Тентетникова, — Бетрищев и особенно Петух: его «изображение... может стать с лучшими комическими положениями, на которые Гоголь такой мастер!» Переходя к Кошкареву, критик напоминает о различиях во мнениях: одни его «находят типом, венцом гоголева юмора, другие — неудавшейся аллегорией, в роде изображений частей света, под видом мифологических женщин» (намек на Писемского). Мизко ближе к первой точке зрения, настаивая на жизненности этого типа.

Переходя к другой, неудавшейся стороне второго тома, критик называет Муразова, Улиньку, учителя Александра Петровича — словом, примеры известные. Отношение его к Костанжогло безусловно негативное. «Неужели Костанжогло, эта «загребшая (так!) лапа»... — обещанный Гоголем «муж, одаренный божественными доблестями», или Улинька — «чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире?» Нет, все это «не живые личности», а «мертвые олицетворения разных поучительных идей».

Новое в подходе Мизко — постоянная апелляция к жизни, сравнение художественного материала с действительным. Этим вторая его статья резко отличается от первой, строившейся как эстетический трактат, подчас даже с некоторой схоластической окраской. Создается впечатление, что для Мизко не прошла бесследной беседа с Гоголем в Одессе, в январе 1851 года, когда писатель подчеркнул свой интерес к живой жизни: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением...» (см. выше). Теперь критик обратил оружие Гоголя против него самого.

Н. Мизко спрашивает: есть ли в действительности лица, подобные Муразову и генерал-губернатору? И отвечает: «Бывают, да они не таковы... Есть и откупщики-филантропы, уделя-

ющие на пользу ближних тысячный процент барышей, нажитых ими с этих же ближних; но и этот процент приносит им обратно проценты... Есть и правители-краснобаи, любящие подчас озадачить своим красноречием; но их подчиненные скоро привыкают к ним, испытав, что красные слова начальника не мешают им втихомолку творить весьма некрасивые дела на пользу свою».

В связи же с идеальным наставником Тентетникова Н. Мизко, питомец Екатеринославской гимназии (где отец его служил директором), вспоминает реальный случай: «Был лет двадцать пять назад в одном губернском городе мужской пансион, приносивший много лет пользу краю; но содержатель его был просто педагог, обожавший науку и умевший заставить юношей полюбить ее без всяких дальнейших претензий». «Просто педагог...» «Без всяких дальнейших претензий...». Критик хочет сказать, что хороший наставник, прививающий юношам добрые начала,—явление вполне реальное, но нереально связывать с ним перспективы радикального общественного переустройства.

Заключение статьи напоминает о той атмосфере, в которой проходила встреча читателей со вторым томом поэмы: поражение России в Крымской войне, смерть Николая I, всеобщее ожидание перемен и уверенность в их необходимости. «Громы современных событий разбудили национальное самосознание снова, подобно тому, как это случалось прежде в роковые эпохи нашей народной жизни». Перед лицом этих «событий» гоголевская идеальная перспектива признается неубедительной и — «почему знать, может быть Гоголь, просветленным, предсмертным взором взирая беспристрастно на настоящее и прозирая в будущее, находил появление второго тома и в другой редакции несвоевременным? И едва ли это будет не самая верная точка взгляда на сожжение Гоголем перед смертью своих сочинений и вместе самое правдоподобное объяснение причин этой великой жертвы...»

Так уничтожение второго тома было осмыслено не только как акт художнического прозрения его несовершенства, а вместе с тем недостаточности найденного или искомого ответа, но и как признание его неуместности и социальной вредности. Вывод, который мог быть сделан критиком лишь в преддверии общественного возбуждения и революционного подъема шестидесятих годов.

Сравнивая восприятие новонайденных глав с тем приемом, который в свое время оказали читатели и критики первому тому, мы видим, что картина стала более определенной и однотонной. Не замечается былого разнообразия и противоборства мнений, не слышно резких голосов противников Гоголя. Спор сводится к

оттенкам и деталям, порой — к трактовке одного образа, скажем, Костанжогло или Кошкарева, или одного эпизода, скажем, анекдота о «черненьких» и «беленьких». Более или менее дружно признают неоднородность текста второго тома, разделение его на две стороны — реальную и идеальную, удавшуюся и неудавшуюся. И всегда за таким противопоставлением стояли соображения не только эстетического, но и общественного свойства: наступала эпоха социальных перемен и активных действий.

Изменения заметны даже и тогда, когда сравниваешь суждения, разделенные двумя-тремя годами, — при первом знакомстве с главами второго тома, еще на стадии их рукописного распространения, и после его опубликования. Последние выглядят строже и критичнее. Характерный пример — суждения Анненкова. В 1853 году, мы помним, он готов был поставить второй том выше первого, не видел ничего дурного в Костанжогло и т. д.; но спустя четыре года, в «Воспоминаниях о Гоголе...» (первоначально опубликованы в «Библиотеке для чтения», 1857, февраль и ноябрь), отмечал в создании Костанжогло и Муразова «участие призрака», то есть идеализацию, говорил о неоднородности, двойственности всего второго тома. Устные суждения этой поры подхватывают намеченное противопоставление. Так, В. П. Боткин, после прочтения книги, писал 4 сентября 1855 года А. В. Дружинину, что «во 2-м томе «Мертвых душ» Гоголь начинает впадать в дидактику — явный признак, что талант его ослаб» (73, с. 40).

При первом знакомстве с рукописями второго тома такие литераторы, как Тургенев и тот же Анненков, готовы были признать это произведение выше всего, что есть в современной литературе («колокол Ивана Великого»). Спустя два-три года настроение заметно изменилось. Нет, мощь гоголевского таланта не отрицает никто; но появились намеки на переходный характер его творчества, на то, что гоголевский гротеск и «утрировка» не вполне отвечают новым стремлениям — к безусловной правде, жизненной точности рисунка, созданию «нормального человека» и т. д. Понадобились эстетический такт и пронизательность Некрасова, чтобы оценить гротескный набросок образа Кошкарева, да и вообще, чтобы заявить о непревзойденной — на все времена непревзойденной! — глубине гоголевского гения.

И наконец, последнее: в годы после сожжения второго тома и смерти писателя ослабевает напряжение общей ситуации, созданное всей творческой историей, всем процессом написания «Мертвых душ». Ядром этой ситуации была тайна — ее обещание и ее ожидание, а также вытекавшие из поисков этой тайны новые отношения между автором и читателями. Второй том

«Мертвых душ» принес с собою некоторое отрезвление, и вместе с признанием неудачи идеальной стороны гоголевской поэмы угасала и острота интереса к тайне (соответственно, кстати, критики избегают называть «Мертвые души» поэмой, предпочитая слово «роман»). Зависел этот процесс не только от новооткрытых текстов Гоголя, но и от изменяющегося времени, исполненного предчувствия социальных изменений и активных действий. Но это означает и то, что ответы, сформулированные временем, нельзя считать окончательными: еще не раз на протяжении второй половины XIX и в XX веке будет меняться отношение к Гоголю и его главной книге.

---

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

---

С осени 1835 года, со времени, когда началась документированная история «Мертвых душ», и до выхода из печати сохранившихся глав второго тома прошло двадцать лет. Это период знакомства и освоения русскими читателями гоголевского произведения,— процесс, протекавший параллельно с его обдумыванием, написанием и публикацией.

Много событий уместилось в это двадцатилетие—и общественных и литературных; но все они происходили как бы на фоне становящейся гоголевской поэмы. Можно сказать, что мысль о «Мертвых душах», переживание «Мертвых душ» вошли существенной краской в тот душевный и идеологический спектр, который отличал в это время русское общество и который оказывал обратное воздействие на творца поэмы. Выявить и по возможности точно описать эту «краску» мы и стремились в настоящей книге.

Надо ли еще раз говорить, что история «Мертвых душ» на этом не оканчивается и что перед ними открывается еще долгий путь—в наши дни и в будущее? Но все это уже другая тема и другая книга.

Здесь мы можем прочертить лишь некоторые пунктирные линии этого процесса.

В шестидесятые годы прошлого века, в пору важных общественных перемен, подъема революционного движения, экономических и политических реформ, обострилось критическое отношение к позитивному содержанию «Мертвых душ». Точнее—к гоголевским поискам такого содержания. Еще резче, чем прежде, была подчеркнута противопоставленность и неслиянность двух начал поэмы—условно говоря, описательного и лирического.

«В самом деле, что такое «Мертвые души»?—спрашивал в 1864 году Д. И. Писарев в статье «Реалисты».—Изображал человек «бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни», и все шло хорошо и умно; а потом вдруг, в самом конце, пустил бессмысленнейшее воззвание к России, которая будто бы куда-то мчится, как бешеная тройка, да так шибко мчится, что остальные народы только рот разевают и диву даются. И кто тянул из него эту дифирамбическую тираду? Решительно никто. Так, сама собою вылилась, от полноты невежества и от непривычки к широкому обобщению фактов. И вышла чепуха: с одной стороны— «бедность», а с другой— такая быстрота развития, что любо-дорого. Ничего цельного и не оказалась. И уже в этом лирическом порыве сидят зачатки второй части «Мертвых душ» и знаменитой „Переписки с друзьями“» (72, с. 129). Поэтом Гоголь лишь «зародыш» подлинного, большого художника:

Писарев судил творца поэмы с позиций «разумного созерцания», то есть демократических убеждений шестидесятников. При этом и позитивную программу Гоголя Писарев брал непосредственно в ее политическом выражении, так, как она прочитывалась в речах Констанжогло или в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (сохранение и укрепление крепостного права, самодержавия и т. д.). И он, конечно, был глубоко прав, обнажая несостоятельность и архаичность этой программы.

Но у Гоголя моральное и философское содержание не уместается в рамках конкретной политической проблематики, раздвигая и взламывая их изнутри. Об этом прекрасно сказал Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год, споря с критиком В. Г. Авсеенко: «Женитьба», «Мертвые души»— «самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти дают ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь? А г. Авсеенко кричит, что в «Мертвых душах» нет внутреннего содержания!» (40, с. 263). С этой точки зрения бесконечно важный смысл приобретает сама гоголевская постановка вопросов, их предельное заострение и обнажение и— повторим еще раз— даже само ненахождение на них ответа. В другом месте (в статье «Книжность и грамотность» за 1861 год, Достоевский заметил, что Гоголь обладал «страшным могуществом смеха»— «могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как содалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед

нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться».

Неиссякаемая жизненность гоголевской поэмы выражается в том, что ее «художественные типы», восхищавшие Достоевского своей рельефностью, как бы отделились от текста и приобрели способность к самостоятельному существованию. Началось это еще при жизни Гоголя, буквально на второй день после появления «Мертвых душ».

В 1842 году Белинский уподобил своего литературного противника, К. С. Аксакова, Манилову. Позднее Добролюбов называл Маниловыми сатириков, не понимающих связи частных пороков с общим устройством жизни: «...всмотритесь пристальнее в характер этих обличений,—вы без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую до приторности...». Подобные примеры можно приводить без конца.

А какие богатые возможности для развития содержал в себе образ Чичикова! В 1845 году Белинский заметил, что «Чичиков как *приобретатель* не меньше, если еще не больше Печорина,—герой нашего времени» (17, т. IX, с. 79). В шестидесятые годы понятие «честной чичиковщины» применил Н. Г. Помяловский в повести «Молотов», заглавный герой которой мечтает о «мещанском счастье» и безгрешном приобретательстве. В семидесятые годы, в романе И. С. Тургенева «Новь», гоголевская характеристика Чичикова была перенесена на фабриканта: «Сам шкуру дерет—и сам приговаривает: „Повернитесь-ка на этот бочок, сделайте одолжение; тут есть еще живое местечко... Надо его пообчистить!“» Позднее, уже в нашем веке, П. А. Кропоткин писал о международном значении этого персонажа (сходные мысли высказывались и раньше—например В. Г. Белинским): «Чичиков может покупать мертвые души или железнодорожные акции, он может собирать пожертвования для благотворительных учреждений... Это безразлично. Он остается бессмертным типом: вы встретитесь с ним везде; он принадлежит всем странам и всем временам: он только принимает различные формы, сообразно условиям места и времени».

Новую жизнь обрели гоголевские персонажи в сатире Салтыкова-Щедрина. Биографии некоторых из них были продолжены, дописаны, отчасти в соответствии с теми «готовностями», которые обнаруживал гоголевский герой, отчасти же на основе остро, неожиданного контраста с прежними данными. Собакевич, например, после смерти Феодулии Ивановны «воспользовался ее имением и женился на Коробочке, с тем, чтобы и ее имением воспользоваться». Маниловы же, наоборот, разорились, «потому что Фемистоклюс промотал все имение и теперь сам

служит в швейцарах...». А вот Ноздреву «посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на себя внимание охранительной русской прессы, а потом дальше, да выше» (все примеры из произведения Щедрина «Письма к тетеньке», 1881—1882 гг.).

Общеизвестно также, какое место заняли гоголевские персонажи в сочинениях Ленина. Гоголь цитировался Лениным чаще всех других писателей (за исключением Щедрина), причем особенно часто упоминались персонажи «Мертвых душ». Выразительны примеры с Собакевичем: «В тексте Ленина Собакевич пережил... метаморфозу черносотенца, причем эта метаморфоза имела свою историческую эволюцию—от конца 90-х годов, когда перед нами просто был беспартийный помещик Собакевич, к 1907 году, году конца революции, когда Собакевич стал членом партии черной сотни...» (см. работу М. В. Нечкиной «Гоголь у Ленина».—В кн.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., т. 2, 1936, с. 558).

В заключение нашего краткого очерка судьбы «Мертвых душ»—два слова о международной известности поэмы. Эта известность началась еще при жизни Гоголя. В 1846 году в Лейпциге вышел немецкий перевод «Мертвых душ», подготовленный Ф. Лёбенштейном.

По оценке современного немецкого исследователя это почти полный, без пробелов («fast lückenlose») и добротный в языковом отношении перевод (E. Reissner. Deutschland und die Russische Literatur, 1800—1848, Berlin, 1970, S. 220). Издание было снабжено предисловием, в котором давалась высокая оценка гоголевского произведения.

Интересно, что эта книга попала в поле зрения Гоголя. 19 марта 1846 года Н. М. Языков писал Гоголю в Рим из Москвы: «Посылаю тебе перевод предисловия к немецкому переводу „Мертвых душ“. Немец переводчик Löbenstein... называет их *народною русскою книгою*, сделавшей столько же шуму в России, как «Mystères de Paris» («Парижские тайны» Э. Сю во Франции (81, 1896, декабрь, с. 641).

Сохранился список русского перевода предисловия—этот список, по-видимому, и был послан автору «Мертвых душ». «Гоголь не надевает белых перчаток и не мягкими пальчиками прикасается он к ранам—нет он хватает их просто и, так сказать, медвежьёю лапой—и резко выставляет истины, часто горькие, на вид своему правительству и народу. Он—пламенный патриот... но эта любовь не ослепляет его, она не мешает ему видеть ошибочное направление воспитания, жалкий упадок правосудия и судопроизводства и вообще все смешные стороны

своих сограждан. Насмешливо улыбаясь, спокойно стегает он бичом сатиры и старого и малого, и общественное и государственное зло, не стараясь, как стараются многие другие писатели, приобрести себе благоволение публики, глядя сквозь пальцы на ее склонности» (XIII, 458).

Прочитав «выписку предисловия», Гоголь писал Н. М. Языкову 5 мая н. ст. 1846 года: «Немец судит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой может иметь на эти вещи иностранец. При всем том крайне неприятно, что „Мертвые души“ переведены» (XIII, 61).

Двойственность реакции Гоголя объясняется тем, что автор предисловия, опирающийся лишь на материал первого тома, давал ему негативную, социально-критическую интерпретацию. Гоголь полностью не отвергает правомерность такой интерпретации, однако в перспективе дальнейшего развития содержания она кажется ему недостаточной, а для международной репутации России даже и невыгодной. «Впрочем, что случилось, то случилось не без воли божией. Дай только бог силы отработать и выпустить втор(ой) том. Узнают они тогда, что у нас есть много того, о чем они никогда не догадывались и чего мы сами не хотим знать...» (XIII, 61).

Вскоре после немецкого перевода «Мертвые души» были изданы и в других странах.

В 1849 году поэма печатается на чешском языке в газете «Národní Noviny»; автором перевода был известный писатель, большой ценитель гоголевского творчества К. Гавличек-Боровский.

В 1854 году вышел анонимный английский перевод «Мертвых душ» под названием несколько описательного, иллюстративного свойства: «Homelife in Russia by a Russian Noble» (Домашняя жизнь русского дворянства в России).

В 1858 году появился французский перевод «Мертвых душ», и уже в следующем году поэма была переведена вторично.

В 1886 году гоголевское произведение издали в Америке, в Нью-Йорке.

В 1926 году в Барселоне появился первый испанский перевод «Мертвых душ».

Перечень этот можно дополнять и продолжать... Сейчас «Мертвые души» (как и большинство произведений Гоголя) переведены на многие языки и известны на всех континентах и почти во всех странах.

Но все это еще не означало широкого международного признания, которое пришло к творцу «Мертвых душ» не сразу, постепенно, ломая эстетические предубеждения и привычные нормы.

В 1842 году в полемике с К. Аксаковым (о которой выше уже говорилось) Белинский утверждал: «...Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет *решительно никакого* значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской...» (17, VI, 422). Такая точка зрения господствовала чуть ли не на протяжении всего XIX века; с теми или другими оттенками ее разделяли многие—и писатели, и критики, и профессиональные историки литературы, в том числе и специалисты по Гоголю.

П. А. Плетнев сравнивал восприятие «Мертвых душ» русским и иностранным читателем. То, что восхищает и глубоко трогает одного, оставляет равнодушным и безучастным другого. «Для иностранца, который не в состоянии трепетать от художнического мастерства автора, вся прелесть исчезает за недостатком жизни более ценной и более общепонятной» («Современник», 1842, г. XXVII, с. 55—56). Осуждать Гоголя критик вовсе не собирается, наоборот, он ставит это писателю в заслугу: автор «Мертвых душ» отразил русскую жизнь такой, какова она есть, не поднимая на ходули и не подделываясь под чуждый тон. Но значению гоголевского шедевра в мировой культуре такая верность самому себе не способствовала и не могла способствовать. Мысль Плетнева, между прочим, была полностью одобрена Н. Г. Чернышевским, который в «Очерках гоголевского периода русской литературы» назвал ее «чрезвычайно замечательной» (99, с. 132).

О специфически русском значении Гоголя писал в 1845 году и И. Киреевский: «Если бы и можно было перевести Гоголя на чужой язык, что, впрочем, невозможно, то и тогда самый образованный иноземец не понял бы лучшей половины его красот» (50, с. 214). Киреевский, правда, осторожнее других: он не отказывает Гоголю в мировом достоинстве, но считает, что оно не в состоянии полностью (или почти полностью) раскрыться, оставаясь некоей вещью в себе.

При мысли о творце «Мертвых душ» сама собою напрашивалась параллель с Тургеневым: вот кто по праву обладает мировым значением! «Он был не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет, например, Гоголь,—писал Н. К. Михайловский в 1883 году,—со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так близок и родственен, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские типы—общечеловеческие, пожалуй, абстрактно психологические» (Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., 1957, с. 269—270).

«Никогда не будет...» Почему-то Гоголь особенно часто

побуждал своих интерпретаторов к предсказаниям, пророчествам. Мало было констатировать существующее — выводилось некое общее правило на все времена и эпохи.

«В русской литературе,— писал Н. И. Коробка,— нет образов более ярких, более запечатлевающих в уме, чем образы „Мертвых душ“. Но тем не менее эта дивная картина, по силе изобразительности напоминающая кисть Микель-Анджело, имеет мало общечеловеческого значения и вряд ли способна тронуть европейца. Содержание ее слишком национальное — русское, и то общечеловеческое, что, несомненно, есть в „Мертвых душах“, слишком облечено в специфически русские и притом примитивные наивные формы» (7, с. 275—276).

И наконец, еще мнение С. А. Венгерова, автора книги «Писатель-гражданин. Гоголь» (Спб., 1913, с. 120—121): «Как ни велик сам по себе удивительный гений Гоголя, но иностранцы, столь чуткие теперь ко всему, что есть общечеловеческого и вечного в русском литературном творчестве, Гоголя не понимают — настолько он неразрывно связан именно с этими непонятными европейцу „ужасающими беспорядками нашими“. Для них „Ревизор“ забавный фарс, „Мертвые души“ — собрание курьезов».

А что по этому поводу говорили сами «европейцы»?

Один из приметных откликов — статьи Проспера Мериме «Николай Гоголь» (1851). Считая Гоголя талантливым писателем, достойным славы лучших английских «юмористов», Мериме видит особенность его таланта в тонкой наблюдательности, сатирическом воодушевлении и иронии. Все это отразилось в «Мертвых душах», представляющих собою «весьма правдивое изображение провинциальных нравов».

Но то, что «Мертвые души» названы поэмой, Мериме считает «загадкой»; впрочем, не вполне оправданным представляется ему и определение «роман».

«Было время, когда плутовские романы... были в моде во Франции так же, как незадолго перед тем в Испании». Но сегодня «мошеничества утратили прелесть новизны; впрочем, то же самое можно сказать и о преступлениях. Романисты не могут тягаться с „Судебной газетой“. Помимо отталкивающего впечатления, которое производит самая тема, основной недостаток романа г. Гоголя — неправдоподобие...»

И переходя далее к афере с мертвыми душами, критик заключает: «Сделка такого рода могла быть заключена лишь между негодями, но, сталкивая своего героя всего лишь с провинциальными простаками, г. Гоголь тем самым делает ее невозможной. Какое мнение можно составить о человеке, желающем купить „мертвые души“? Что он, сумасшедший или

мошенник? Можно быть провинциалом, можно колебаться между этими двумя мнениями, но нужно быть все же негодяем, чтобы *заклЮчить* подобную сделку» (Проспер Мериме. Статьи о русских писателях. М., 1958, с. 12).

Итак, Мериме видит в «Мертвых душах» запоздалую, а потому и неоправданную эксплуатацию приемов плутовского романа. Осложнение жанра, перерастание его в другой жанр, ощущаемый Гоголем новым явлением и потому названный необычной для прозы дефиницией «поэма», остается за пределами внимания критика. Интересно, что он вплотную подходит к важнейшим смысловым узлам поэмы, вроде купли-продажи не просто душ, а именно мертвых, но рассматривает все это как неуместное преувеличение и погрешности против вкуса. Всем своим философским, общечеловеческим содержанием эти «узлы» автору статьи еще ничего не говорят.

Понятно, что статья Мериме, несмотря на высокую оценку Гоголя, не удовлетворила некоторых русских читателей. И. С. Тургенев писал Полине Виардо 21 февраля 1852 года: «Самые проникательные умы из иностранцев, как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа» (94 б, с. 394). Особенно же был недоволен А. Григорьев, откликнувшийся на статью Мериме специальной заметкой. «Или Мериме слишком поверхностно читал Гоголя, или он вовсе неспособен чувствовать *те незримые миру слезы*, о которых говорит наш поэт, те слезы, которые составляют высокий пафос „Ревизора“ и „Мертвых душ“. Если бы он почувствовал эти слезы, то не назвал бы, конечно, сатириком того, кто везде и повсюду является истинным, всесторонним поэтом» (64, т. VI, с. 614).

Понадобились годы, десятилетия, век для того, чтобы со всею силою почувствовалось и со всею очевидностью раскрылось всеобщее мировое значение гоголевского творчества.

Первые признаки наметились на пороге нашего века. Георг Брандес говорил, касаясь «Ревизора» и «Мертвых душ»: «Ирония Гоголя так глубока, что, заглядывая в нее, испытываешь что-то вроде головокружения» («Гоголевские дни в Москве» М. <без года издания>, с. 149).

Наконец-то была разрушена прямая зависимость «низкого материала» и якобы ущербной, недостаточной содержательности. В мелочах и «дрязге жизни» распознали глубокую философичность, в гротескном и фантастическом колорите — отблеск подлинной запутанности и трагизма человеческих отношений, а в специфически русских реалиях — всеобщность быта и поведения.

Автор этих строк вспоминает, как на проходившем в Токио гоголевском симпозиуме (апрель 1983 г.) японские писатели

говорили: когда они читают «петербургские повести», им кажется, что действие происходит в Токио.

Подобным эффектом пространственного и временного перемещения обладает и поэма Гоголя.

Однако подробно разбирать тему «Мертвые души» в XX веке здесь невозможно.

Приведем в заключение еще одну цитату. Известный французский писатель Мельхиор де Вогюэ заметил, что он сойдет со сцены «с твердой верой в наступление дня, когда «Мертвые души» можно будет найти рядом с «Дон-Кихотом» в библиотеке каждого просвещенного человека» (7, с. 397).

Так спустя многие десятилетия вновь возникла та параллель, под знаком которой начинались «Мертвые души». Параллель к Сервантесу и его «Дон-Кихоту». И эта параллель подчеркивала не только величие и масштаб гоголевской поэмы, но и ее способность к бесконечному изменению и обогащению во времени.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

---

В тексте книги приняты следующие сокращения:

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ГПБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР.

ЛН — «Литературное наследство».

<sup>1</sup> Много сил этой проблеме посвящал академик М. Б. Храпченко. Выходит продолжающаяся академическая серия: «Русская литература в историко-функциональном освещении», «Литературные произведения в движении эпох», «Время и судьбы русских писателей»; вышла книга В. В. Прозорова «Читатель и литературный процесс (Саратов, 1975) и т. д.

Есть работы (хотя они и единичны), специально посвященные проблеме — Гоголь и читатель: см. 52; Fanger Donald. *Gogol and his Readers // Literature and Society in Imperial Russia. 1800—1914.* Standford University Press, 1978. Следует упомянуть чрезвычайно содержательную публикацию Л. Р. Ланского «Неизданные письма к Гоголю» (ЛН, Т. 58, С. 797—836).

<sup>2</sup> См. об этом в моей книге: *Поэтика Гоголя.* М., 1978. С. 274 и т. д.

<sup>3</sup> См. также мою работу: «Мертвые души» Гоголя и традиции западноевропейского романа // *Славянские литературы: VIII международный съезд славистов.* М., 1978.

<sup>4</sup> Мы не рассматриваем версию В. И. Любича-Романовича о заимствовании Гоголем пушкинских сюжетов (записана собеседником мемуариста Глебовым между 1880 и 1888 гг. // *Ист. вестник*, 1902, № 2, С. 553). Как показал В. В. Гиппиус (см. 32. С. 98), эта версия малодостоверна и ориентируется на уже ставшие к тому времени известными мемуаристу воспоминания Анненкова и Павлищева. Следует также отметить, что в

старой литературе нередко воспроизводилась версия о передаче Пушкиным Гоголю сюжета «Мертвых душ», изложенная в «Записках А. О. Смирновой» (Ч. 1, 1895. С. 45) (на эту версию опирался, в частности, В. Шенрок). Лишь позднее, в 1929 г., Л. В. Крестовой было показано, что эти «Записки» являются фальсификацией.

<sup>5</sup> Сделана ссыла на первое издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» (Спб., 1847), где рассказано об упомянутом чтении.

<sup>6</sup> Рукопись этой главы (неполная) примыкает к тексту первой сохранившейся редакции (от половины второй главы по шестую) из собрания А. А. Иванова (ЛБ).

<sup>7</sup> Лукьяновский Б. Пушкин и Гоголь в их личных отношениях (Вопрос о «дружбе») // Беседы: Сб. общ-ва истории литературы в Москве. М., 1915, 1. С. 32—49. Более осторожную и объективную позицию заняли А. С. Долинин (Искоз) в статье «Пушкин и Гоголь (К вопросу об их личных отношениях)» (Пушкинский сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова. М.; Пг., 1923. С. 181—197) и особенно В. В. Гиппиус (см. 32). Указанные выступления против «легенды» имели широкий резонанс. Один из позднейших откликов — ставшее недавно известным письмо А. И. Белецкого к В. А. Ковалеву от 11 ноября 1951 г.: «...Между Пушкиным и Гоголем — дистанция немалого размера, хотя Гоголь с умыслом или без умысла пытался ее уменьшить, создавая легенду о дружбе с Пушкиным и интимной близости к нему. Легенда эта давно развеяна Лукьяновским... Долининым и В. В. Гиппиусом» (26. 1981. С. 179). Следует, однако, заметить, что с первых шагов борьбы с «легендой» вопрос был поставлен нечетко — и личные и литературно-творческие аспекты смешивались. Из того обстоятельства, что между Пушкиным и Гоголем не было близкой дружбы, делался вывод «об их идейной отдаленности и разобщенности» (Лукьяновский Б. Указ. соч. С. 41).

<sup>8</sup> Смирнова датирует это событие по старому стилю.

<sup>9</sup> Рассказ Смирновой воспроизведен также П. А. Кулишом (54. Т. 1. С. 209—210).

<sup>10</sup> Об этом чтении В. Н. Репнина рассказывает в своих воспоминаниях (82, 1890, Кн. 10. С. 167), но при этом смекает хронологию: Гоголь якобы читал ей отрывок из второго тома, между тем происходило это в Каstellамаре, т. е. летом 1838 г.

<sup>11</sup> Об этом свидетельствует следующий факт, который, кстати, необходимо уточнить с хронологической точки зрения. В. Шенрок, собиравший мемуарные сведения о писателе, сообщил: «[А. С.] Данилевский рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Александром Ивановичем Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: „Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если бы я потерял даже

ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкин в этом мире не существует больше!» (102, III, 166). Из рассказа Шенрока следует, что этот эпизод имел место в Париже, в начале 1837 г., когда Гоголь впервые узнал о смерти Пушкина. Но Тургенева в это время в Париже не было (кстати, ошибка повторена и в хронологической канве биографии Гоголя— XI, 14). Данилевский мог наблюдать встречу Гоголя с Тургеневым, впечатление, произведенное этой встречей, лишь в октябре 1838 г., в Париже, хотя не исключено, что сама фраза Гоголя относится к началу 1837 г.—ко времени, когда он впервые узнал о смерти Пушкина.

<sup>12</sup> Под «Невестой» автор подразумевает комедию «Женитьба» (первоначальное название «Женихи»).

<sup>13</sup> В. Шенрок, комментатор черновых текстов поэмы в 10-м издании «Сочинений Н. В. Гоголя», отнес главы II—VI к редакции, написанной еще в Петербурге, а фрагмент VIII главы—к начальной заграничной редакции (2, с. 810). В комментариях В. А. Жданова и Э. Е. Зайденшур к академическому изданию сочинений Гоголя обе рукописи отнесены к заграничной редакции, датированной 1836—1839 гг. (VI, 882—883).

<sup>14</sup> См., например, В. Шенрок, указанный комментарий к 7 тому 10-го издания (2, С. 811).

<sup>15</sup> Слова, приводимые мною в качестве вариантов в круглых скобках, в цитируемом издании даны под строкой.

<sup>16</sup> Слова, взятые мною в круглые скобки, в цитируемом тексте приведены под строкой.

<sup>17</sup> Ср. также в письме к В. А. Жуковскому от 12 ноября н. ст. 1836 г. (II, 73).

<sup>18</sup> Замечания из «Учебной книги словесности для русского юношества» (8, 479).

<sup>19</sup> Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки УССР в Киеве. Шифр Неж. 59. С. 345.

<sup>20</sup> Об этом же факте—в письме В. С. Аксаковой братьям от 3 октября: «Вчера Гоголь обедал у нас, он очень забавен» (ЛН, Т. 58. С. 564).

<sup>21</sup> Правильная дата чтения первой главы «Мертвых душ» указана в примечаниях А. А. Козловского и К. И. Тюнькина в кн.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 633. В свете этих фактов нужно пересмотреть принятое мнение о том, что «Тяжба» была написана лишь к началу 1840 г. (см.: 5, С. 484). Гоголь написал комедию уже к осени 1839 г. (тем самым я исправляю и мой комментарий в кн.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1978, Т. 4. С. 439).

<sup>22</sup> Из данной публикации также видно, что вслед за «Мертвыми душами» Гоголь прочел «главу из Италии». Подразумевается, конечно, итальянская повесть «Анунциата» («Рим»). Это самое раннее упоминание повести, следовательно, еще до чтения в Москве в 1840 г. (см. III, 707) он читал ее в Петербурге в 1839 г.

<sup>23</sup> Комментаторы академического издания полагают, что Гоголь читал у Прокоповича по тетради, которая находится в настоящее время в ЛБ (из собрания А. А. Иванова) и заключает в себе первую сохранившуюся редакцию от половины второй главы по шестую. Подтвердить это мнение могло бы обращение «ноздря»; однако окончание III главы оборвано, и реплика Селифана к «девчонке» отсутствует.

<sup>24</sup> Скорее всего ко времени пребывания Гоголя в Петербурге в конце 1839 г. относится и эпизод, о котором сообщил П. А. Вяземский в «Приписке» (1876) к статье «Языков и Гоголь»: Гоголь собирался прочесть (и, по-видимому, действительно прочел) «новую главу из «Мертвых душ» на квартире Вяземского, в присутствии Жуковского и нескольких других приятелей» (см.: Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982, Т. 2, С. 188).

<sup>25</sup> В. С. Аксакова называет эту главу шестой.

<sup>26</sup> Вот один из примеров неточной и неопределенной информации, которой располагали современники. 11 января 1841 г. Н. А. Мельгунов спрашивал Н. М. Языкова: «Разве в самом деле Гоголь не написал роман «Мертвые души»? Откуда же взял Шевырев, который слышал 17-ю (!) главу и многие другие?» (ЛН, Т. 58, С. 598).

<sup>27</sup> В комментариях академического издания эта редакция датирована 1840-м—началом 1841 г. (883), а следующая редакция, которую Гоголь диктовал Панову и Анненкову, датирована мартом—августом 1841 г. (885). Однако, как мы еще будем говорить, Гоголь начал диктовать рукопись раньше—в конце 1840 г. Следовательно, и время завершения предыдущей редакции должно быть отодвинуто—по крайней мере до конца 1840 г.

<sup>28</sup> Правильная датировка начала работы над 2 томом была дана еще Н. С. Тихонравовым (1, С. 536). Комментаторы академического издания оспорили эту дату на том основании, что Гоголь в 1840—1842 гг. был занят завершением и печатанием I тома, а также подготовкой собрания сочинений, и отнесли начало работы над 2 томом к 1843 г. Но этим соображениям решительно противоречат приведенные мною аргументы. На уязвимость позиции комментаторов академического издания указывал А. Л. Слонимский в Примечаниях к «Мертвым душам» (см. 3, С. 445).

<sup>29</sup> Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки УССР в Киве. Шифр Неж. 59, С. 152.

<sup>30</sup> 25 мая (6 июня) 1841 г. В. А. Панов пишет уже К. Аксакову письмо из Берлина, где есть такие строки: «Он [Фарнгаген] вообще относится к разряду людей, которых Николай Васильевич называет сладкими и которых знакомство отчасти бывает тяжело» (ЛН, Т. 58, С. 604). Это явный намек на характеристику Манилова во II главе—текст, который Панов переписывал в Риме. Неизвестное письмо Гоголя Панову

опубликовала Г. Г. Черныш в "Finitis duodecim lustris..." (Таллин, 1982, С. 109—116).

<sup>31</sup> Приводимые факты подтверждают высказанное мною соображение, что вторая черновая редакция предшествует римской рукописи Панова—Анненкова и, следовательно, должна быть датирована временем до осени 1840 г. (вопреки мнению комментаторов академического издания, считавших, что она «закончена в начале 1841 г.»—883).

<sup>32</sup> Фактом участия в этих чтениях Погодина подтверждается то, что Гоголь прочел ему прежде первые главы. Скорее всего это имело место еще во время первого приезда Гоголя в Россию (см. выше).

<sup>33</sup> Замечание Н. Тихонравова (1, С. 443). См. также: Шенрок В. К истории текста «Мертвых душ» // Киевская старина, 1902, Т. 78, июль—авг. С. 108—109.

<sup>34</sup> Таким образом, сообщение Е. С. Смирновой-Чикиной, будто бы «Н. С. Тихонравов доказал, что заседания цензурного комитета с обсуждением «Мертвых душ» не было» (см. 87, С. 15), просто неверно. Н. С. Тихонравов доказал лишь, что не было запрещения поэмы.

<sup>35</sup> Письмо к А. О. Смирновой не сохранилось. Письмо к В. Ф. Одоевскому см. XII, 27. Что же касается письма к П. А. Плетневу, то, судя по всему, это то самое письмо от 7 января 1842 г., в котором излагается судьба рукописи в Московской цензуре. Факт пересылки этого письма с Белинским ранее не отмечался (см. XII, 587).

<sup>36</sup> Одобренная цензурой рукопись «Мертвых душ» после напечатания поступила в университетскую библиотеку и ныне хранится в Музее книги при библиотеке. Доцензурная редакция «Повести о капитане Копейкине» долгое время была известна по копии, сделанной Н. С. Тихонравовым. Подлинник сравнительно недавно обнаружен в Красноярском областном архиве, куда он поступил из коллекции Г. В. Юдина (см. об этом в статье И. Фейнберга «История одной рукописи» // Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М., 1976).

<sup>37</sup> См. об этом подробнее: Манн Ю. Факультеты Надеждина (65, С. 30 и далее).

<sup>38</sup> Кстати, приведу еще один неопубликованный документ, свидетельствующий о разнообразии и пестротке суждений по поводу «Мертвых душ». Поэт и переводчик Ф. Б. Миллер писал к М. П. Погодину 31 мая 1842 г.: «На днях я слышал мнения двух особ о «Мертвых душах». Одна из них—дама, имеющая претензии на авторство,—она полагает, что в этом сочинении нет ни содержания, ни [1 слово неразборч.], что характеры слишком оригинальны; но в целом оно очень занимательно. Другая особа—мужчина, он говорит, что «Мертвые души» стоят несколько ниже «Вечеров на хуторе» и «Миргорода»; но все виден в них Гоголь; что характеры изображены прекрасно, только один Гарпагон (т. е. Плюш-

кин.— Ю. М.) несколько преувеличен. В особенности понравилось ему своею естественностью рассуждение двух мужичков о колесе, доедет ли оно до Киева (так!), и помещицы Коробочки с своею пенькою и медом, также поразительная противоположность двух прекрасных характеров Манилова и Собакевича. Краткие эпизоды, в которых автор разговаривает сам с собой, исполнены красоты необыкновенной» (ЛБ. Пог II/20/123).

<sup>39</sup> Л. Р. Ланский, впервые в научной литературе обративший внимание на эту рецензию, предположительно считает ее автором В. С. Межевича, редактора «Ведомостей С. П.-Бургской городской полиции» (ЛН. Т. 58, С. 632).

<sup>40</sup> Н. Я. Прокопович сообщал Шевыреву 23 января 1843 г. из Петербурга, что статья в «Современнике» о «Мертвых душах» «принадлежит самому Петру Александровичу [Плетневу]; не знаю, что ему вздумалось подписаться начальными буквами имени и фамилии своего старого товарища и общего нашего знакомого, живущего в Житомире» (ЛН, Т. 58, С. 650). По сообщению Баргенева, У Плетнева в кабинете висел портрет Шаржинского (78, С. 45).

<sup>41</sup> Ввиду всего сказанного личность Маркуса приобретает для нас большой интерес. Приведу еще слова А. В. Никитенко, во многом совпадающие со свидетельством Калайдовича: «Это один из редких людей по образованию, по гуманности, прямодушью и прекрасному сердцу. Ум у него ясный и обогащенный разнообразными сведениями. Ему доступны все умственные, нравственные и эстетические интересы. Всякий прогресс человечества его радует» (68, С. 281).

<sup>42</sup> Еще не очень давно полемика рассматривалась односторонне — как обличение Белинским «реакционных» и «вредных» взглядов К. Аксакова. В последнее время наметился более объективный и глубокий подход к этой проблеме (см.: 12, 51, 105).

<sup>43</sup> В оригинале явная опечатка — «это содержание».

<sup>44</sup> Толкование этой проблемы дается в ряде моих работ, в частности в кн.: Русская философская эстетика (1820—1830-е годы). М., 1969; в статьях «В поисках новых концепций» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 524 и след.), «Эстетическая эволюция И. Киреевского» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, С. 14 и след.) и т. д. В настоящей книге лишь кратко суммируются некоторые важнейшие положения этой концепции, что необходимо мне для разбора полемики Белинского с К. Аксаковым.

<sup>45</sup> Кстати, внесем уточнение в комментарий академического издания сочинений Гоголя. К фразе Гоголя «Сгораю нетерпением видеть старика» (7, 62) сделано пояснение: «Неясно, кого имеет здесь в виду Гоголь. Возможно, что подразумевается В. А. Жуковский» (7, 601). Нет, подразумевается П. М. Языков.

<sup>46</sup> Мысль о первом сожжении рукописи (еще до 1845 г.) отражена и в хронологической канве академического издания сочинений Гоголя (12, 23). Комментаторы же 7 т. справедливо оспаривают эту точку зрения (7, 400).

<sup>47</sup> Все остальные — очень скупые! — свидетельства так или иначе восходят к приведенным словам Гоголя. 21 августа 1846 г. Шевырев писал в Петербург Плетневу: «Справедливо ли известие, что продолжение «Мертвых душ» уничтожено автором?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Слб., 1896. Т. 2. С. 951). Плетнев в это время печатал «Выбранные места...», где содержалось свидетельство о сожжении 2 тома. Слух об этом событии, как видим, дошел до Москвы. Мельком, без указания мотивов, Гоголь упоминает об уничтожении второго тома и в «Авторской исповеди» (8, 454).

<sup>48</sup> Возможно, к конкретным размышлениям о персонажах побудило Гоголя замечание Шевырева относительно позитивных сторон этих персонажей: доброте Манилова, богомольности Коробочки и т. д. (см. выше). Гоголь согласился с этим замечанием, признав всю статью Шевырева важной и нужной ему для дальнейшей работы над поэмой.

<sup>48a</sup> Отсылаю читателя к моей статье «Гоголь — критик и публицист», где дается более подробная характеристика «Выбранных мест...» // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 6. С. 466 и далее.

<sup>49</sup> См. также: Майков В. Н. Литературная критика. Статьи. Рецензии. Л., 1985, с. 296.

<sup>50</sup> Речь идет о письме Гоголя к Смирновой от 22 февраля 1847 г. (см. 13, 222—226).

<sup>51</sup> Гоголь подразумевает статью Розена «Ссылка на мертвых» (Сын отечества. 1847. Кн. 6. Отд. III).

<sup>52</sup> Живой штрих к этому описанию добавляет письмо Ивана Аксакова от 29 ноября 1848 г. из Бессарабии. Родным он советует: «Пользуйтесь хорошим расположением Гоголя, поддерживайте его, пусть его пишет» (47а. С. 59).

К этому времени — началу 1849 г. — относят письмо Гоголя к С. Т. Аксакову с просьбой прислать ему 66-ой номер «С.-Петербургских сенатских ведомостей» за 1848 г. (XIV, С. 105). В этом номере, как указал С. Дурылин, автора «Мертвых душ» могли заинтересовать две публикации: «Расписание окладов для чинов казенных палат с назначенными добавками» и известие об учреждении «Военного суда над помещиками Минской губ., Мозырского уезда, за злоупотребления и неправильные действия, при составлении в 1843 г. планов и статистических описаний незаселенных земель, отданных в залог по питейным откупам и другим подрядам с казны». Последний документ явно перекликается с заключительной главой второго тома, где перед преступными чиновниками тоже встает угроза не гражданского, а военного суда. «...Такой «военный суд» по штатскому делу был не художе-

ственный прием и вымысел Гоголя, а живая действительность николаевской России». Однако видеть в «Мертвых душах» «приметный след» указанного реального эпизода все же оснований нет: сохранившийся текст заключительной главы написан задолго до публикации газеты (см. С. Дурьлин. Гоголь и Аксаковы — «Звенья», Т. 3—4, М.; Л., 1934. С. 353—357).

<sup>53</sup> Это примечание (как и другие) воспроизводится в последующих изданиях «Мертвых душ».

<sup>54</sup> Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы). М., 1931, С. 304. Чагранова имеет несомненное биографическое сходство со Смирновой. Л. В. Крестова в комментариях к указанному изданию отметила, что не случайно один из набросков своей биографии Смирнова озаглавила «Воспоминания А. О. Чаграновой» (С. 333). Сохранившийся набросок о Чаграновых (здесь Чагравины) см. 7, 273. Перечень разновидностей голубей, среди которых есть и «чагравый», содержится в записной книжке Гоголя 1841—1844 гг. (см. 7, 328). Эти наименования (чагравый, вишнепокромой) послужили толчком для «голубиных» фамилий 2 тома поэмы.

<sup>55</sup> К «прощальному слову» Тентетникова относят черновой отрывок «Помещики, они позабыли свою обязанность...» (7, 273). Однако это противоречит содержанию и особенно речевой направленности отрывка; произносящий «слово» обращается здесь не к крестьянам, а к власти имущим, к тому, кто не внушает помещикам сознания их долга: «Зачем ты, вместо того, чтобы им напоминать весь долг... стал ограничивать их мелочными чиновник[ами] и ограничениями...»

<sup>56</sup> Кстати, о своем совете Смирнова вспоминает и в записках: «Когда он читал главу о Костанжогло, я ему сказала: „Дайте хоть кошелек жене его, пусть она шали вяжет“» (86, С. 304).

<sup>57</sup> М. Б. Храпченко делает отсюда вывод, что «сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ» относятся к 1843—1845 гг.» (см. 97, С. 486).

<sup>58</sup> Этому факту как будто бы противоречит то, что в указанном слое фамилия персонажа фигурирует еще как Скудронжогло. Однако в двух-трех местах она уже исправлена здесь черными чернилами на Костанжогло, что могло быть сделано как раз перед чтением в Калуге.

<sup>59</sup> Н. А. Вердеревская отметила, что в этом замечании Арнольди проявилось влияние новых эстетических концепций — прежде всего «натуральной школы» (21, С. 53).

<sup>60</sup> В комментариях академического издания Гоголя, а также в напечатанной здесь хронологической канве ошибочно указано, что Гоголь прочел до отъезда и IV главу (7, 419; 14, 20).

<sup>61</sup> Согласно этому источнику Гоголь прочитал Капнисту «девять глав», что маловероятно.

<sup>62</sup> В «Письме к друзьям Гоголя» (вскоре после сожжения 2 тома и смерти Гоголя) С. Т. Аксаков писал: «И Уленька и Тентетников с их взаимною любовью, и генерал Быстрищев, и Костанжогло и братья Платоновы и многие другие... все погибли» (63, 1852, № 32). С. Т. Аксаков не упоминает ни Муразова, ни священника.

<sup>63</sup> П. Кулиш отнес это высказывание к зиме 1850/51 г. Но Максимович расстался с Гоголем в Глухове в конце июня 1850 г., а затем они еще виделись недолго в Васильевке, в августе.

<sup>64</sup> Следовательно, неточно замечание Н. С. Тихонравова, что «о впечатлении, которое произвела на него третья и четвертая глава, С. Т. Аксаков умалчивает» (1, С. 576). Как свидетельствуют эти документы (они были неизвестны во времена Тихонравова), о III главе С. Т. Аксаков писал сам, а о IV главе — его впечатления передавала Вера Сергеевна.

<sup>65</sup> См. описание этих рукописей, хранящихся в ЛБ.—7, 394—396.

<sup>66</sup> Во время упомянутого чтения Гоголь сказал, что у Александра Петровича был реальный прототип. Как уже неоднократно отмечалось в литературоведении, Гоголь мог подразумевать своего учителя по Нежинскому лицей Н. Г. Белоусова.

<sup>67</sup> Свидание это, говорит Бухарев, состоялось, «если не ошибаюсь, именно 1 октября предпоследнего пред его смертью года» (19. С. 138. То есть 1 октября 1851 г.; в предыдущем, 1850 г. Гоголь в этот день был на Украине).

<sup>68</sup> Есть свидетельство, как будто бы противоречащее сказанному. Г. П. Данилевский в «Воспоминаниях о Гоголе» (1886) передает разговор с Иваном Аксаковым 31 октября 1851 г. И. Аксаков на вопрос о том, как сказал, что «в начале октября Гоголь был у них в деревне Абрамцеве... где читал отрывки из этого тома отцу и потом Шевыреву, но взял с них обоим слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сообщать предмета картин и имен выведенных им героев» (4, С. 441). Однако ничего о чтении в Абрамцеве неизвестно, да едва ли оно было возможно, учитывая состояние Гоголя. О пребывании в это время в Абрамцеве Шевырева также неизвестно. Скорее всего подразумевалось секретное чтение семи глав Шевыреву двумя месяцами раньше, на даче Шевырева (см. об этом выше). Следует учесть также собственное свидетельство С. Т. Аксакова, говорившего в «Письме к друзьям Гоголя», что он слышал только четыре главы (63, 1852, № 32).

<sup>69</sup> Владимир Иванович Назимов — попечитель Московского учебного округа и председатель Московского цензурного комитета. Вероятно, Гоголь намеревался заручиться поддержкой этого человека перед сдачей рукописи в цензуру. Однако других сведений о чтении поэмы Назимову у нас нет.

<sup>70</sup> Есть свидетельства о том, что Гоголь подразумевал во 2 томе поэмы Симбирскую губернию—отсюда его многократно отмечавшийся интерес к этому краю. В черновой заметке, относящейся, по-видимому, к какому-то высказыванию генерал-губернатора, говорится: «Первою моею заботою по приезде в губернию будет заслужить доверенность благородного симбирского дворянства...» (7, 380—381).

<sup>71</sup> По остроумному предположению В. В. Данилова, «очевидную реминисценцию образа Палласа во втором томе является мнение Тентетникова, что Чичиков— „какой-нибудь любознательный ученый профессор, который ездит по России...“» (37. С. 83).

<sup>72</sup> Рассказ Константиновского изложен в статье Ф. Образцова, присутствовавшего при его разговоре с Филипповым.

<sup>73</sup> Приведено в статье М. Т. Ефимовой: Ю. Самарин о Гоголе.—(Пушкин и его современники. Псков, 1970, С. 146). Первоначально (с другой датировкой—1863 г.)—в статье В. Ф. Чижга (Вопросы философии и психологии. 1903, 9—10, С. 681. Оригинал—в ЛБ, ф. 265, п. 40. Копии писем к А. О. Смирновой).

<sup>74</sup> Письмо Шиллера от 27. VIII. 1799 // В кн. Holzschuers S. H. Neudruck von G. Löschins Ausgabe der Xenien, Lpz., 1912, S. 70.

<sup>75</sup> Де Сен-Пре (1782—1863)—французский эмигрант, живший в России.

<sup>76</sup> Статья перепечатана в кн.: Аксаков К. С. И. С. Аксаков: Литературная критика. М., 1981, С. 250—252.

<sup>76а</sup> В. Воропаев и А. Песков авторы статьи «Последние дни жизни Гоголя и проблема второго тома «Мертвых душ», полагают, что Гоголь сжег не всю рукопись, а лишь главы, которые он не успел завершить («завершенным текстом» они называют I—IV главы.)—(26, № 10, с. 145—146). Но «завершенность» применительно ко второму тому—вообще понятие условное. Как я уже говорил, представления Гоголя на этот счет многократно менялись, и уже казалось бы готовый текст (в том числе и первых глав) вновь расценивался им как незавершенный.

<sup>77</sup> В хронологической канве академического издания ошибочно: 25 февраля (XIV, 30). Точная дата похорон Гоголя—24 февраля—указана в некрологической заметке, опубликованной в «Московских ведомостях» (1852, 23 февр., № 24).

<sup>78</sup> ЛБ, фонд Пог. II 36/52, ед. хр. 18 (кроме последнего предложения опубликовано в ЛН, Т. 58, С. 756). Датировка письма «28 авг.»—это явная ошибка. Нужно: 28 апр. Это подтверждается таким фактом. В начале апреля Погодин взял у Шевырева экземпляр «Выбранных мест...» и не вернул вовремя. В письме, которое мы датируем 28 апр., Шевырев просит: «Пришли через контору Переписку Гоголя (ты забыл доставить лично) и 10 р. сер.» В письме от 30 апреля: «...возврати мне переписку, она мне очень нужна. Я уже пишу

к тебе, кажется, в 4-й раз, да не забудь 10 р. сер.» (ЛБ, Пог. II 36/51, ед. хр. 29). В письме от 2 мая: «...пришли мне Переписку Гоголя... Вот уже 5-й раз я тебя прошу об этом...» (ЛБ, Пог. II 36/52, ед. хр. 29). История с «Перепиской» ясно показывает хронологическое место интересующего нас письма — до 30 апреля, т. е. 28 апреля.

<sup>79</sup> ЛБ. Фонд Пог. II 36/52, ед. хр. 31 (неполностью опубликовано в кн.: 14. Т. 12, С. 8).

<sup>80</sup> ЛБ. Фонд Пог. II 36/52, ед. хр. 29.

<sup>81</sup> ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, № 48, л. 11 об.—12 об. Примерная дата письма устанавливается на основании содержащегося здесь сообщения: «Он [Шевырев] на днях едет в Васильевку, к матери Гоголя...» Мать Гоголя писала 13 июля 1852 г. Погодину, что приезжал Шевырев и прожил в Васильевке неделю (14. Т. 12. С. 9). Упоминаемые Гоголем на «лоскутке бумаги» слова — цитата из Евангелия от Иоанна (10, 1): «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иную, тот вор и разбойник».

О другой предсмертной записке Гоголя — см.: Золотусский Игорь. Гоголь, М., 1984, с. 518.

<sup>82</sup> Упоминаемое издание: Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или Мертвые души. 2-е изд. М., 1856. Т. 2 (пять глав).

<sup>83</sup> ГПБ, ф. 199; № 26 и № 27; ф. 116. Бутурлиных, № 349 и т. д.; ЛБ, ф. 65, VII, 2.

<sup>84</sup> Приведено также (без ссылки на первую публикацию) // Осокин В. П. Пермские чудеса: Поиски и находки. М., 1979. С. 105—106.

<sup>85</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп.1, № 2551, л. 15 н/о.

---

## СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

1. Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 3.
  2. Гоголь Н. В. Указ. соч. 1896. Т. 7.
  3. Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1953. Т. 5.
  4. Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.
  5. Гоголь Н. В. Материалы и исследования. М.; Л., 1936.
- Т. 1.
6. Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души... М., 1855.
  7. Николай Васильевич Гоголь: Его жизнь и сочинения: Сб. ист.-лит. ст. /Сост. В. Покровский. М., 1915.
  8. Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем с включением всей переписки с 1832 по 1852 год. М., 1890.
  9. Aventino. По следам Гоголя в Риме. М., 1902.
  10. Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960.
  11. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855.
  12. Анненкова Е. И. Гоголь и К. Аксаков // Пути русской прозы XIX века. Л., 1976.
  13. Ауэрбах Эрих. Мимезис: Изображение действительности в западноевроп. литературе. М., 1976.
  14. Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1888—1910. Кн. 1—22.
  15. Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1886. Т. 3.
  16. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975.
  17. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953—1959. Т. 1—13.
  18. Булгарин Ф. В. Очерки русских нравов... Спб., 1843.
  19. Бухарев А. М. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. Спб., 1861 (на титуле другая дата—1860).

20. Ведомости С. П.-бургской городской полиции, 1842.
21. Вердеревская Н. А. Русский роман 40—60-х годов XIX века. Казань, 1980.
22. Веселовский Алексей Н. Этюды и характеристики. 4-е изд., значит. доп. М., 1912. Т. 2.
23. Весы. 1909. № 4.
24. Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928.
25. Висковатый П. Из рассказов А. О. Смирновой о Н. В. Гоголе // Рус. старина. 1902. Сент.
26. Вопросы литературы.
27. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954. Т. 2.
- 27а. Герцен А. И. Указ. соч. Т. 9.
28. Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1938. Т. 12.
- 28а. Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. 1939. Т. 6.
29. Гиллельсон М. Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева // Рус. лит. 1963. № 2.
30. Гиллельсон М. А. И. Тургенев и его литературное наследство // Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825—1826). М.; Л., 1964.
31. См.: Гиляровский В. А. В Гоголевщине // Рус. мысль. 1902. Кн. I. Раздел XIII.
32. Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Учен. зап. Пермс. ун-та. Отд. обществ. наук, 1931. Вып. 2.
33. Гиппиус В. В. Гоголь. Л., 1924.
34. Горохова Р. М. Из истории восприятия Ариосто в России: Батюшков и Ариосто // Эпоха романтизма: Из истории междунар. связей рус. лит. Л., 1975.
35. Т. Н. Грановский и его переписка. 2-е изд. М., 1897. Т. 2.
36. Грешицев Н. Очерк жизни в бозе почившего ржевского протоиерея о. Матвея Александровича Константиновского // Странник, 1860. № 12.
37. Данилов В. В. Украинские реминисценции в «Мертвых душах» // Наукові зап./ Ніжинський пед. інс-т ім М. В. Гоголя, 1940. Т. 1.
38. Дневники В. А. Жуковского. Спб., 1901.
39. Дневник Веры Сергеевны Аксаковой / Ред. и примеч. кн. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева. Спб., 1913.
40. Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., 1973.
41. Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., 1973.
42. Егоров Б. Ф. Критическая деятельность А. И. Рыжова // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1958. Вып. 65.
43. Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972.
44. Жуковский В. А. Соч. 7-е изд. Пб., 1878. Т. 6.
45. Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 2.

46. Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1960. Вып. 23.
47. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 1.
- 47а. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 2.
48. Из воспоминаний княжны В. Н. Репниной о Гоголе // Рус. архив. 1890. Кн. 10.
49. Каллаш В. Заметки о Гоголе. Гоголь о петрашевцах // Голос минувшего. 1913. № 9.
50. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
51. Кошелев В. А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в трактовке ранних славянофилов.— Рус. лит., 1976, № 3.
52. Кривонос В. Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981.
53. Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976.
54. Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя... Спб., 1856. Т. 2.
55. Николай М. [Кулиш П.] Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя... Спб., 1854.
56. Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
57. Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.: По подлинным делам Третьего отделения е. и. величества канцелярии. 2-е изд. Спб., 1909.
58. Леонтьев К. Н. Страницы воспоминаний. Пг., 1922.
59. Литературный музей. Пб., 1921. Т. 1.
60. Лотман Ю. М. Повесть о капитане Копейкине (реконструкция замысла и идейно-композиционная функция) // Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 467.
61. Манн Т. Путешествие по морю с Дон-Кихотом // Собр. соч., 1938. Т. 6.
62. Марковский М. Н. История возникновения и создания «Мертвых душ» // Памяти Гоголя: Науч.-лит. сб., изд. ист. об-вом Нестора-летописца / Под ред. Н. П. Дашкевича. Киев, 1902.
63. Моск. ведомости.
64. Москвитянин.
65. Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972.
66. Назарова Л. Тургенев о Гоголе // Рус. лит. 1959. № 3.
67. Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1950. Т. 9.
- 67а. Некрасов Н. А. Указ. соч. 1952. Т. 10.
68. Никитенко А. В. Дневник. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 1.
69. Нифонтов А. С. Россия в 1848 году. М., 1949.
70. Отечественные записки. 1856. Кн. 6. Отд. III.
71. Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 г.: Приложение. Спб., 1896.

72. Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Л., 1981. Т. 2.
73. Письма к А. В. Дружинину. М., 1948.
74. Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к Ив. Тургеневу / С введением и примеч. Л. Майкова. М., 1894.
75. Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Спб., 1885. Т. 3.
76. Погодин М. П. Год в чужих краях (1839): Дорожный дневник. М., 1844. Ч. 2.
- 76а. Погодин М. П. Указ. соч. 1844, Ч. IV.
77. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7.
78. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. М., 1925.
79. Русская литература, 1963. № 2. С. 138.
80. Русская мысль. 1896. Кн. V.
81. Русская старина.
82. Русский архив.
- 82а. Русский вестник.
83. Сакулин П. Н. Русская литература и социализм. 2-е изд., перераб. М., 1924. Т. 1.
84. Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1911. Т. 12.
85. Свяясов Е. В. Эпизод полемики о Гоголе 1852 года // Рус. лит., 1980, № 1.
86. Смирнова-Россет А. О. Автобиография: Неизданные материалы. М., 1931.
87. Смирнова-Чикина Е. С. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»: Литературный комментарий. М., 1964.
88. Снытко Т. С. Г. С. Батеньков—литератор // ЛН. Т. 60, Кн. 1.
89. Старина и новизна: Ист. сб. М., 1916. Кн. 20.
90. Старина и новизна: Ист. сб. М., 1914. Кн. 17.
91. Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. Спб., 1857.
92. Тверские Епархиальные ведомости. 1902. № 5.
93. Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825—1826). М.; Л., 1964.
94. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1961. Т. 1.
- 94а. Тургенев И. С. Указ. соч. 1967. Т. 14.
- 94б. Тургенев И. С. Указ. соч. 1961. Письма. Т. 2.
95. Тургеневский сборник: Материалы к Полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева. М.; Л., 1964. Вып. 1.
96. Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904. Т. 8.
97. Храпченко М. Б. Творчество Гоголя. М., 1954.
98. Чаадаев П. Я. Соч. и письма / Под ред. М. Гершензона. М., 1913. Т. 1.
99. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 3.
100. Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. 2-е изд. М., 1975.

101. Шевырев С. П. Об отношении семейного воспитания к государственному. М., 1842.
102. Шенрок В. И. Материалы для биографии Н. В. Гоголя. Спб., 1892—1897. Т. 1—4.
103. Щеглов И. Л. Подвижник слова: Новые материалы о Н. В. Гоголе. Спб., 1909.
104. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исслед. и материалы. 3-е изд., просмотр. и доп. М.; Л., 1928.
105. Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия: Страница рус. обществ.-лит. мысли 1840—1850-х годов. М., 1981.

---

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН \*

---

- Авсеенко В. Г. 315  
Агин А. А. 46—53  
Аксаков Г. С. 66, 71, 72, 321  
Аксаков И. С. 58, 66, 71, 72, 84, 95, 100, 106, 184, 214, 215, 228, 234, 238—245, 247, 248, 251, 254—255, 268, 286—288, 290, 291, 321, 325, 327, 328  
Аксаков К. С. 65—69, 74, 79—81, 83—85, 106—108, 112, 113, 115—120, 128, 132, 134, 141, 149—165, 184, 199, 204, 214, 215, 224, 225, 229, 238, 239, 242—244, 247—249, 254—255, 262, 287, 302, 316, 322, 324, 328  
Аксаков М. С. 69  
Аксаков С. Т. 40, 65—77, 79—81, 83—85, 95, 100, 104, 106, 108—115, 118, 162—164, 168, 169, 171, 176, 178, 183—185, 214, 215, 217, 222, 226, 229, 238—240, 242—248, 250—255, 262, 263, 269, 273, 275, 282, 284—287, 292—294, 325, 327  
Аксакова В. С. 66, 67, 69, 71, 72, 100, 106—108, 118, 147, 173, 175, 240, 242, 247, 254, 255, 269, 278, 281, 292, 293, 302, 321, 322, 327  
Аксакова Н. С. 72  
Аксакова О. С. 262  
Аксаковы 23, 65—67, 70—74, 83, 84, 100, 106, 143, 175, 214, 215, 228, 239—241, 243—245, 247—250, 253, 254, 256, 262, 269, 271, 290, 301, 302, 326  
Александр II (Александр Николаевич, вел. кн.; «наследник») 36, 106, 297

---

\* Указатель составил Д. Кузьмин. Включены имена всех лиц, упоминаемых в книге, кроме имени Н. В. Гоголя, в т. ч. и в тех случаях, когда эти лица по именам не названы. Материал списка литературы не отражен, материал примечаний выделен курсивом.

Алексей Михайлович, царь 177  
Алипанов Е. И. 137  
Андросов В. П. 149, 177  
Анисимо-Яновская М. Г. 12  
Анненков П. В. 6, 17—20, 58, 68, 70, 77, 79—83, 87, 94, 100, 102,  
104, 170, 171, 178, 179, 182, 219, 220, 225, 257, 300—302, 304,  
312, 319, 322, 323  
Ариосто Л. 61, 62, 64, 137, 163, 165  
Армфельд А. О. 68, 73  
Арнольди Л. И. 227—234, 237, 238, 241, 244, 248, 255, 257, 260,  
268, 269, 291, 326  
Ауэрбах Э. 141

Бабст И. К. 263  
Базаров И. И. 185  
Базили К. М. 223  
Байрон Дж. Г. 68, 152, 154, 158, 164  
Балабина (Вагнер) М. П. 33, 35  
Баранович Л. 177  
Барклай де Толли М. Б. 28  
Бартенев П. И. 17, 22, 324  
Батеньков Г. С. 216, 217  
Батюшков К. Д. 62  
Бегичев Д. Н. 167  
Белецкий А. И. 320  
Белинский В. Г. 17, 68, 69, 74, 100—103, 106, 107, 109, 112, 116,  
119, 126—128, 131—135, 137, 142—147, 149—163, 169—171,  
184, 185, 198, 203, 204, 211, 212, 214, 219, 222, 228, 264, 316, 317,  
323, 324  
Белозерский Н. Д. 178  
Белоусов Н. Г. 327  
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 132  
Белый В. И. 227  
Бенкендорф А. Х. 101, 103  
Беранже П.-Ж. 152  
Берг Н. В. 38, 272  
Бессомыкин И. 297  
Бессонов П. А. 282  
Бестужева П. М. 176  
Бецкий И. Е. 183  
Боборыкин П. Д. 33  
Бодянский О. М. 269, 281—283  
Божко А. А. 263

Боклевский П. М. 86—93  
Боткин В. П. 75, 100, 220, 312  
Боткин Н. П. 75, 81  
Булгаков А. Я. 110, 117  
Булгарин Ф. В. 14, 130, 146, 149, 167, 170, 171, 177  
Бутков Я. П. 220  
Бухарев А. М. (архимандрит Феодор) 262, 264—267, 327  
Быкова (урожд. Гоголь) Е. В. 65, 71, 223, 252  
Бычков А. Ф. 300

Валуев Д. А. 115  
Валуев П. А. 69  
Валуева (урожд. Вяземская) М. П. 69  
Васьков Ф. И. 112  
Великопольский И. Е. 38  
Вельтман А. Ф. 167  
Веневитинов А. В. 289  
Веневитинов Д. В. 151  
Вергилий 137  
Вердеревская Н. А. 326  
Веселовский Алексей Н. 267  
Вигель Ф. Ф. 110  
Вогюэ М. де 2, 317  
Волконская З. А. 38  
Вьельгорская А. М. 112, 183, 187, 194, 226, 240  
Вьельгорская Л. К. 187  
Вьельгорский М. Ю. 101—103, 112, 113  
Вяземский П. А. 32, 33, 69, 101, 106, 123, 149, 217, 219, 253, 302,  
322

Гавличек-Боровский К. 318  
Галаган Г. П. 116  
Галахов А. Д. 212  
Гегель Г. В. Ф. 131, 151, 154, 157—159  
Гейне Г. 68, 152  
Георгиевский 204  
Гердер И. Х. 61  
Герцен А. И. 5, 115—117, 120, 121, 124, 146, 180, 219, 300  
Гете И. В. 68, 152, 164, 278  
Гиппиус В. В. 5, 10, 18, 42, 44, 61, 62, 182, 189, 197, 236, 237, 267,  
273, 319, 320  
Глебов 319

Гмелин И. Г. 268  
Гоголь А. В. 65, 71, 181  
Гоголь Е. В.—см. Быкова (урожд. Гоголь) Е. В.  
Гоголь М. И. 223, 251, 252, 254, 260, 294—296, 321, 329  
Голохвастов Д. П. 97, 98, 100  
Гомер 56, 74, 116, 131, 136, 137, 145, 150, 151, 153—155, 158, 161, 163, 165, 244  
Гончаров И. А. 19, 249  
Грановский Т. Н. 69, 73, 116, 180, 282  
Греч Н. Н. 130, 133, 135, 144, 146—149, 162, 170  
Грибоедов А. С. 196, 306  
Григорьев П. А. 251  
Грот Я. К. 325

Даль В. И. 220  
Данилевская У. Г. 211, 218  
Данилевский А. С. 27, 34, 77, 111, 173, 175, 211, 218, 219, 223, 227, 263, 268, 320, 321  
Данилевский Г. П. 21, 212, 235, 281, 286, 296, 327  
Данилов В. В. 328  
Данте А. 145, 155, 163, 278  
Державин Г. Р. 112, 291  
Дмитриев М. А. 116, 120  
Дмитриев-Мамонов Э. А. 261  
Дмитрий Ростовский 177  
Добролюбов Н. А. 316  
Долинин А. С. 320  
Дондуков-Корсаков М. А. 102  
Достоевский Ф. М. 108, 194, 315, 316  
Дружинин А. В. 312  
Дубельт Л. В. 295, 297, 309  
Дурылин С. 325, 326

Егоров Б. Ф. 4, 286  
Елагина А. П. 100, 238  
Елистратова А. А. 60  
Ефимова М. Т. 328  
Ефремов П. А. 18

Жан-Поль—см. Рихтер Ж.-П.  
Жданов В. А. 5, 176, 190, 191, 197, 221, 222, 321, 322

Жуковский В. А. 17, 23—27, 29, 31, 33, 36—38, 43, 69—71, 100, 106, 144, 169, 170, 173, 177—179, 182, 183, 193, 195, 223, 224, 227, 239, 240, 252, 253, 269, 289, 321, 322, 324

Загоскин М. Н. 114, 148

Заикин П. Ф. 109

Зайденшнур Э. Е. 5, 176, 190, 191, 197, 221, 222, 321, 322

Зензинов М. А. 122—123

Золотусский И. 333

Иванов А. А. 9, 23, 38, 176, 253, 257, 320, 322

Иордан Ф. И. 176, 257

Калайдович Н. К. 69, 147, 324

Каллаш В. В. 182

Кантемир А. Д. 306

Капнист В. В. 248

Капнист И. В. 248, 290—292, 326

Карамзин А. Н. 31—33, 70, 299

Карамзин Н. М. 32, 70, 97, 246

Карамзина Е. А. 32, 70

Карамзины 70

Карташевская М. Г. 70, 72, 84, 85, 106, 118, 119, 147, 168, 173, 175, 240, 247, 254, 278, 281, 282, 292

Катков М. Н. 109

Каченовский М. Т. 97, 98

Кеведо Ф. 13

Кетчер Н. Х. 116

Киреевский И. В. 73, 151, 193, 238, 251, 324

Ковалев В. А. 320

Козловский А. А. 321

Кок П. де 113, 130, 135—136

Комаров А. А. 112

Комарович В. Л. 5

Комовский В. Д. 109

Константин Константинович, вел. кн. 295—298

Константиновский М. 215, 223, 224, 236, 250, 270, 271, 276, 277, 283, 328

Корф М. А. 295

Котошихин Г. К. 177

Краевский А. А. 38

Крестова Л. В. 320, 326

Кропоткин П. А. 316  
Крузе 95  
Крылов Н. И. 97, 98, 100  
Кукольник Н. В. 122, 278  
Кулешов В. И. 288  
Кулиш П. А. 19, 228, 302, 320, 327  
Купер Дж. Ф. 68, 74, 152, 154  
Кюхельбекер В. К. 29, 122—123

Ланский Л. Р. 319, 324  
Лаптев А. М. 205—210  
Лебенштейн Ф. 317  
Ленин В. И. 317  
Леонтьев К. Н. 204  
Лермонтов М. Ю. 62, 196  
Лесаж А. Р. 13  
Лотман Ю. М. 14—16  
Лукьяновский Б. Е. 320  
Львов В. В. 219  
Любич-Романович В. И. 170, 319

Майков В. Н. 212, 325  
Максимович М. А. 73, 119, 243, 250, 251, 254, 255, 327  
Малиновский Д. К. 211  
Мандельштам О. Э. 132  
Манн Т. 20  
Марков К. И. 203, 240, 241  
Маркович А. М. 227  
Маркс К. 155  
Маркус М. А. 147, 148, 324  
Масальский К. П. 130—132, 134, 148, 154  
Машинский С. И. 67  
Межевич В. С. 324  
Мельгунов Н. А. 38, 322  
Мериме П. 282  
Мессинг М. И. 74  
Мизко Д. Т. 253, 311  
Мизко Н. Д. 147, 149, 252, 253, 310, 311  
Миллер (Мюллер) И. 61  
Миллер Ф. Б. 323  
Мильтон Дж. 137, 278  
Милютин Н. А. 299

Моллер Ф. А. 171  
Мольер Ж.-Б. 19, 252  
Мусин-Пушкин М. Н. 291, 296

Надеждин Н. И. 13, 118, 119, 148, 149, 151, 323  
Назимов В. И. 263, 294, 296, 327  
Нарежный В. Т. 13  
Наумовы 111  
Нащокин П. В. 22, 23, 67, 174  
Неверов Я. М. 73  
Некрасов Н. А. 109, 135, 303, 307—309, 312  
Нечкина М. Б. 317  
Никитенко А. В. 102—104, 106, 299, 300, 324  
Николай I 97, 101, 106, 246, 294, 295, 297, 311  
Нимченко Я. 21, 22  
Норов А. С. 296

Оболенский Д. А. 228, 234, 238, 247, 254, 257—260, 296, 298, 299  
Образцов Ф. 328  
Одоевский В. Ф. 38, 100—102, 106, 151, 323  
Ольга Николаевна, вел. кн. 289  
Орлов А. Ф. 295, 297  
Орлов Ф. Ф. 15  
Осокин В. Н. 329  
Очкин А. Н. 101

Павлицев Л. Н. 17, 18, 319  
Павлицева (урожд. Пушкина) О. С. 19, 20  
Павлов Н. Ф. 68, 114, 148, 163, 221, 223, 289  
Паллас П. С. 268, 328  
Панаев И. И. 66, 67  
Панов В. А. 73—75, 81, 83, 322, 323  
Перфильев С. В. 114, 115  
Перфильевы 110  
Петр I 109  
Писарев Д. И. 315  
Писемский А. Ф. 303, 305—308, 310  
Платонов В. 31, 33  
Плетнев П. А. 10, 17, 23, 27, 29, 69—72, 95, 100—103, 126, 128,  
134, 137, 142—144, 149, 173, 185, 195, 198, 202, 214, 222, 224,  
226, 239, 245, 248, 252, 253, 256, 262, 263, 302, 323—325

Погодин М. П. 23, 26, 27, 29, 33, 38, 43, 44, 57, 65, 66, 69, 71, 73,  
74, 79, 83—85, 100, 114, 122, 139, 147, 162, 164, 167, 183, 226,  
228, 243, 256, 257, 262, 271—273, 284, 289—291, 293, 300, 323,  
328, 329  
Погодина Е. В. 65, 67  
Полевой Н. А. 133, 145—148, 162, 170, 278  
Помяловский Н. Г. 316  
Попов А. Н. 160, 282  
Прозоров В. В. 319  
Прокопович Н. Я. 29, 31, 70, 85, 104, 107, 108, 112, 113, 126, 171,  
175, 322, 324  
Пршецлавский 297  
Пушкин А. С. 7, 8, 10—23, 25—32, 34—37, 39, 41, 56—58,  
61—63, 68, 71, 74, 77, 97, 134, 136, 152, 165, 168, 196, 239, 251,  
271, 295, 319—321  
Пушкин Л. С. 253  
Пушкина (урожд. Гончарова) Н. Н. 18, 106

Рамазанов Н. А. 269  
Репнина В. Н. 34, 116, 320  
Репнины 34, 252  
Рихтер Ж.-П. (Жан-Поль) 139  
Розен Е. Ф. 223, 325  
Романович см. Любич-Романович В. И.  
Россет А. О. 221, 257  
Ростопчина Е. П. 193  
Рыжов А. И. 303—306, 308

Сакулин П. Н. 182  
Салтыков-Щедрин М. Е. 316, 317  
Самарин Ю. Ф. 72, 115, 141, 150, 163, 194, 247, 258—260, 275, 285,  
328  
Санд Ж. (Дюдеван А.) 152, 154, 159  
Свербеев Д. Н. 108, 114—116, 120, 121, 168, 271, 289  
Свербеева Е. А. 120, 289  
Свербеевы 118  
Свиясов Е. В. 235  
Семен, слуга 272  
Сенковский О. И. 111, 131, 134, 136, 137, 148, 149, 170, 171  
Сен-При (Сен-Пре) 282, 328  
Сербинович К. С. 293  
Сервантес М. де 11, 20, 56, 61, 62, 152, 154, 157, 165, 318

- Симоновский Г. 167  
Синельникова М. Н. 256  
Скотт В. 56—60, 68, 74, 152, 154, 159, 163, 165  
Скурыдин М. С. 252  
Слонимский А. Л. 5, 188, 236, 322  
Смирнов Н. М. 31, 187  
Смирнова (урожд. Россет) А. О. 31, 32, 35, 100, 101, 110, 182—184, 186, 187, 190, 193, 194, 200, 215, 218, 225—230, 232—241, 245, 246, 248—258, 260, 270, 275, 280, 320, 323, 325, 326, 328  
Смирнова-Чикина Е. С. 323  
Смирновы 32, 239  
Снегирев И. М. 95, 97—100, 102, 220  
Соболевский С. А. 282  
Соллогуб В. А. 17, 33, 194, 227  
Соллогуб Л. А. 31, 33  
Соллогуб (урожд. Вьельгорская) С. М. 227  
Солоницын А. 274  
Сорокин М. П. 134, 135, 139  
Станкевич А. В. 215, 282  
Станкевич Е. К. 282  
Станкевич И. В. 289  
Станкевич Н. В. 119, 151, 158, 215, 289  
Стасов В. В. 108  
Строганов С. Г. 101, 125—126  
Стурдза А. С. 252  
Сумароков А. П. 132  
Сю Е. (Э.) 123
- Тарасенков А. Т. 272, 278, 282, 289, 291  
Тассо Т. 137  
Тихонравов Н. С. 5, 98, 185, 188, 192, 195, 196, 200, 221, 224, 261, 278, 298, 322, 323, 327  
Толстой А. П. 184, 226, 228, 250, 272, 273, 278, 282, 283, 289—292, 299  
Толстой Ф. И. 110, 117  
Толстой Я. Н. 123  
Толченев А. П. 252  
Трощинский А. А. 252, 254  
Трощинский Д. П. 252  
Трушковский Н. П. 256, 263, 298, 302  
Тургенев А. И. 34—37, 69, 70, 115, 116, 123, 183, 320, 321

Тургенев И. С. 19, 69, 72, 219, 262, 263, 282, 283, 286, 288—290,  
294, 300—304, 307, 312, 316  
Тургенев Н. И. 34, 123  
Тюнькин К. И. 321

Уваров С. С. 101, 102, 125

Фарнгаген К. А. 322  
Фейнберг И. Л. 323  
Фейнгер Д. (Fanger) 319  
Феодор, архимандрит — см. Бухарев А. М.  
Феокистов Е. М. 289  
Филарет, митрополит 272  
Филдинг Г. 61—64, 165  
Филиппов Т. И. 270, 276, 328  
Флеров В. В. 98  
Фома Кемпийский 183, 252, 285  
Фонвизин Д. И. 306

Хепгуд И. 317  
Хольцшюерс С. Х. (Holzschuers) 328  
Хомяков А. С. 104, 115, 120, 163, 164, 247, 258, 269, 272, 275, 282,  
283, 290  
Хомякова (урожд. Языкова) Е. М. 269, 272  
Храпченко М. Б. 319, 326

Цявловский М. А. 22

Чаадаев П. Я. 116, 120—122, 180  
Черныш Г. Г. 323  
Чернышевский Н. Г. 137, 308, 309  
Чиж В. Ф. 328  
Чижов Ф. В. 176, 203, 204  
Чулков М. Д. 13

Шаржинский С. Д. 142, 324  
Шевырев С. П. 36, 38, 66, 100, 111, 116, 126, 132, 134, 137—143,  
145, 149, 155, 162, 163, 174, 175, 177, 181, 183, 198, 202, 215, 219,

222—224, 228, 230—236, 239, 240, 246, 254, 256, 257, 261, 263,  
268, 271, 284, 289, 296, 298, 299, 302, 322, 324, 325, 327—329

Шевырева 65, 256

Шекспир У. 19, 61, 68, 74, 145, 150, 152, 157, 163, 165

Шеллинг Ф. В. 151

Шенрок В. И. 53, 211, 223, 320, 321, 323

Шереметева Н. Н. 175, 178, 183, 185, 223

Шиллер Ф. 29, 68, 152, 154, 164, 279, 328

Шлецер А. Л. 61

Щепкин Д. М. 68, 74

Щепкин М. С. 23, 24, 65—68, 74, 102, 171, 262—263, 269

Щепкин Н. М. 216, 289

Щепкина А. В. 289

Юдин Г. В. 323

Яворский Ст. 177

Языков А. М. 109—111, 115, 123, 176, 271

Языков Н. М. 38, 77, 104, 108, 110, 111, 114, 123, 168, 176, 177,  
179—184, 193, 194, 219, 267, 269, 322

Языков П. М. 83, 177, 324

Языкова П. М. 111

Языковы 110

Якушкин Е. И. 263

Якушкин И. Д. 263

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
Часть I	
Глава I	
ПУШКИНСКАЯ ПОДСКАЗКА .....	7
Глава II	
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ .....	21
Глава III	
«ВСЕ НАЧАТОЕ ПЕРЕДЕЛАЛ ВНОВЬ» .....	24
Глава IV	
«И СМЕШНО И БОЛЬНО!» .....	31
Глава V	
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОГОЛЯ .....	39
Глава VI	
«ЭТО ПРОСТО— ЧУДО...» .....	65
Глава VII	
КРИЗИС. ПОСЛЕ КРИЗИСА .....	74
Глава VIII	
«Я ТЕПЕРЬ ПРИГОТОВЛЯЮ К СОВЕРШЕННОЙ ОЧИСТКЕ ПЕРВЫЙ ТОМ...» .....	83
Глава IX	
ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ .....	107
Глава X	
В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ .....	125
Глава XI	
СПОР БЕЛИНСКОГО И К. АКСАКОВА .....	149

## Часть II

### Глава XII

ЧИТАТЕЛЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ .....	166
-------------------------------	-----

### Глава XIII

В РАБОТЕ НАД ВТОРЫМ ТОМОМ .....	173
---------------------------------	-----

### Глава XIV

«Я ОСТРЮ ПЕРО...» .....	192
-------------------------	-----

### Глава XV

«ПРОШУ ТЕБЯ, ЧИТАТЕЛЬ, ПОПРАВИТЬ МЕНЯ...» .....	201
---	-----

### Глава XVI

ПОСЛЕ «ВЫБРАННЫХ МЕСТ...» .....	213
---------------------------------	-----

### Глава XVII

«СЛАВА БОГУ, ГОГОЛЬ ВСЕ ТОТ ЖЕ...» .....	227
--	-----

### Глава XVIII

СНОВА В ДОРОГЕ .....	250
----------------------	-----

### Глава XIX

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ .....	254
----------------------------	-----

### Глава XX

КАТАСТРОФА .....	268
------------------	-----

### Глава XXI

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ .....	281
------------------------	-----

### Глава XXII

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» БЕЗ ГОГОЛЯ .....	289
---------------------------------	-----

Вместо заключения .....	314
-------------------------	-----

Примечания .....	323
------------------	-----

Список цитируемой литературы .....	334
------------------------------------	-----

Указатель имен .....	339
----------------------	-----

**Юрий Владимирович Манн**  
**В ПОИСКАХ ЖИВОЙ ДУШИ**

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»:  
ПИСАТЕЛЬ-КРИТИКА-ЧИТАТЕЛЬ

Зав. редакцией *Т. В. Громова*  
Редактор *Э. Б. Кузьмина*  
Художники *Б. В. Трофимов, А. Т. Троянкер*  
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*  
Технический редактор *А. З. Коган*  
Корректор *В. А. Кортаева*

ИБ № 1692. Сдано в набор 11.10.86. Подписано в печать 25.02.87. А02438. Формат 70×108/32. Бум. офс. 100 г. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 15,40. Усл. кр.-отт. 16,80. Уч.-изд. л. 21,19. Тираж 50 000. Заказ № 7-222. Изд. № 4530.  
Цена 1 р. 60 к

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.  
Фотонабор выполнен ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28  
Отпечатано на Киевской книжной фабрике «Жовтень» 252053, Киев, ул. Артема, 25.

**Манн Ю. В.**

**М23 В поисках живой души: «Мертвые души».**  
**Писатель — критика — читатель. — М.: Книга,**  
**1984. — 351 с. — (Судьбы книг).**

Необычна судьба «Мертвых душ». Письма, воспоминания освещают с новой, порой неожиданной стороны и рождение замысла, принятого словно эстафета, от Пушкина, и трагедию второго тома. Уникален в русской литературе и ход создания поэмы, отношения Гоголя с читателем. Перед нами раскрывается диалог Гоголя с читающей публикой — чтение новых глав, жажда критики, поправок, свежих материалов из всех уголков России. С большой силой воссозданы мучительные творческие поиски Гоголя, его роль для современников, ожидания, споры вокруг «Мертвых душ».

М 4702010200-097 КБ-13-40-87  
002(01)-87

84.3Р7